

ВЕСТНИК
ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА

ФИЛОЛОГИЯ

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOLOGY

Научный журнал

2014

№ 6 (32)

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-29496 от 27 сентября 2007 г.

Журнал входит в "Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук", Высшей аттестационной комиссии



***Редакционная коллегия журнала
«Вестник Томского государственного
университета. Филология»***

Т.А. Демешкина (Томск, Россия) –
главный редактор
И.А. Айзикова (Томск, Россия) – зам.
главного редактора
Ю.М. Ершов (Томск, Россия) – зам.
главного редактора
Д.А. Катунин (Томск, Россия) – отв.
секретарь
П.П. Каминский (Томск, Россия) –
зам. отв. секретаря
Е.В. Иванцова (Томск, Россия)
Т.Л. Рыбальченко (Томск, Россия)
В.А. Суханов (Томск, Россия)

***Editorial Board of the
Tomsk State University
Journal of Philology***

T.A. Demeshkina (Tomsk, Russia) – Editor-
in-Chief
I.A. Aizikova (Tomsk, Russia) – Deputy Edi-
tor-in-Chief
Yu.M. Yershov (Tomsk, Russia) – Deputy
Editor-in-Chief
D.A. Katunin (Tomsk, Russia) – Executive
Editor
P.P. Kaminskiy (Tomsk, Russia) – Deputy
Executive Editor
Ye.V. Ivantsova (Tomsk, Russia)
T.L. Rybalchenko (Tomsk, Russia)
V.A. Sukhanov (Tomsk, Russia)

***Редакционный совет журнала
«Вестник Томского государственного
университета. Филология»***

Дж.Ф. Бейлин Стоуни-Брук, США)
Е.Л. Варганова (Москва, Россия)
Н.Д. Голев (Кемерово, Россия)
Е.А. Добренко (Шеффилд, Великобритания)

М.Н. Липовецкий (Боулдер, США)
З.И. Резанова (Томск, Россия)
И.В. Силантьев (Новосибирск, Россия)
С.Л. Фрэнкс (Блумингтон, США)
Т.В. Шмелева (Великий Новгород, Россия)
А.С. Янушкевич (Томск, Россия)

***Editorial Council of the
Tomsk State University
Journal of Philology***

J.F. Bailyn (Stony Brook, United States)
Ye.L. Vartanova (Moscow, Russia)
N.D. Golev (Kemerovo, Russia)
E.A. Dobrenko (Sheffield, United King-
dom)
M.N. Lipovetsky (Boulder, United States)
Z.I. Rezanova (Tomsk, Russia)
I.V. Silantev (Novosibirsk, Russia)
S.L. Franks (Bloomington, United States)
T.V. Shmeleva (Veliky Novgorod, Russia)
A.S. Yanushkevch (Tomsk, Russia)

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИНГВИСТИКА

Гричин С.В., Демешкина Т.А. Аппликативный потенциал когнитивно-дискурсивной модели авторизации	5
Калиткина Г.В. Когнитивная метафора контейнера и лингвокультурная специфика концептуализации времени	17
Курашкина Н.А. Информационный потенциал научных названий птиц (на примере орнитонимов отряда воробьеобразных)	37
Трипольская Т.А., Булыгина Е.Ю. Способы лексикографирования прагматической информации в двуязычных словарях	51
Шишигин К.А. Полиситуативная семантика префиксальных глаголов языка идиш (на примере глагола <i>geup</i> с некоторыми префиксами)	60
Эмер Ю.А. Образ города в песенном фольклоре	77

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Айзикова И.А. Пространственно-временные оппозиции в философии, эстетике и поэтике В.А. Жуковского (проблемы эволюции)	87
Ахметова Г.А. Л.Н. Толстой о творчестве и ремесле («Анна Каренина», «Что такое искусство?»)	112
Киселев В.С., Жиликова Э.М. «План учения... наследника цесаревича Александра Николаевича» в контексте педагогического наследия В.А. Жуковского	125
Прохорова Т.Г. Метарефлексивный диалог с Ф.М. Достоевским в малой прозе Юрия Буйды	137
Фаритов В.Т. Поэзия как воля к вечному возвращению: Пушкин и Тютчев	151

ЖУРНАЛИСТИКА

Зыкун Н.И. Становление и развитие сатирической журналистики в Надднепрянской Украине XIX – начала XX в.	161
Каминский П.П. «Его характер, его дела и страсти, его поиск смысла жизни»: человек и человеческое в публицистике Виктора Астафьева 1960-х – начала 1980-х гг.	173

РЕЦЕНЗИИ, КРИТИКА, БИБЛИОГРАФИЯ

Янушкевич А.С. «При свете Жуковского»: обзор отечественных и зарубежных исследований 2009–2013 гг.	183
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ	193

CONTENTS

LINGUISTICS

Grichin S.V., Demeshkina T.A. The applicative potential of a cognitive-discursive authorization model	5
Kalitkina G.V. The cognitive metaphor of the container and the linguo-cultural specificity of time conceptualization	17
Kurashkina N.A. Informational potential of scientific bird names (based on passerine ornithonyms)	37
Tripolskaya T.A., Bulygina Ye.Yu. Ways of lexicographic registration of pragmatic information in bilingual dictionaries	51
Shishigin K.A. Polysituational semantics of Yiddish prefixed verbs (exemplified by the verb <i>geyn</i> with some prefixes)	60
Emer Yu.A. Image of the city in folk songs	77

LITERATURE STUDIES

Aizikova I.A. Space-time oppositions in philosophy, aesthetics and poetics of V.A. Zhukovsky (the issue of evolution)	87
Akhmetova G.A. Leo Tolstoy about creativity and craft (<i>Anna Karenina</i> , <i>What is Art?</i>)	112
Kiselev V.S., Zhilyakova E.M. "Plan of the education ... of Tsarevich Alexander Nikolaevich" in the context of V.A. Zhukovsky's pedagogical legacy	125
Prokhorova T.G. Metareflexive dialogue with F.M. Dostoevsky in the small prose of Yuri Buyda	137
Faritov V.T. Poetry as will to eternal return: Pushkin and Tyutchev	151

JOURNALISM

Zykun N.I. The formation and development of satirical journalism in the Dnieper Ukraine in the 19th – early 20th centuries	161
Kaminskiy P.P. "His Character, His Deeds and Passions, His Search for the Meaning of Life": Understanding of man in the essays of Victor Astafiev in 1960 – early 1980s	173

REVIEWS, CRITIQUES, BIBLIOGRAPHY

Yanushkevich A.S. "In the light of Zhukovsky": a review of Russian and foreign researches of 2009-2013.	183
---	-----

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS	193
--	-----

ЛИНГВИСТИКА

УДК 81'42

DOI 10.17223/19986645/32/1

С.В. Гричин, Т.А. Демешкина

АППЛИКАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНОЙ МОДЕЛИ АВТОРИЗАЦИИ¹

Работа посвящена интерпретации смыслов, выражаемых авторизационными конструкциями в текстах разной функциональной и жанровой принадлежности: СМИ, научных трудах и в диалекте. Интерпретация основана на принципах дискурсивного анализа, а также на понимании авторизации как авторизационной модели, интегрирующей комплекс значений субъектных компонентов речи. Делается вывод об универсальном, трансдискурсивном характере когнитивно-дискурсивной модели авторизации, а также о возможности использования описываемой методики для анализа авторизации в разных типах дискурса.

Ключевые слова: дискурс, авторизация, когнитивно-дискурсивная модель, субъектные компоненты речи, интерпретация.

В настоящей работе мы предпринимаем попытку расширить аппликативный потенциал методики описания авторизованных высказываний текстов научного дискурса, впервые использованной нами в работе «Когнитивно-дискурсивная модель авторизации» (в печати), применив ее для анализа авторизационных блоков текстов диалекта и СМИ.

В основе данной методики лежит понимание авторизационного блока в тексте научного произведения как когнитивно-дискурсивной модели. Если когнитивно-дискурсивная модель авторизации для научного дискурса представляет собой синкретичное, многоуровневое единство выраженных авторизацией смыслов, основанных на коммуникативном намерении автора, отражающих лежащие за ними ментальные операции, связанные с обработкой и фиксацией в тексте научного знания, то для дискурса СМИ и диалекта, по нашему представлению, на первый план должна выходить оценочная и повседневно-бытовая деятельность субъекта. Когнитивный характер данной модели обусловлен и рецептивным ожиданием адресата, которое, по наблюдению В.Е. Чернявской, наряду с концептом прототипическое находится в центре внимания когнитивных исследований, посвященных вопросам о нормативном и вариативном в научном дискурсе [1. С. 23]. Дискурсивная компонента модели детерминирует ее специфику на стилистическом, жанровом, коммуникативно-прагматическом, содержательном уровнях. Описанная модель носит также инференциальный характер, при этом под инференцией мы понимаем «широкий класс когнитивных операций, в ходе которых... интерпретаторам дискурса, лишенным непосредственного доступа к процессам

¹ *Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта № 13-14-70002.

порождения речи в голове или «душе» говорящего, приходится «додумывать за него» [2. С. 123].

Методика базируется на понимании авторизационного блока как когнитивно-дискурсивной модели. Антропоцентричная природа авторизации проявляется в тексте в виде единого комплекса субъектных компонентов речи (СКР, термин Н.К. Рябцевой). СКР, по Н.К. Рябцевой, – это компоненты высказывания / текста, которые соотносятся с породившим его субъектом: «...в субъектных компонентах речи, как ни в каких других, отражаются особенности речемыслительной деятельности и свойства «порождающего» их естественного интеллекта... что предопределяется тем, что субъектные компоненты речи представляют собой единый комплекс, обладают целым рядом объединяющих их отличительных и взаимосвязанных свойств, имеющих прямое отношение к сознанию говорящего, его личности, производимым им в текущем процессе общения мыслительным, речемыслительным и речевым операциям» [3. С. 380].

Субъектные компоненты речи обладают комплексом следующих взаимосвязанных свойств: метауровневости, синкретичности, конситуативности, интенциональности и супraseгментности [3].

Метауровневость заключается в противопоставленности субъектных компонентов речи объектным и фактуальной информации – ее интерпретации. Метауровневость авторизационного блока выражается в самом факте экспликации авторизационной конструкции, поскольку такая экспликация означает, что авторизованный объект, т.е. тема авторизованного высказывания, уже была отрефлексирована субъектом, включена в его личную сферу, вписана в его личный контекст и актуализована в высказывании. Сам выбор авторизуемого содержания высвечивает личную сферу автора: его предпочтения, потребности, ход рассуждения. В то же время «субъектные компоненты не сводятся к эксплицитному модусу высказывания, они могут присутствовать в речи в неявном виде, имплицитно и синкретично» [3. С. 383].

Синкретичность предполагает способность компонента речи присутствовать в высказывании в неявном виде и в рамках авторизационного блока проявляется в коннотациях и импликациях, извлекаемых из авторизованных высказываний на основе анализа смыслового содержания текста, ее степень детерминирована характером общения в том или ином дискурсе. Так, если «в живой, естественной, непринужденной речи имплицитность СКР проявляет подсознательный, автоматизированный уровень выражения говорящим своего отношения к ситуации общения и составляющим его компонентам» [3. С. 383], то для научной речи свойствен «осознанно регулируемый» ее уровень, степень развернутости (и связанная с ней частота экспликации авторизации), что обусловлено действием фактора адресата, наличием сопоставимого уровня базовых знаний адресанта и адресата.

Конситуативность, понимаемая как осознание текущей ситуации общения, выражается в переключении фокуса внимания читателя с одного объекта на другой, введении и изменении ситуации общения. Таким образом, конситуативность АВ с наибольшей силой проявляется на границе перехода от одного АВ к другому, а также при смене авторизационного ключа. На уровне

текста конситуативность очерчивает круг релевантных для субъекта компонентов текущей речевой ситуации (конситуации): источники цитируемой информации, количественный состав и содержание тем в тексте, в рамках отдельно взятого АБ – дискретность / недискретность описываемой ситуации, континуальность ее развития.

Интенциональность, выражающаяся в осмысленности, мотивированности и намеренности использования СКР, «...коррелятивна ментальным процессам субъекта оценки, восприятия или констатации явления» [4. С. 100–101].

Отметим также экстралингвистический характер интенциональности, который напрямую связывается с интерпретативностью. Так, Серль пишет: «...объясняя интенциональность в терминах языка, я вовсе не подразумеваю, что интенциональность носит по существу лингвистический характер... пытаясь разъяснить интенциональность в терминах языка, я опираюсь на знание языка как на эвристическое средство объяснения [5. С. 96, 100–101].

Супraseгментность СКР, т.е. «их отнесенность ко всему высказыванию, его коммуникативному намерению, заключается в их способности передавать дополнительную, неявно выраженную информацию» [3. С. 389], создавать дополнительные смыслы, семантическую ауру вокруг сообщаемого сегментными средствами.

Таким образом, наша гипотеза строится на том, что авторизационные конструкции как в научном дискурсе, так и в дискурсе СМИ и диалектной речи должны реализовать весь комплекс смыслов СКР. При этом в научном дискурсе доминирующими оказываются ментальные процессы субъекта, связанные с обработкой информации, в дискурсе СМИ – оценочная его деятельность, в диалектной речи субъект представлен в ситуациях осуществляемого в данный момент непосредственного общения.

Значения авторизации (авторизационные смыслы) и способы ее языкового воплощения экстралингвистически обусловлены особенностями общения в соответствующем дискурсе. Интерпретация авторизационных смыслов проясняет авторский замысел и его стратегию, способствует пониманию смылосодержательной структуры текста. Последнее справедливо только в том случае, если адресатом верно интерпретирован текст в целом, а «считать интерпретацию текста адекватной можно лишь в случае отвечающего замыслу коммуникатора истолкования его основного коммуникативного намерения реципиентом» [6. С. 84]. Ключевой особенностью СКР в контексте нашего исследования мы считаем их связь со стоящими за прагматикой речи мыслительными и речемыслительными операциями, главными из которых являются «указание на фокус внимания, выделение главного, его актуализация» [3. С. 378]. Интерпретация авторизационных блоков через СКР позволяет выявить сложный характер их смысловой, прагматической, коммуникативной и когнитивно-дискурсивной организации. Ср.: «Не случайно, что целое направление в КН связано сегодня с решением проблемы понимания текстов и извлечением информации из речевых произведений, дискурса» [7. С. 43].

Успешное апробирование данной методики на текстах разной дискурсивной принадлежности может свидетельствовать как о гибкости самой когнитивно-дискурсивной модели авторизации, так и об универсальном характере проявления феномена авторизационной формации (авторизационного блока).

Вопрос о включении авторизации в сферу внимания когнитивной лингвистики актуален постольку, поскольку «обращение к текстовым и дискурсивным данным обязательно и при изучении феномена созидания мира или конструировании мира с помощью разноструктурных единиц номинации, с помощью вариативных способов описания одного объекта или одной ситуации» [7. С. 18]. Изучение интерпретации авторизационных смыслов в текстах СМИ становится необходимым в силу того, что в современных работах отношения между коммуникантами в дискурсе описываются в плоскости их когнитивно-речевого взаимодействия, когда адресат является соучастником общения и активным интерпретатором речевых действий адресанта [2. С. 38–39].

Актуальность исследования категории авторизации в диалектном дискурсе детерминирована свойствами диалекта как системы коммуникации, характеризующейся собственной системой речевых жанров, спецификой когнитивной деятельности, метаязыковым сознанием, особенностями построения текста и некоторыми другими чертами, отмеченными В.Е. Гольдиным [8]. Одной из специфических черт диалектного устного текста представляется наложение двух ситуаций: ситуации непосредственного общения, осуществляемого в данный момент, и ситуации, описываемой говорящим. Это свойство обозначено В.Е. Гольдиным как совмещение ситуации темы и ситуации текущего общения [8. С. 29]. Как представляется, специфика проявления авторизационных показателей в диалекте обусловлена также диктумным содержанием текстов, в которых преобладают событийные пропозиции, отражающие эмпирико-событийный характер диалектного знания в отличие от научного текста, в котором преобладающим является обобщенно-логический компонент. В силу отмеченных свойств диалекта как формы коммуникации выделенные нами авторизационные блоки проявляются в диалекте по-иному, нежели в других дискурсивных практиках. Субъектные компоненты речи, актуализованные в авторизационных блоках, отражают, с одной стороны, эгоцентрический характер диалектной речи, а с другой – диалогичность, предполагающую ориентацию на адресата.

Описанная нами выше когнитивно-дискурсивная модель авторизации и связанная с ней методика анализа авторизационных блоков основаны на идее о том, что помимо основного («поверхностного») смысла, авторизационные конструкции несут и иной, импрессивный (аддитивный) смысл. Слияние основного и импрессивного смыслов авторизации, по нашему мнению, должно приводить к созданию полифонического, синкретичного, многомерного и интерпретативного сообщения. Отправной точкой в выявлении импрессивного смысла авторизации, очевидно, следует считать контекст, как речевой, так и дискурсивный. Если первый проявляет коммуникативное намерение говорящего, преобразует сообщение в коммуникативно-обусловленное действие (метакоммуникативный смысл утверждения, уточнения и т.п.), то дискурсивный контекст придает авторизации соответствующий дискурсивный смысл, в нем имплицитруется присущая отдельно взятому дискурсу специфика.

Когнитивно-дискурсивный контекст бытования диалектной речи и дискурса СМИ генерируется интенциональностью адресанта, при этом внутритекстовое смыслообразование не сводится к кодированию содержательно-фактуальной и содержательно-концептуальной информации, но содержит

также элементы дополнительного, аддитивного, импрессивного смысла, который для адресата связывается с актуальностью введения авторизации. Интенциональность адресанта выражается прежде всего в его коммуникативном намерении. Важным свойством коммуникативного намерения является то, что оно представляет собой интегральную характеристику высказывания, так как «связывает прагматическую (внешнюю) ситуацию и собственно коммуникативную, говорящего и адресата, прагматический (предметный) и коммуникативный / интенциональный смысл их взаимодействия. <...> И потому КН не только может быть выражено разными способами, в зависимости от ситуации, но и различными способами интерпретировано (разрядка моя. – С.Г.) [3. С. 414].

Следует отметить, что данная методика основана на принципах анализа дискурса, воплотивших в себе «общую направленность исследования на многостороннее, комплексное изучение сложного многомерного феномена языкового общения» [2. С. 12].

Таким образом, интерпретация выраженных в авторизационном блоке аддитивных смыслов (под авторизационным блоком будем понимать маркированные авторизующей конструкцией дискретные текстовые единицы (отрезки текста), эксплицирующие компоненты его коммуникативно-информационного и прагматического (интенционального) содержания) заключается в том, чтобы выявить комплекс смыслов описанных выше СКР. Важно подчеркнуть, что выраженные в АБ смыслы взаимосвязаны, взаимообусловлены и синкретичны, поскольку «язык опутывает мир паутиной интерпретации, создает систему символов, в которой каждому обозначаемому явлению придается целый ряд смыслов (разрядка моя. – С.Г.), имеющих разные и смешанные – когнитивные, регулятивные, экспрессивные и прочие назначения» [9. С. 119].

Далее рассмотрим возможности применения предложенных теоретических разработок в разного рода дискурсивных практиках. Проиллюстрируем использование данной методики на материале диалектной речи. (В целях корректности сопоставления разных дискурсов из диалектной речи взят текст монологического характера.)

Я говорю, чтоб я щас оздоровела, мне тоё все дали в руки, я б еще лучше своих детей кормила. Как я тогда, я тогда не умела совсем, теперь научилась я. Еще жалею, что мало у меня детей, надо было больше, теперь жалею, надо было мне больше родить, а я мало, что четверо? У моёй золовки восемь, она вырастила, и мне надо было хоть бы семь, хоть бы шесть, можя б другая доченька была, а то вот одна доченька, три сыночка, а доченька одна [10. С. 19].

Метауровневость авторизационного блока в приведенном примере обусловлена экстралингвистическими причинами: в нем передается культурно значимая информация, воплощенная в одной из жанровых форм диалектной речи: воспоминании / автобиографическом рассказе, представляющих собой «комплексные информативные речевые жанры» [10. С. 15]. На более низком уровне обобщения, как нам представляется, в основе рассказа лежит метасмысл «сожаление», которое определяет наличие в данном АБ

признаков речевого жанра «сожаление», т.е. «я говорю» означает в данном блоке *я сожалею, что у меня мало детей*.

С метауровневостью данного АБ тесно связана и его синкретичность, поскольку речевой жанр «сожаление» относится к типу информативно-оценочных жанров, а в тексте содержится фактологическая информация, сопровождаемая эмоционально-оценочной составляющей. Метакомпонент *жалеть* в значении «печалиться, сокрушаться, сожалеть» повторяется в тексте несколько раз (*жалую, что мало у меня детей, теперь жалую, надо было мне больше родить*). Рядом конститутивных признаков речевого жанра «сожаление» обусловлена и интенциональность данного АБ: осознание говорящим мотива своей интенции (к числу которых относятся недуг, возраст, поведение адресата или третьего лица, а в рассматриваемом случае – ситуация, которая, как считает говорящий, могла бы быть лучше при определенных условиях) порождает интенцию говорящего сообщить об этом адресату, вызвать сочувствие и понимание, а также сопереживание со стороны собеседника. В то же время отметим проявление в анализируемом тексте экзистенциального отношения к жизни носителем диалектной культуры, принятие ее как данности. Говорящий не оценивает ситуацию как однозначно плохую. Он говорит лишь о том, что она могла бы быть лучше.

Конситуативность данного АБ также связана с комплексным характером сожаления, однако это комплексность иного типа, которая на макроуровне связана с выделением сожаления о малом количестве детей из числа других составляющих (для чего требуется вовлечение в анализ более крупных участков дискурса, что не входит в наши задачи в рамках данной работы), а на микроуровне – с разложением ситуации на смысловые составляющие: возможность содержать большее количество детей (*я б еще лучше своих детей кормила*), приобретение навыков обращения с детьми (*теперь научилась я*), сравнением с количеством детей у других (*у моей золовки восемь*), мысли о желаемом количестве детей (*мне надо было хоть бы семь*).

Супрасегментность описываемого блока связана как с особой мелодикой диалектной речи, так и с формированием особой семантической ауры у фактологического содержания высказывания, складывающегося у адресата впечатления о говорящем: его социальной, возрастной, гендерной принадлежности и т.д.

Однако наиболее репрезентативные данные с точки зрения выраженности СКР в авторизационном блоке позволяет получить соотнесение признаков речевого жанра «сожаление» и «автобиографического рассказа». Так, если рассматривать этот АБ как элемент текста, обладающий содержательно-формальными признаками автобиографического рассказа, то в его рамках сожаление образует СКР конситуативности, поскольку органично вписывается в рассказ, реализуясь параллельно с рассказом о себе. С другой стороны, если исходить из смысла «сожаление» в рамках жанра автобиографического рассказа, то последний образует метауровень для оценочного жанра сожаления. Говорящий подвергает оценке прошедшую жизнь или какой-либо ее период, оценивая стратегию своего поведения на определенном этапе жизни как неверную, неправильную (и это плохо), приведшую к неудовлетворительному результату в настоящее время. По сути, автор подвергает пересмот-

ру свои жизненные установки и ценности, по-иному расставляет приоритеты, в то же время осознавая невозвратимость прошлого. Представитель крестьянской культуры выстраивает другой альтернативный сценарий жизни, сопровождая модусом возможности – мечтой о лучшей жизни. На языковом уровне это выражается наличием сослагательного наклонения, повторением частицы *бы*, а также наличием сопоставительных конструкций, основанных на противопоставлении лексем *раньше* и *сейчас*. В результате превалирующим компонентом текста становится эмоционально-оценочный. Рассматриваемые в совокупности речевые жанры образуют СКР синкретичности, поскольку характеризуются общими жанрообразующими факторами: предметом и методом отображения, целевой установкой (функцией). Подобная интерпретация, основанная на выделении в смыслодержательной и коммуникативно-прагматической структуре АБ отдельных смыслов СКР, определяет глубину понимания целого текста, поскольку, как пишет Ван Дейк, «если, например, мы знаем, что текст, который предстоит воспринять, – рассказ, то можно активизировать имеющиеся у нас применительно к нашей культуре знания о схеме рассказа. Это облегчит приписывание особых нарративных функций соответствующим эпизодам текста (в нашем случае – АБ) [11. С. 129].

Таким образом, анализ устного диалектного текста – автобиографического рассказа, включающего в себя речевой жанр сожаления, свидетельствует о том, что специфика диалектной формы коммуникации обуславливает характер проявления субъектных компонентов речи, выделяемых в пределах авторизационных блоков.

Переходя к описанию комплекса СКР на материале текста СМИ, остановимся вкратце на тех важных вопросах, которые, по нашему мнению, должны экстралингвистически детерминировать особенности их проявления. Как известно, одной из особенностей дискурса СМИ является значимость для него оценочных коммуникативных актов, которые определяют тактико-стратегическое поведение коммуникантов: дискурс СМИ «служит формированию общественного мнения по поводу реальных событий, состояний и лиц, заслуживающих внимания общества [12. С. 260]. Понимаемая широко, оценка, по словам Г.В. Колшанского, – «это произведенная субъектом мыслительная операция над предметом высказывания» [13. С. 28]. С точки зрения когнитивного подхода оценка представляет собой особый когнитивный процесс построения образа объекта в языке и дискурсе с помощью языковых средств [14, 15, 16], и поэтому исследование оценки дает возможность выявлять устойчивые связи между когнитивными структурами, раскрывать познавательные возможности самих оценочных средств. «Оценка как когнитивная категория тесно связана с процедурой естественного вывода, при этом основой оценочных инференций служат знания о мире и о ситуации общения, а также знания о лексических, синтаксических, стилистических языковых средствах оценивания» [17. С. 24]. Характером оценки как ценностной категории определяются и ее интерпретационные возможности: «В мире оценок действует не истинность относительно объективного мира, а истинность относительно концептуального мира участников акта коммуникации» [18. С. 203]. Множественность СКР для выражения оценки обусловлена самим ее характером. Как указывает Е.М. Вольф, субъект

оценки может отличаться как от субъекта высказывания, так и от субъекта речи, но может и совпадать с ними [18. С. 69]. Говоря о соотношении оценки с пространством авторизационного блока, следует отметить ее текстовый характер, складывающийся из целого комплекса языковых средств выражения: фонетических, лексических, грамматических и синтаксических. Таким образом, оценка может быть заключена как внутри АБ, так и выходить за его рамки.

Людмила Улицкая заявила, что не поддерживает агрессивную политику России относительно Украины. Причина российской политики кроется, по ее мнению, в том, что «сейчас многие страны больны национализмом». Улицкая, а также Борис Акунин, Михаил Жванецкий, Владимир Сорокин, Виктор Шендерович, Виктор Ерофеев входят в международную неправительственную организацию ПЕН-клуб. 12 мая члены ПЕН-клуба заявили, что события на Украине «начались со лжи о насилии в Крыму» [19. С. 16].

Метауровневость АБ в приведенном примере обусловлена экстралингвистическими причинами: в нем передается социально значимая информация, воплощенная в одном из информационных жанров языка СМИ – очерке, сочетающем в себе функцию сообщения информации и воздействия на адресата и содержащем описание актуальной общественной проблемы. Множественность СКР в данной жанровой разновидности обусловлена возможностью реализации различных типов повествователя: «...автор при этом может выступать как закадровый наблюдатель, закадровый комментатор, участник события, собеседник героя, рассказывающего о событии» [20. С. 86].

Именно наличие оценки обуславливает наличие выраженного в данном АБ СКР синкретичности. Так, отсутствие поддержки со стороны Улицкой политики России означает одновременно и отрицательную оценку этой политики (*агрессивная политика, больны национализмом*). На лексическом уровне отрицательная оценка находит выражение и в следующем авторизованном предложении (*члены ПЕН-клуба заявили, что события на Украине «начались со лжи о насилии в Крыму»*). Представляется, что фактологическое (смысловое) содержание данного блока, рассматриваемое через призму оценки, можно выразить следующим образом: «Авторитетные деятели культуры характеризуют политику России в отношении Украины как агрессивную».

Говоря об интенциональном характере данного АБ, отметим, что воздействие на адресата представители прагматического направления в исследовании оценки считают обязательным условием существования оценочного речевого акта [21], а в рамках коммуникативно-прагматического подхода постулируется использование оценочных языковых средств в реализации различных коммуникативных стратегий [22]. Очевидно, что для рассмотрения отдельно взятого АБ как элемента коммуникативной стратегии требуется обращение к анализу целого текстового произведения. В рамках нашего исследования мы разделяем мнение А.В. Руденко, которая считает, что оценка имеет двойственный характер: «с одной стороны она относится к актам когниции, поскольку участвует в конструировании мира и задействует

различные структуры знания, и, с другой стороны, относится к актам коммуникации, будучи важнейшим средством воздействия на адресата» [17. С. 74]. В нашем примере *Людмила Улицкая заявила... члены ПЕН-клуба заявили* семантика глагола *заявлять*, являющегося к тому же перформативом, демонстрирует интенциональный характер данного действия.

Многоплановый характер категории оценки обуславливает и конситуативность рассматриваемого АБ. На макроуровне она обусловлена связью с другими оценочными актами, выраженными в целом тексте, например: 1) *Сходный тезис высказал Андрей Макаревич. По его мнению, катастрофы в Одессе можно было бы избежать, если бы не крымский прецедент...* 2) *Тем более что события на Украине родились, как отметил спикер ГД С. Нарышкин, именно из «недоработок в культурной политике»;* 3) *Руководитель кремлевской администрации С. Иванов, который одновременно возглавляет рабочую группу по разработке проекта закона об «Основах государственной культурной политики», высказался в апреле о том, что в России нельзя допустить «украинский сценарий»* [19. С. 16]. На микроуровне, т.е. внутри АБ, ситуация оценки разложена на две составляющие, выраженные двумя субъектами оценки: *Людмила Улицкая* и перечисленные члены ПЕН-клуба.

Супрасегментность в описываемом блоке не поддается интерпретации, что объясняется газетным происхождением рассматриваемого очерка. Однако это вовсе не означает, что супрасегментность не может быть присуща АБ дискурса СМИ вообще. Представляется, что такие медиасредства, как радио или телевидение, где оценка в рамках отдельных АБ может сопровождаться невербальными средствами (аудио- и видеосигналом, просодическими, мимическими, проксемическими компонентами), могли бы дать богатый материал в этом отношении, однако в нашей работе мы ограничиваемся анализом вербальных средств выражения авторизационных смыслов. Таким образом, анализ текста СМИ демонстрирует преобладание характерных для этой формы коммуникации оценочных смыслов субъектных компонентов речи в рамках авторизационных блоков.

Как показал анализ, интерпретация авторизационных смыслов через СКР позволяет сделать вывод о многомерном характере информации, заключенной в рамках АБ, что характеризует АБ как средство производства и передачи в процессе текстотворчества метауровневых, конситуативных, супрасегментных и интенциональных субъективных смыслов, выражающихся одновременно и синкретично. Эти смыслы вводятся одними и теми же языковыми средствами (авторизационными конструкциями), которые функционально взаимосвязаны. Информативность авторизационного блока помещает его в разряд когнитивных образований, т.е. образований, связанных с познавательной деятельностью человека и фиксацией этих знаний в тексте с учетом типа передаваемой информации: мыслительных операций для научного дискурса, коммуникативно-прагматических и когнитивных установок автора (адресанта) для диалектной речи и дискурса СМИ. Успешное применение данной методики на материале разных дискурсов свидетельствует о гибкости когнитивно-дискурсивной модели авторизации и ее значительном эвристическом аппликативном потенциале, а также о значительной

степени общности механизмов понимания описываемой предметной ситуации, которое обусловлено, очевидно, как наличием когнитивного взаимодействия автора и адресата в процессе коммуникации и общностью тезаурусов языковых личностей автора и адресата, так и сходством схем, моделей, стереотипов и шаблонов, лежащих в основе интерпретации содержания высказываний (и АБ): «Люди смогут понять то, что мы говорим, если их языковой репертуар активизирует такие же или сходные схемы и если их опыт по освоению этих схем сравним с нашим... если они способны состыковать в единый ансамбль схемы, введенные нами в модель потенциальной схемы, которая соответствует модели, сообщаемой им нами» [23. С. 107].

Таким образом, можно утверждать, что представленная когнитивно-дискурсивная модель авторизации аккумулирует в себе свойства исследований когнитивно-дискурсивной направленности, объединяя факты грамматики, дискурса и когнитивной психологии. При этом фактом грамматики является способность одного и того же типа синтаксических конструкций, составляющих категорию авторизации, передавать весь комплекс смыслов СКР, фактом дискурса – детерминированность этих смыслов коммуникативно-прагматическими и когнитивными установками автора, фактом когнитивной психологии – интерпретируемые авторизацион-ные смыслы.

Литература

1. Чернявская В.Е. Коммуникация в науке: нормативное и девиантное: Лингвистический и социокультурный анализ. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. 240 с.
2. Макаров М.Л. Основы теории дискурса. М.: Гнозис, 2003. 280 с.
3. Рябцева Н.К. Язык и естественный интеллект / РАН. Ин-т языкознания. М.: Academia, 2005. 640 с.
4. Тураева З.Я. Семантика художественного текста и модальность // Текстовый и синтаксический уровень стилистического анализа. Л., 1989. С. 93–103.
5. Серль Дж. Р. Природа интенциональных состояний // Философия, логика, язык / под ред. Д.П. Горского, В.В. Петрова. М., 1987. С. 96–126.
6. Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации. М.: Наука, 1984. 232 с.
7. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения: Роль языка в познании мира / Рос. акад. наук. Ин-т языкознания. М.: Языки славянской культуры, 2004. 560 с. (Язык. Семиотика. Культура).
8. Гольдин В.Е. Теоретические проблемы коммуникативной диалектологии: дис. в виде науч. докл. д-ра филол. наук. Саратов, 1997. 52 с.
9. Касавин И.Т. Текст. Дискурс. Контекст: Введение в социальную эпистемологию языка. М.: Канон+, 2008. 437 с.
10. Волошина С.В., Демешкина Т.А. Миромоделирующий потенциал речевого жанра (на материале диалектной речи) // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2012. № 3 (19). С. 14–20.
11. Дейк Т.А. ван. Язык. Познание. Коммуникация / пер. с англ.; сост. В.В. Петрова. М., 1989. 312 с.
12. Матвеева Т.В. Учебный словарь: русский язык, культура речи, стилистика, риторика. М.: Флинта: Наука, 2003. 432 с.
13. Колианский Г.В. Паралингвистика. М.: Наука, 1974. 81 с.
14. Langacker, R.W. Grammar and Conceptualization. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2000. 430 p.
15. Talmy, L. Toward a Cognitive Semantics: Concept Structuring Systems, Vol. 1 (language, Speech & Communication). Cambridge: MIT Press, 2001. 503 p.
16. Taylor, J.R. Linguistic Categorization. Prototypes in Linguistic Theory. Oxford: Clarendon Press, 1989. 270 p.

17. Руденко А.В. Модификация оценки в дискурсе СМИ (когнитивно-прагматический аспект): дис. ... канд. филол. наук: 10.02.19. М., 2012. 24 с.
18. Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. М.: Наука, 1985. 228 с.
19. Рыжова М. Культурный фронт // Суть времени. 2014. № 77. С. 16.
20. *Стилистический энциклопедический словарь русского языка* / под ред. М.Н. Кожин. 2-е изд., стер. М.: ФЛИНТА: Наука, 2011. 696 с.
21. Гуляев Т.В. Коммуникативные оценочные действия в иллюкутивных и перлокутивных актах // Высказывание и дискурс в прагмалингвистическом аспекте: сб. науч. тр. Киев, 1989. С. 30–34.
22. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. 5-е изд. М.: URSS, 2008. 288 с.
23. Филлмор Ч. Основные проблемы лексической семантики // Новое в зарубежной лингвистике: прикладная лингвистика. М., 1983. Вып. 12.

Tomsk State University Journal of Philology, 2014, 6 (32), pp. 5-16. DOI 10.17223/19986645/32/1
 Grichin Sergei V., Yurga Institute of Technology of Tomsk Polytechnic University (Yurga, Russian Federation). E-mail: grichinsergei@mail.ru
 Demeshkina Tatyana A., Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: de-meta@rambler.ru

THE APPLICATIVE POTENTIAL OF A COGNITIVE-DISCURSIVE AUTHORIZATION MODEL.

Keywords: discourse, authorization, cognitive-discursive model, subjective components of speech, interpretation.

The paper is devoted to the interpretation of meanings expressed by authorization structures in texts of different genres and functional styles, namely, mass media, academic papers and dialects. Interpretation is based on the principles of discourse analysis, as well as on the premises that the category of authorization (evidentiality) as an authorization model that integrates a set of values of subjective components of speech. The cognitive-discursive model of authorization and related methods of analysis of authorization blocks are based on the idea that in addition to the main ("surface") meaning, authorization structures have impressive (additive) sense as well. The cognitive-discursive model of authorization in scientific discourse is a syncretic, multilevel unity of meanings expressed by authorization and is based on the communicative intention of the author, reflecting mental operations associated with them and associated with handling and fixation of scientific knowledge in the text. Subjects' evaluative and everyday activities are more essential for the mass media discourse and dialect. Speech material of the investigated types of discourse is analyzed and subjective components of speech such as its syncretism, intentionality, as well as meta-level, con-situation and supra-segmental character are revealed. Their corresponding meanings are introduced by the same language means, namely, authorization structures that are functionally interrelated. The analysis of the mass media text shows the prevalence of communication meanings of subjective evaluation components of speech within authorization blocks, and the analysis of the verbal dialect text, an autobiographical story, which includes the speech genre of regret, suggests that the specificity of the dialectal forms of communication determines the nature of relevant components of subject speech manifestation. The possibility of using this technique on the material of various discourses indicates the flexibility of the cognitive-discursive authorization model and its considerable heuristic applicative potential, as well as common mechanisms of the predicative situation description. The described cognitive-discursive authorization model accumulates the properties of cognitive-discursive direction of investigation, uniting the facts of grammar (the ability of the same type of syntactic structures to make up the category of authorization to convey the whole complex of meanings of subjective components of speech), of discourse (the determined character of meanings by author's communicative, pragmatic and cognitive attitudes), by cognitive psychology (interpreted authorization meanings).

References

1. Chernyavskaya V.E. *Kommunikatsiya v nauke: normativnoe i deviantnoe. Lingvisticheskiy i sotsiokul'turnyy analiz* [Communication in science: norms and deviations. Linguistic and socio-cultural analysis]. Moscow: Knizhnyy dom "LIBROKOM" Publ., 2011. 240 p.

2. Makarov M.L. *Osnovy teorii diskursa* [Fundamentals of the discourse theory]. Moscow: Gnozis Publ., 2003. 280 p.
3. Ryabtseva N.K. *Yazyk i estestvennyy intellekt* [Language and natural intelligence]. Moscow: Academia Publ., 2005. 640 p.
4. Turaeva Z.Ya. [The semantics of a literary text and modality]. *Tekstovyy i sententsional'nyy uroven' stilisticheskogo analiza* [Text and dictum levels of stylistic analysis]. Leningrad: LGPI Publ., 1989, pp. 93-103. (In Russian).
5. Searle J.R. *Priroda intentsional'nykh sostoyaniy* [Nature of intentional states]. In: Gorskiy D.P., Petrov V.V. (eds.) *Filosofiya, logika, yazyk* [Philosophy, logic, language]. Moscow: Progress Publ., 1987, pp. 96-126.
6. Dridze T.M. *Tekstovaya deyatel'nost' v strukture sotsial'noy kommunikatsii* [Text activity in the structure of social communication]. Moscow: Nauka Publ., 1984. 232 p.
7. Kubryakova E.S. (ed.) *Rol' yazyka v poznanii mira* [The role of language in the knowledge of the world]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury Publ., 2004. 560 p.
8. Gol'din V.E. *Teoreticheskie problemy kommunikativnoy dialektologii*. Dis. v vide nauchnogo doklada dokt. filol. nauk [Theoretical problems of communicative dialects. Philology Dr. Diss. Report]. Saratov, 1997. 52 p.
9. Kasavin I.T. *Tekst. Diskurs. Kontekst. Vvedenie v sotsial'nyuyu epistemologiyu yazyka* [Text. Discourse. Context. Introduction to social epistemology of language]. Moscow: Kanon+ Publ., 2008. 437 p.
10. Voloshina S.V., Demeshkina T.A. World modelling potential of speech genre in dialect speech. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*, 2012, no. 3 (19), pp. 14-20. (In Russian).
11. Dijk T.A. van. *Yazyk. Poznanie. Kommunikatsiya* [Language. Cognition. Communication]. Translated from English by V.V. Petrova. Moscow: Progress Publ., 1989. 312 p.
12. Matveeva T.V. *Uchebnyy slovar': russkiy yazyk, kul'tura rechi stilistika, ritorika* [Learner's dictionary: Russian language, culture style of speech, rhetoric]. Moscow: Flinta: Nauka Publ., 2003. 432 p.
13. Kolshanskiy G.V. *Paralingvistika* [Paralinguistics]. Moscow: Nauka Publ., 1974. 81 p.
14. Langacker, R.W. *Grammar and Conceptualization*. Berlin – New York: Mouton de Gruyter, 2000. 430 p.
15. Talmy L. *Toward a Cognitive Semantics: Concept Structuring Systems*. Cambridge: MIT Press, 2001. Vol. 1, 503 p.
16. Taylor J.R. *Linguistic Categorization. Prototypes in Linguistic Theory*. Oxford: Clarendon Press, 1989. 270 p.
17. Rudenko A.V. *Modifikatsiya otsenki v diskurse SMI (kognitivno-pragmaticheskiy aspekt)*. Avtoref. dis. kand. filol. nauk [Modification in the discourse of media evaluation (cognitive-pragmatic aspect). Abstract of Philology Cand. Diss.]. Moscow: Moscow State Linguistic University Publ., 2012. 24 p.
18. Vol'f E.M. *Funktsional'naya semantika otsenki* [Functional semantics of evaluation]. Moscow: Nauka Publ., 1985. 228 p.
19. Ryzhova M. Kul'turnyy front [Cultural front]. *Sut' vremeni*, 2014, no. 77, p. 16.
20. Kozhina M.N. (ed.) *Stilisticheskiy entsiklopedicheskiy slovar' russkogo yazyka* [Stylistic Encyclopedic Dictionary of Russian]. 2nd edition. Moscow: Flinta: Nauka Publ., 2011. 696 p.
21. Gulyar T.V. [Communicative evaluative actions in illocutionary and perlocutionary acts]. *Vyskazyvanie i diskurs v pragmalingvisticheskom aspekte* [Utterance and discourse in pragmatic linguistics]. Kiev: KGPIYa Publ., 1989, pp. 30-34. (In Russian).
22. Issers O.S. *Kommunikativnye strategii i taktiki russkoy rechi* [Communication strategies and tactics of the Russian language]. Moscow: URSS Publ., 2008. 288 p.
23. Fillmore Ch. Osnovnye problemy leksicheskoy semantiki [The main problems of lexical semantics]. *Novoe v zarubezhnoy lingvistike: prikladnaya lingvistika*, 1983, issue 12.

УДК 811.161.1'28
DOI 10.17223/19986645/32/2

Г.В. Калиткина

КОГНИТИВНАЯ МЕТАФОРА КОНТЕЙНЕРА И ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ

Преломление универсальной когнитивной метафоры контейнера порождает специфическую разновидность темпоральных концептов традиционной культуры. Их план выражения представлен деноминативными глаголами, которые включают в лексическую семантику отсылку к циклическому континууму времени. Ареал функционирования большинства единиц ограничен, но количество позволяет говорить о высокой устойчивости данного семантического лейтмотива в русской языковой картине мира. Ключевые слова: лингвокультура, диалект, циклическое время, темпоральные глаголы.

Категория времени, являясь фундаментальной для «естественной» онтологии, оказывается той денотативной сферой, которая включает узловые проблемы, связанные с этнокультурными характеристиками ментальности (миропонимания). Объективное время в равной мере дано для неживой и живой материи, и вместе с тем оно предстает перед человеком умопостигаемой внеэмпирической сущностью, которая так или иначе осмысливается не только на уровне направленной теоретической рефлексии, но и на уровне культурной концептуализации этой составляющей обыденного человеческого опыта.

Обыденное бытие характеризуется специфической рациональностью, направленной на повседневное смыслополагание. При этом обыденное мышление, как и любая другая обработка информации, основано на восприятии, анализе и категоризации знания о действительности. Именно способы хранения и представления знания о мире (иначе говоря, концептуализация мира, нетождественная реальной действительности) отражены языком. И хотя тезис о национально-культурном своеобразии этой концептуализации сегодня никем особенно не оспаривается, многие вопросы до сих пор ждут своего решения.

1.0. Со времен Э.Б. Тайлора, впервые определившего понятие «культура», стремление дать ему строгую дефиницию не угасает и их количество растет. Примем самую простую: культура – способ освоения реальности. Следовательно, в определенной степени культура изофункциональна языку. Оба этих феномена стоят между человеком и внеположным ему миром. Культура формирует ту среду, в которой только и может существовать человек. Язык, согласно концепции В. фон Гумбольдта, также создает «промежуточный мир» между объективной действительностью и человеком. Не случайно в последние десятилетия возник и довольно широко используется термин «лингвокультура». Н.И. Толстой во многих работах возвращался к мысли, что язык и культура, будучи автономными семиотическими системами, все же могут

быть описаны с помощью одного логического (и терминологического) аппарата.

1.1. Суть любой национальной культуры определяется набором общечеловеческих черт и идей. Неуникальные явления, феномены, факты и формы культуры складываются в уникальную картину, специфически интерпретируя общее (см. работы В.Г. Костомарова, Т.В. Цивьян, Б.Н. Путилова, В.В. Воробьева, В.И. Карасика, Н.Ф. Алефиренко, С.Ю. Неклюдова и др.). Этот тезис получил афористичное методологическое преломление у А. Вежбицкой [1], которая постулировала, что сам факт существования культурной специфики как таковой предполагает и наличие культурных универсалий.

Объективные ограничения результатов анализа национальной культуры имеют двустороннюю природу. Принципиальная инаковость, экзотичность чужой культуры – тот аспект, который первым привлекает внимание любого исследователя, и ее содержание и форму он определяет, отталкиваясь от тех или иных черт культуры собственной. При этом надо отдавать отчет в том, что внешний анализ («внеаходимость» исследователя, в терминах М.М. Бахтина) как разновидность инокультурного восприятия порождает интерпретации лишь второго и третьего порядка (Э. Сепир, К. Гирц, А.В. Смирнов, И.А. Морозов).

С другой стороны, научная рефлексия о своей культуре нуждается в особых процедурах отчуждения себя и в качестве носителя этой культуры, и в качестве ее исследователя (А. Вежбицкая, Р.М. Фрумкина, К.А. Богданов). Хотя вопрос о единстве и многообразии национальных культур был поставлен по существу до появления классических антропологических штудий, теории встраивались в «западный» лингвокультурный контекст, который *arguendi* обрел статус универсального. Однако эксперименты, ведущиеся с 1990-х гг., доказали, что, например, понятия «правого» и «левого», которые, по представлениям западных исследователей, соотносятся с рядом базовых оппозиций культуры типа «рождение / смерть», «истина / ложь», «добро / зло», во все не являются универсальными в лексико-грамматических системах языков мира и носители некоторых культур незнакомы с семиотической нагруженностью правого и левого развертывания пространства. Как следствие у них возникает проблема различения зеркальных образов (энантиоморфов) (обзор работ см. в: [2]).

1.2. Теперь обратимся к концептуализации содержания культуры, т.е. процессу и результату восприятия, организации и представления этого содержания, где задействован язык. Культура типизирует в нашем сознании фрагменты опыта, а язык овнешняет их. Именно язык создает «понятийные орудия, отражающие прошлый опыт общества касательно действий и размышлений о различных вещах определенными способами, и способствует увековечению этих способов», – настаивает А. Вежбицкая [3. С. 20]. С этим тезисом согласны и представители когнитивной лингвистики: «Подавляющее большинство необходимых сведений о мире (прежде всего научных и теоретических) мы постигаем не в ходе нашей чувственной, предметной, практической деятельности, какой бы важной и базовой она в нашей жизни ни являлась, но в ходе деятельности, опосредованной языком» [4. С. 43].

Б.Л. Уорф, создав гипотезу о лингвистической относительности на дено-

тативном поле времени и пространства – категорий, безусловно должных покрывать весь физический опыт человечества, показал, в современных терминах, что результаты языковой концептуализации действительности могут не совпадать по многим аспектам. С тех времен стало очевидным, что на трактовку онтологии мира у разных народов¹ оказывают влияние и объективные, и субъективные факторы. В итоге, описывая внешний мир, язык фиксирует своеобразную «сетку предпочтений» (Е.Л. Березович) той или иной лингвокультуры, ее «культурный релятивизм» (А. Вежбицкая).

Впрочем, с данной проблемой столкнулись не только лингвисты, но и представители других гуманитарных дисциплин. «Например, историки, особенно те, которых интересовало что-то еще, кроме вопроса, почему мы сегодня гораздо умнее, чем раньше, литературоведы, особенно те, которые читали что-то, кроме Твена и Мелвилла на своем языке, и в последнее время даже философы, до которых дошло, что если грамматика отшлифовывает мир для англоговорящих и немецкоговорящих, то что-то в этом роде она должна делать и для говорящих на китайском языке» [5. С. 9–10]. К. Гирц, произнесший этот пассаж по случаю 200-летия Американской академии наук и искусств, далее предложил антропологам более широкую формулировку: поставлен вопрос соизмеримости концептуальных структур одного дискурсивного сообщества с другим.

В овнешнении концептуальных смыслов участвуют разные уровни языковой системы. И все же тезис Э. Сепира о том, что «чувствительным показателем» национальной культуры служит лексика, остается для большинства лингвистов, пожалуй, незабываемым постулатом. Работы, посвященные, например, связи определенных синтаксических конструкций и менталитета, вскрытой А. Вежбицкой на русском языковом материале, появляются нечасто, несмотря на то, что Б.Л. Уорф при обосновании своей гипотезы более опирался, вслед за Ф. Боасом, на феномены грамматического плана.

Как следствие внимание большинства авторов сфокусировано на номинативной плотности / лакуарности того или иного семантического поля, частотности лексических единиц и т.п. Концептуальному анализу подвергаются «лексические и лексико-фразеологические ресурсы категоризации действительности, отчасти также ее деривационный интерпретационный потенциал (морфологическая и семантическая деривация, в том числе метафорическое моделирование), и в наименьшей степени привлекаются явления грамматической категоризации» [6. С. 24].

2.0. В современном гуманитарном дискурсе используется ряд терминов с пересекающимися объемами: «народная культура», «традиционная культура», «субкультура». В предметном поле антропологии они чаще всего означают комплекс представлений, верований и кодов поведения низших слоев общества.

Мы сохраним терминообозначение «традиционная» за культурой, кото-

¹ «Сформулированная вначале как проблема «примитивного мышления», позже как проблема «когнитивного релятивизма» и, наконец, в последние дни как проблема «концептуальной несоизмеримости» (как всегда наиболее успешно в таких вопросах продвигается лишь его величество жаргон), это проблема несоответствия между взглядом на человеческое сознание с точки зрения «общего знаменателя» и взглядом на него с точки зрения «иных существ – иных понятий» [5. С. 3–4].

рая тысячелетия назад оперлась на ведущие хозяйственные практики этноса, т.е. на скотоводство или земледелие, породившие два основных цивилизационных типа населения – скотоводов-кочевников и земледельцев-крестьян.

Сегодня традиционная культура оказывается лишь одной из форм существования национальной культуры, отнюдь не доминирующей повсеместно. По мысли Н.И. Толстого [7], ныне традиционная культура вписана в парадигму иных форм культуры, подобно тому как обслуживающие ее диалекты вписаны в парадигму иных форм национального языка. Вместе с тем справедливо утверждение М. Элиаде: традиционная культура представляет собой прототип (субстрат) других форм национальной культуры.

3.0. Отсчет времени, установление сезонных и возрастных границ практикуется даже в примитивных племенах. Затем темпоральная организация жизни сообщества контролируется культурой все полнее. Традиционная культура вырабатывает и транслирует целостное ощущение времени, которое пронизывает все ее стороны и порождает единицы, модели, образы, концепты, нормы, ценности, ожидания, связанные с ним, – сложный комплекс стратегий бытия во времени, который назовем темпоральностью культуры [8].

Исходно эти вопросы привлекли внимание социологической школы Э. Дюркгейма, показавшей, что именно национальная традиция устанавливает правила, регулирующие продолжительность определенных актов и процессов (прежде всего производственных), сроки служб, существования институтов и страт и т.д. Внимание культуры не ограничено аспектом длительности, сообщества формируют свои правила, связанные со скоростью, ритмами и интервалами, а также темпоральным порядком самых разных социальных действий.

Темпоральность культуры представляет собой соединение чисто спекулятивного феномена времени и его разнообразных опредмеченных воплощений в обрядовом, акциональном, предметном, вербальном кодах. Очень ярко она проявляется на уровне дискурсов, например, у носителей традиционной культуры весьма разработан дискурсивный мотив (тема) принципиальной качественной неоднородности времени. Хроноощущения сообщества можно анализировать и на материале обозначений времени, т.е. на лексико-грамматическом участке ЯКМ.

3.1. В первой половине XX в. в гуманитарных дисциплинах сложилось мнение, что обозначения времени, выработанные «людьми» (иными словами, его **культурная концептуализация**, в отличие от научной терминологии), в аспекте и продолжительности, и выражения (в терминах лингвистики – **языковой формы**) детерминированы действиями и достижениями общества. Периоды времени, не заполненные сколько-нибудь значимой социальной деятельностью, люди «обходят, не наделяя их каким-нибудь обозначением. Здесь время не продолжается – разрыв виден всякий раз, когда конкретный период не содержит социального интереса или важности» [9. С. 115]. В результате в 1937 г. П. Сорокин и Р.К. Мертон настаивали на господстве в современном обыденном сознании концептов квантовой модели времени. Л.Н. Гумилев через тридцать лет увидел суть явления точнее. Он отметил, что восприятие времени как дискретной субстанции возможно не только на уровне обыденного сознания, но существует и в теоретической рефлексии,

прежде всего у историков¹. Их внимание сосредоточено не на самом времени, а на его наполнении протяженными и зачастую синхронными процессами. Л.Н. Гумилев пришел к выводу, что трем используемым в современном обществе моделям концептуализации времени – циклической, линейной и квантовой – нельзя приписывать атрибут стадиальности (эволюционности): «Люди считают время так, как им это нужно, и не применяют иные системы отсчета не потому, что не умеют, а потому, что не видят в этом практического смысла» [10. С. 93].

Это была принципиальная идея, не до конца оцененная и в наши дни: общим местом в современной литературе является утверждение, что исходной и главенствующей [в традиционной культуре] является циклическая модель времени.

3.2. Связь доминирующей модели времени и типа культуры была затронута Ю.С. Степановым и С.Г. Проскуриным [11]. В 1972 г. они противопоставили обрабатывающие и добывающие действия не только по редукции / максимальной развертке соответствующих им актантных структур, но и по типам порождающих их культур. Авторы постулировали, что обрабатывающие действия естественны в архаических и традиционных культурах, где они концептуализируются и ритуализируются как рекуррентные, повторяющиеся по календарному принципу. Добывающие действия формируют культуры, которые допускают концепт уникального, неповторимого действия, «абсолютной новизны». К аналогичному заключению пришел А.Я. Гуревич, связав специфику деятельности и «автоматические формы сознания» (ментальность): «В аграрном обществе время регулировалось природными циклами, это определяло и специфическую структуру его сознания. <...> Единичное, никогда прежде не случавшееся не имело для него самостоятельной ценности, – подлинную реальность могли получить лишь акты, освященные традицией, регулярно повторяющиеся. Не изменение, а повторение являлось определяющим моментом их сознания и поведения» [12. С. 89]. Это «повторение» полагал главной чертой мифологического сознания и М. Элиаде, назвав в конце 1940-х гг. фундаментальную работу «Мифом о вечном возвращении».

Итак, традиционная культура, сохраняя свои конститутивные черты в «стагнирующем» (Ф. Бродель), в «неподвижном» (Э. Ле Руа Ладюри) времени, прежде всего или даже исключительно в качестве объекта своей обрабатывающей деятельности имела биотические предметные системы, которые функционируют в годовом ритме. На этом фундаменте сформировалась циклическая модель времени.

¹ «Мы можем назвать неделимый отрезок квантом времени, подобно тому как приняты в физике кванты энергии и пространства, под которыми понимаются единицы дискретного процесса. <...> Квантом восприятия истории является так называемая «эпоха», под которой понимается не произвольно взятый отрезок времени, а некая целостность исторического бытия, воспринимаемая исследователем как объективная реальность. <...> При этой цене деления объектом изучения становится не безличное время, а индивидуальный облик того или иного явления. Например, все научились употреблять термины «Ренессанс», «Реформация», «эпоха крестовых походов» и т.п. в определенном значении, хотя возрождение античного искусства достигло апогея после раскопок в Помпеях, протестантские секты возникают даже в XX в. и крестовыми походами были войны Владислава Ягеллона и Яна Собесского против турок. Несмотря на это, терминологической путаницы не возникает, ибо историческое время отличается от астрономического» [10. С. 89].

4.0. Когнитивная лингвистика разделяет тезис, сформулированный еще в рамках сравнительно-исторического языкознания: общая концептуализация идеальных сущностей и передача абстрактных смыслов в языке совершается через призму смыслов конкретных, сформировавшихся в результате непосредственного наблюдения и ощущения предметов и явлений, ассоциируемых с ними. Это приложимо и к феномену времени.

Вопрос о филогенетической и онтогенетической первичности пространственных или временных смыслов, строго говоря, остается дискуссионным и поныне. Однако хорошо известно¹, что концептуализация умопостигаемого времени нередко идет при помощи пространственных метафор. Русский язык предоставляет такие примеры и в литературной подсистеме, и в говорах²: *Пришлют агронома-первокурсника, он говорит: «А чё вперёд сеют?» – гыт. Вот бедный, не знат даже; Скраю-то у их и матери были, и отцы; Двенадцать лет споряду работала; Учился-то когда, скрозь ночи просиживал, скрозь ночи сидел, ага; Эта деревня сыздадь построена, уж триста с лишком лет; Возле вечера к [реке] Томи сходите.*

Сегодня языковые факты подобного рода некоторые авторы рассматривают как свидетельство примарности, врожденности идеи пространства (подробнее см. в: [4, 14]). Даже если осторожно относиться к тезису о прекогниции, нельзя не признать справедливости заявлений когнитивистов о том, что постижение пространственных характеристик реальности породило нечто более значимое, чем просто переход тех или иных «пространственных» лексических единиц в иную семантическую зону. Осмысление универсума пространства дало ряд образных схем обработки человеческого опыта. Среди них схема вместилища (контейнера), которая закрепляется в языковом сознании соответствующей когнитивной онтологической метафорой – представлением о способности фрагмента мира удерживать нечто в своих границах. Дж. Лакофф и М. Джонсон полагают, что метафора вместилища (контейнера) по сути инвариант, представленный частными вариантами – объект-вместилище, вещество-вместилище, поле зрения – вместилище; в качестве вместилища могут быть восприняты события, действия, занятия и состояния (event, actions, activities and states). Они пишут: «Занятие (деятельность) рассматривается как вместилище для действий и других занятий, которые входят в его состав» [14. С. 415].

Итак, будучи результатом осмысления пространства, когнитивная метафора контейнера постепенно редуцирует пространственную конкретику, превращаясь в инструмент упорядочивания самых разных проявлений познаваемой действительности. С ее помощью «можно описать любые множества, группировки, объединения, классы и категории, т.е. перенести на эти абстрактные понятия все представления, почерпнутые из наблюдений над контейнерными вещами» [4. С. 489], – в том числе и для интерпретации времени.

Может ли вместилище пребывать незаполненным? Исходное «простран-

¹ Несмотря на «возраст» вопроса, регулярно появляются новые исследования. Одна из последних публикаций на эту тему посвящена метафорическому сдвигу в семантике русских предлогов [13].

² Текстовые иллюстрации взяты из Среднеобского диалектного архива (1947–2013) Томского государственного университета. Прочие лексические и текстовые примеры диалектного характера сопровождаются указанием на ареал функционирования.

ственное вместилище», по данным русской ЯКМ, допускает опустошение, хотя в традиционной культуре пустота места является и греховной, и опасной¹ (*свято место пусто не бывает; из пустой хоромины либо сыч, либо сова, либо сам сатана; чтоб тебе пусто было; пустая деревня 'нежилая', в пустой след 'напрасно'*), поскольку оказывается ликом небытия. Опустошенность же времени мыслима на уровне теоретической рефлексии в естественно-математических дисциплинах, где ему приписана равномерность и гомогенность. Хотя А. Бергсон полагал воображаемое гомогенное время «идолом языка», «фикцией», лингвисты, напротив, признают, что в языковых объективациях время предстает качественно разнородным. И если чувственно воспринимаемое пространство наполняют телесные, предметные объекты (в крайнем случае – вещества), то умозрительное время-контейнер удерживает в своих границах непредметные сущности. Прежде всего это такие кванты «потока действительности», как события (преимущественно не зависящие от воли человека) и действия (в основном его воле подвластные).

При отсутствии строгого определения события данный статус, как правило, приобретают феномены, не вписывающиеся в пределы быта, обыденности, рутинного хода вещей: событие зачастую кажется неповторимым. Названные событийными именами непредметные объекты носят характер девиаций или эксцессов. Единичными оказываются не только «отрицательные», но и «положительные» девиации: не только потеря, но и находка и т.д.² Таким образом, события преимущественно соотносятся с **линейной моделью времени** – ведь конститутивными чертами события предстают и необратимость, и неповторяемость.

Континуумы же **циклического времени** заполняются рекуррентными природными процессами: *Каждый год тальник [ивняк] ледоходом складывает, льдом его сдерёт, все макушки у него обдерёт. За льдом идёт больша́я вода, ил наносит на его. Сантцметров 15–20 ила каждый год по берегам прибавлялось. Дак этот тальник даёт корни дополнительные и опять в рост даётся; Даже никакого хлеба [здесь] не сеяли: весной каждогодно тонешь*. С другой стороны, циклические континуумы, независимо от объема, вмещают так же хорошо известные в силу их принципиальной «неновизны» действия людей – предписанные, одобряемые, желательные, нежелательные и запрещенные, персональные или же коллективные. При всей привычности они оказываются совершенно необходимыми и вновь повторяются в каждом новом цикле. Независимо от того, представляют они хозяйственную практику или связаны с различными обстоятельствами всего широкого течения жизни, такие действия обеспечивают витальные потребности человека и его духовные запросы: *Холст-то всю зиму прядёшь, выткешь, выбелишь, сошьёшь,*

¹ Широко известна примета, в которой реализуется вещный код культуры: встреча с женщиной, несущей пустое ведро, сулит неудачу.

² Представления о характере значимых событий в рамках классической бесписьменной традиционной культуры затронуты Л.Н. Гумилевым [10. С. 81–82]: «Довелось наблюдать чукчей, которые не могли ответить на вопрос, сколько им лет. <...> Разумеется, они помнили крупные события, например убийство медведя или приезд торговца с товарами, но отсчитывали их относительно друг друга: одно раньше другого, а насколько – не имеет значения».

лето пронесишь, а осенью сгниёт; Вечеринки, вечерки – отдельно собирались, без работы, зимой. Летом заняты – работа.

4.1. От дискурсивных объективаций темпоральности традиционной культуры перейдем к концептосфере языка. Одной из самых интересных единиц ее темпорального слоя предстает *пора*, с ее богатейшим содержанием и сложной структурой. Семантически существительное *пора* наиболее близко к гиперониму *время*, и обе лексемы могут выступать в предикативной функции, равно указывая на своевременность действия¹. Но это «разные аспекты своевременности: *время* апеллирует к заранее известным срокам, а *пора* – к обстоятельствам (внутренней необходимости действия)» [15. С. 162].

Таким образом, мы сталкиваемся с деятельностной составляющей темпоральных концептов. *Пора* (как и исчезнувшая в современной ЯКМ *доба*, и развивший более конкретную семантику *годъ*) оказывается подходящим (*пористым, порастым, удобным, (при)годным, годейным, угожим, негожим*) периодом для неконкретизированных действий, вместилищем некой деятельности вообще.

Но темпоральные концепты могут быть детерминированы и конкретными акциональными областями традиционной культуры: *Последни венцы были. Если не сумеешь женить [сына] в последние венцы, то надо ждать до мясоеда или [окончания] Великого поста*. Наименования отрезков времени в этом отрывке из сказки свидетельствуют, что среди объективного многообразия рекуррентных действий, совершаемых в определенный период, лингвокультура отрефлексировала и типизировала одно, которое воспринимается как отражение характера и предназначения времени-контейнера. Оно становится «действием-вывеской», «действием-символом», мерой и формой времени. Во всех функциональных подсистемах современного русского языка имеются единицы, которые концептуализируют разновеликие континуумы времени как раз на основании прекращения подобных показательных действий: *антракт, перерыв, остановка, пауза, простой, перекур* (разг.), *передышка, роздых* (прост.), *продых* (прост.), *гулянка* (псков.), *привал, отгул, выходной (день), отпуск, каникулы, перемена, окно, перемежек* (урал.) и т.д. Как видим, вполне верифицирован тезис когнитивистов о том, что означиванию через язык подлежит не мир, неохватный в своем многообразии, а наше представление о мире, всегда аспектированное.

5.0. Подавляющее большинство темпоральных концептов «ословлено» (Е.С. Кубрякова) или «закодировано» (А. Вежбицкая) в русском языке при помощи имен и наречий. Что касается глагольных лексем, то их темпоральные значения лингвисты традиционно воспринимают на уровне граммем,

¹ В силу давней и глубокой укорененности *поры* в традиционной культуре содержание этого концепта реализуется и через многочисленные паремии: *всякому делу (овоцу) своя пора; зверя быют – поры ждут; упусти пору (порину), да в лес по малину; сидят вино зимою, а пьют его порою; дорога помочь в пору; хороша молодежь, а к поре никого не найдешь; от поры до поры – все топоры, а пришла пора – нет топора; не соваться, а поры дожидаться; часом с квасом, а порою с водой и др.* Даже эти немногочисленные примеры ярко обнаруживают онтологические свойства *поры*: имея преходящий характер (вплоть до цикличности), она совершенно лишена количественной определенности, но при этом обладает определенностью качественной (выражающейся через пригодность и уместность какого-либо действия).

принудительно передающих время любого действия относительно момента речи (грамматической точки отсчета).

Лексическая же семантика времени признается прежде всего за немногими глагольными лексемами, отражающими фазовые смыслы (*начать, приступить, закончить, завершить*), либо за глагольным пластом «квазитемпоральной лексики» (Н.К. Рябцева), связанной с оценкой поведения человека в аспекте «времяпрепровождения». Они могут обозначать трату или экономию времени, попадание действия в подходящий момент, темп деятельности и т.д. (*глазеть, валандаться, ребячиться, упустить, зарекаться, накаркать, подгадать*). Однако темпоральный компонент значения в таких глаголах оказывается имплицитным, т.е. данный семантический признак выявляется при толковании слова.

Вместе с тем существует интересное подмножество деноминативных глаголов, которые не относятся к указанному пласту, **эксплицитно выражая темпоральные смыслы**. Их своеобразие можно счесть «живописным проявлением семантической щедрости, избыточности» языка, в терминах Н.Д. Арутюновой [16]. В 1976 г. при анализе предикатного значения она указала, что, вычленив некогда объект или орудие действия из значения глагола, язык дает ему возможность возвратиться в деноминативных глаголах типа *наследить, застеклить, пригвоздить*. В них физическое действие обозначается совместно со способом его осуществления.

Язык, разумеется, может вернуть в предикатное значение не только какой-либо из элементов структуры деятельности, но и сирконстантную информацию о времени развертывания действия и создать глаголы типа *зимовать*. С синхронной точки зрения их семантика оказывается прозрачной и расчлененной. При этом они объективируют темпоральные аспекты бытия дважды: не только на грамматическом уровне, выстраивая объективную модальность предложения, но и отсылая ко времени как бы «за пределами языка», к циклическому времени описываемого мира. В классификации предикатов такие единицы входят в класс «деятельность», «занятие», «поведение», и поскольку их внутренняя форма всегда отсылает к именам концептов времени, их логично назвать темпоральными глаголами.

5.1. Можно ли считать эти глаголы отмеченными лингвокультурной спецификой? Ответ зависит от того, что полагать ее основанием и признаками, и здесь общепринятых взглядов нет. Многие авторы видят критерий этноспецифичности (идиоэтничности) в невозможности перевести языковую единицу на другие языки, не прибегая к расчлененным наименованиям или фразеологизмам, т.е. аналитическим формам. Ю.Д. Апресян [17] считает меру этноспецифичности тем большей, чем большее число единиц выражает данный семантический лейтмотив, чем более разнообразна их природа и чем больше языков, для которых простой перевод невозможен.

Описываемые глаголы функционируют в ряде славянских языков. В 1983 г. их состава коснулась Д.С. Станишева [18]. По ее наблюдениям, в чешском языке их число ограничено: *zimovat, nocovat*¹. В русском языке круг

¹ Сохранение хотя бы одного из этих двух глаголов в большинстве западнославянских и южнославянских языках на фоне единиц, которые образованы от сопоставимых, но слабее нагруженных

шире: *дневать, ночевать, полдничать, вековать, зимовать*, однако их продуктивность как будто уменьшается, и состав по сравнению с древнерусским периодом¹, когда функционировали единицы *пладньновати, весьдѣньствовати, вечеровати, вечеряти, ночевати, ночьствовати, оутренити*, сократился. Количество болгарских глаголов значительно больше: *денувам, ношувам, зимувам, векувам, пладнувам, годинясам, годинясвам, летувам*, и наблюдается их развитие и активность как в современном литературном языке, так и в его диалектах. Активно они употребляются и в сербохорватском языке: *ноћевати, зимовати, дановати, лѣтовати, годиновати, пладновати*.

Переформулируем тезис Д.С. Станишевой: русские говоры, в отличие от литературной подсистемы, сохранили лексические парадигмы такого рода в более целостном состоянии или даже пополнили новыми членами. Так, в среднеобских старожильческих говорах² выделяются группы глаголов, связанные с несколькими циклами профанного характера ((1) *часовать – (зимать / зимовать – весновать – летовать – осеновать) – годовать*_{1,2} – *вековать* (словарь В.И. Даля фиксирует владим. единицу, которая потенциально входит в эту парадигму, *сутовать*, а сводный СРНГ – *неделевать*³); (2) *субботничать, понедельничать / понеделковать* (СРНГ со ссылкой на Словарь Академии Российской (1822) помещает *пятничать*; В.И. Даль дает без указания места глаголы *середничать, средопятничать* и *дневать*₁; в волог. говорах функционирует глагол *выходничать*); (3) *утренничать – дневать*₂ – *полдничать / полудновать / полуднять – вечерничать*₂ / *вечеровать / вечерять*, – эта среднеобская парадигма расширяется инодиалектными единицами *заревать*_{1,2}, известными соответственно забайк. и красн. говорам; в яросл., орл., тюм. говорах есть глагол *сумерить / сумеречничать / сумерничать*, МАС снабжает последний вариант пометой «разговорное», и *полночничать / полуночничать*, которые В.И. Даль помещает без локальной привязки, в той же статье фиксируя и глагол *сутемничать* с пометой «сев.») и сакрального характера ((4) *праздничать / праздновать, бороздить, вечерить / вечеровать*₃) [8]. Общее значение приведенных глаголов – ‘за-

коннотациями имен из парадигм *весна, лето, осень* и *утро, день, вечер*, отмечалось неоднократно. Что касается восточнославянской ветви, то словари украинского языка фиксируют глаголы *зимувати, ночувати, вечеряти, полуднати*, а русский глагол *полуночничать* (ЛСВ₁ – ‘до поздней ночи не ложиться спать, занимаясь чем-нибудь’, ЛСВ₂ ‘есть (перекусывать) поздним вечером (ночью)’) уже переводят как *сидіти до пізньої ночі* и не отмечают наличие второго значения.

¹ Существуют и церковнославянские примеры: *У вас же, аще случится мнѣ, пребуду, или и озимѣю, да вы мя проводите, аможе аще поиду* (2 Кор., 16:6). *Не добру же пристанищу сущу ко озимѣнію, мнози совѣтъ даяху отвезтися оттуду, аще како возмогутъ, достигше Финикии, озимѣти въ пристанищи критстѣмъ* (Деян., 27:12).

² В конкретных говорах количество подобных глаголов может значительно варьировать. Показательно, что А.Б. Коконова [19] описывает более 30 производных единиц (включая несвободные сочетания) от имени *век*, функционирующие в арх. говорах, однако глагол *вековать* не упоминает.

³ В качестве иллюстрации для разных членов этой парадигмы СРНГ приводит, по всей вероятности, фрагменты обрядовой песни, неоднократно записанной в разных регионах. Первый фрагмент: *Мне не век же да у вас вековать, мне не год же у вас да годовать, не весну-то у вас весновать, не лето-то у вас летовать* (указаны локалы Волог., Новг.). Второй фрагмент: *Один часик часовать во своей-то светлой светлице, не неделюшку неделевать*. Без указания на время записи даны локалы Костр., Перм., Урал, с указанием даты – Псков (1850).

полнять проживаемый отрезок времени типичными действиями¹. Толкование их лексического значения может эксплицировать как интегральный семантический компонент ‘жить вообще’ (*Перву вот зиму зимать будут; По осени за шишкой мужики едут. Кой-кто всю зиму с орехами зимовал. Многи в войну только их и ели [зимой]; Берлог найдёшь, так и зимой убиваешь. Прозимовывают [медведи] без всякого корму; Пролетуешь, осенью идёшь под-ремонтнуешь кулёму [охотничью ловушку]; Ждёшь-ждёшь лето, как из печи пирога, а быстро его пролетуешь* (курган.); *На новом месте еле переговадали* (курган.); *Перегадовать* – пережить (красн.), так и дифференциальный – ‘производить конкретное действие’. Спектр таких действий не выходит за пределы обычных хозяйственных практик, сложившихся в региональном варианте традиционной культуры².

Например, в диалектных системах Севера России, Урала и Сибири имя циклического континуума *осень* порождает глаголы *осеневать* / *осеновать* / *осенничать*, в том числе и в составе полусвободных сочетаний с «внутренними объектами» типа *осень осеновать*³. Перечисленные формальные варианты репрезентируют заполнение времени-контейнера рекуррентными сезонными действиями. В Среднем Приобье это заготовка орехов в тайге, на значительном расстоянии от деревенского дома (*Падалицу [упавшие шишки] осенью, едут далеко. Падалицу собирали. Километров сорок [от деревни] осеновали – осенью жили, падалицу до снега собирали, много насбывали*). В районе Пинеги и Архангельска – охота, Кургана – полевые работы. Более специфическое занятие глагол обозначает в ишим. и тобол. говорах – это поборы с крестьян в пользу приходского храма⁴. СРНГ помещает иллюстративный контекст, записанный в 1849 г.: *Дьякон поехал осенничать*.

Схожий характер в ряде севернорусских и сибирских диалектных систем имеют значения глагола *весновать*: ‘проводить где-либо весну’, ‘останавливаться во время пути весной, выжидая вскрытия рек’, ‘промышлять рыбу и зверя’, ‘пастись скот на летних пастбищах’. Глагол *летовать*, по данным

¹ Р.И. Кудряшова [20], описывая «годовую» глагольную парадигму в дон. говорах, упоминает о многочисленных префиксальных дериватах типа *залетовать*, *облетовать*, *перелетовать*, *полетовать*, *пролетовать*. Если вынести за скобки разные оттенки грамматической аспектуальной семантики, то, по ее наблюдениям, большинство донских глаголов, производных от имен *весна*, *осень*, имеют значение ‘начало действия’ (оно характерно и для «внепарадигмального» глагола *засентябрить*), тогда как образованные от существительных *зима*, *лето* единицы означают ‘проживать названный период’.

² Отклонения носят единичный характер: например, псков. глаголы *вечериться* и *заряниться* начинают соответственно ‘гулять поздно вечером, шататься, волочиться’ и ‘гулять, ходить, гостить до зари (рассвета)’, в ворон. говорах *заревать* имеет ЛСВ (1) ‘спать на заре’, (2) ‘гулять на вечерней заре’, а также третий ЛСВ, который обозначает полуобрядовые-полухозяйственные действия девушек ‘сторожить холсты’.

³ А.В. Исаченко [21. С. 351] называет их «архаическими устойчивыми сочетаниями», приводя в ряду думу *думать*, *горе горевать* и темпоральный пример *зиму зимовать*. В говорах подобные конструкции довольно регулярно создают глаголы, связанные с профанным временем, безотносительно к объему упоминаемого континуума. Современные диалектные тексты (*Пролетовали лето; У меня дочь каждно лето летует на курорте* (красн.) дополняют паремии, записанные В.И. Далем: *где ночь ночует, тут и год годует; не чаем, где час часовать, а Бог приведёт и ночь ночевать; не чаяли часу прочасовать, а пришлось годы годовать; год годовать – не век вековать*.

⁴ В красн. говорах есть существительное *весновка* в значении ‘сезонная часть сборов в пользу церкви’. Это позволяет предположить возможность функционирования глагола *весновать*, не зафиксированного диалектологами.

СРНГ, функционирует и на территориях Брянской, Рязанской, Смоленской, Курской областей, при этом в словарной статье преобладают контексты, записанные в севернорусском, уральском и сибирском регионах. Круг значений по-прежнему предсказуем: 'проводить где-либо лето', 'заниматься промыслом вне селения', 'выполнять летнюю сельскохозяйственную работу'. Поскольку производящее имя *лето* имеет и устаревший ЛСВ 'год' (*в лето такое-то от Рождества Христова; прошло столько-то лет*), то в орл., ряз., красн., урал. говорах глагол закономерно функционирует в значении 'быть (находиться) где-либо в течение года (нескольких лет)' (ср. со среднеобским глаголом *годовать*).

При укрупнении масштаба «темпоральной карты мира», когда единицей измерения становится день (сутки), заметно, что представление о «жизни в определенный период» объединяет онтологические классы действий, которые свойственны денотативной сфере повседневности. Ее структура, по мнению философов, создается тремя элементами, обеспечивающими поддержание человеческой телесности, – пищей, трудом и эротическими отношениями [22]. Последний элемент рассматриваемые глаголы не оязыковляют, но ими маркированы (1) хозяйственные (производственные, промысловые) действия либо их отсутствие вплоть до запрета на них (*Много ли успеешь навечерить [наработать вечером], приходится и день захватывать* (забайк.); *Думал навечерить, а глянь, гости пришли, и всё пропало* (забайк.); *Знать, субботничали [делали уборку в доме] девоцьки* (урал.); *Нонче пойдут мужики заревать [ловить рыбу на заре]* (красн.); *Хватит сумерничать-то [сидеть, отдыхая и разговаривая], надо спать* (урал.); *Выходницаем [отдыхаем, не работая] сёдне* (волог.); *На больнцином мѣсеч челой просидела, дак досыта навыходнцичалась* (волог.); (2) трапезничание либо его [частичный] запрет (первый аспект могут проиллюстрировать живые диалектные тексты: *Раньшы сумерничать садились все вместе, ни збирали один по одному* (орл.); *Дзедзем [едим поминальный ужин] мы. Мѣсечно на вулице було, а к нам баба пришла* (полес.), второй – «народные поверья», помещенные в словаре В.И. Даля: *кто понеделничает [держит пост в понедельник], возрадуется заступничеству Архангела Михаила; лучше не понеделничать, да не бездельничать*).

В некоторых диалектных системах наблюдается полисемия, поскольку глагол служит для обозначения обоих классов действия¹. Так, в курских (1859), тверских (1855), тульских, псковских говорах *полудничать* функцио-

¹ Например, одна группа значений глагола *годовать* представляет действия, объектом которых является пища. В.И. Даль полагал, что ЛСВ со значением 'кормить, воспитывая, выращивая' пришел в русские говоры из соседних малороссийских и белорусских. СРНГ отмечает наличие глагола с этой семантикой в смол. (1862), орл., курск., дон., псков. говорах, зафиксирован он и в центральных и южных районах Красноярского края. В сарат. говорах функционирует ЛСВ со значением 'угощать'. Другая группа значений глагола *годовать* в сиб., перм., екатеринб. (свердл.), арх. говорах репрезентирует невовлеченность человека или орудий (инструментов), промежуточных продуктов и заготовок в трудовую деятельность: 'праздно проводить время, бездельничать', 'сидеть без дела (о человеке)', 'лежать без дела (об инструментах и т.д.)'. В Среднем Приобье известны оба ЛСВ (*Что, ты меня годовала?*; *На сараях яруса стоят, годуют*), но частотность их актуализации низка, а более актуальным является еще один ЛСВ 'жить в течение года' (*Он на годовые курсы годовать поехал*).

нирует в значениях 'есть', 'отдыхать в это время'¹; в русских говорах Забайкалья глагол **вечеровать** имеет ЛСВ 'работать вечером' и 'ужинать'.

Однако чаще полисемия возникает, в терминах С.М. Толстой, на уровне «общерусского потенциала»: **понеделковать** (брян., Литва) / **понеделовать** (псков., твер., Литва) – 'отказываться от скоромной пищи (поститься) в понедельник', **понеделничать** (псков.) – 'отказываться от лова рыбы в понедельник'; **утреничать** – 'завтракать рано утром', **утренивати** – 'проводить раннее утро в делах, на ногах' (последние лексемы В.И. Даль приводит без указания места сбора, что, следует полагать, свидетельствует об их широком распространении); **заревать** 'есть на заре (рано)' (забайк.), **заревать** 'рыбачить на заре' (красн.).

Общерусская перспектива также обнаруживает, условно говоря, энантио-семию: например, в терских говорах **дневать** – это 'проводить праздничный день в полевых работах' (1907), тогда как в говорах Урала 'прерывать на день промысел рыбы' (1958): *Понедельник – рыбачить, вторник – дневать, пятницу, субботу – рыбачить, воскресенье – дневать*.

Спектр действий, репрезентирующих континуумы сакрального времени, оказывается более узким, поскольку он жестко закреплен культурной нормой, диктующей трансформацию поля деятельности (*в день свят суеты (дела наши) спят*). Работа в эти периоды уступает место гулянию. Оно состоит из обязательного праздничного трапезничания (как правило, включающего алкоголь) и развлечений – от пения до хороводов, катания с горок или на лошадях, игр и кулачных боев. В результате в Полесье функционируют глаголы **андросити, варварити, савити** 'пребывать в течение времени, называемом хрононимом' или 'праздновать называемый хрононимом день' [23]. В.И. Далем помимо названных отмечен глагол, отсылающий ко дню преставления св. Николая Мирликийского, так называемому «зимнему» Николину дню, **николить** (СРНГ приводит для него локальные пометы и датировку Перм. (1856) и Арх. (1832)). При этом все четыре единицы имеют одинаковую семантизацию – 'праздновать, гулять, пить, кутить'. «Словарь русских говоров Забайкалья» (1980) лексикографирует варианты **прошничать / прокопничать** 'пить чай без молока в период от петровок до Прошкина (Прокофьева) дня'.

Номинации праздничных² дней, созданные в народной календарной традиции разных регионов без опоры на антропонимы (например, *Великдень* (1) 'первый день Пасхи'; (2) 'весь период Пасхи'; *масленица, святки, деда* 'день календарных поминок; родительский день', *борозда* 'праздник в честь окон-

¹ Словарь В.И. Даля помещает глагол *полдневать* с пометой «сиб.» в значении 'умирать, жить последние минуты, отходить, быть на отходе, лежать на смертном одре'. СРНГ у вариантов *полудновать / полудневать* с этим значением указывает локалы Южная Сибирь (1847), Иркутск, Беломорье, Архангельск. Однако в говорах Среднего Приобья в таком значении используется единица иного «темпорального масштаба»: *Часует – когда умирает* (1963). Даль сопровождает этот глагол указанием «вост.». *Часовать* есть также в «Словаре диалектной личности» (2000), который описывает лексикон жительницы с. Кодского Шатровского р-на Курганской обл.

² Статус праздника в русской крестьянской традиции на рубеже XIX–XX вв. оставался довольно неопределенным: «Со словом «праздник» была связана многозначная и иерархическая шкала ситуаций – от ежедневного кратковременного отдыха в будни (полудничанья и сумерничанья) – до полного выключения из обычной жизни и хозяйственной деятельности на несколько дней всего общинного коллектива (в самом широком смысле – «мира»)» [24. С. 145].

чания посевной кампании'), также способны становиться производящей базой для подобного рода диалектных глаголов: *великодневать* (полес.), *масленичать* (забайк.), *святочничать* (без локала у Даля), *дедовать* (полес.), *бороздить* (среднеоб.) и близких к ним единиц *праздничать* / *праздниковать*, *святковать* 'отмечать праздник (*свято, святок*)' (южн. и зап.). В этой парадигме маргинальным оказывается статус владимирского глагола *весновать* в значении 'праздновать наступление весны', поскольку мотивирующей единицей для него выступает имя профанного периода. Правда, для всех земледельческих культур значимость весеннего сезона столь высока, что его наступление закрепляется обрядами встречи (славянский материал достаточно полно описан в работах Т.А. Агапкиной, С.М. Толстой и др.).

Рассмотренные выше глаголы объединены их отношением к циклическому времени. Формирующие данную темпоральную модель профанные / сакральные континуумы обладают свойством повторяемости, неновизны. Однако в силу непрерывности семантического пространства языка на периферии этого его участка сходным образом могут быть концептуализированы континуумы времени, входящие в линейную модель. Они проживаются каждым лишь однажды, вместе с тем способ их проживания – их «заполнения» – традиционная культура задает столь же жестко. Таким образом можно интерпретировать арх., беломор. и волог. глаголы *молодиться, молодцевать* в значении 'проводить, проживать молодые (добрачные) годы'. Молодежь, готовясь к переходу в полноправные члены общины, получала большую свободу в поведении, а также обязанности в некоторых обрядах (см. работы Т.А. Бернштам): *Когда я молодилась, у нас не было таких случаев* (волог.); *Я давно ведь молодчёвала, при царе ешию. Ровесничали мы с ёй, вместе молодчёвали* (волог.); *Он тогда еще молодцевал вместе с моим хозяином, а сейчас у него дочери молодцуют* (волог.); *Я недолго молодцевала, замуж выдали* (арх.).

5.2. Грамматическая система частей речи через когнитивные категории предметности, признаковости и процессуальности манифестирует наше восприятие мира не только во временных, но и в пространственных формах его бытия. Принято полагать, что феномены, которые обозначаются существительными, связаны с осмыслением дискретности, негомогенности пространства, а для тех, что обозначены глаголами, важна темпоральная проекция мироздания. Тем не менее Е.С. Кубрякова в ряде работ настаивает на большей сложности когнитивных структур, кодируемых глаголами, на их хронотопной организации: «Категория глагола базируется не столько на одном-единственном концепте, сколько совмещает самые сложные для человеческой мысли концепты времени и пространства с их достаточно условным, но антропоцентрически ориентированным членением» [4. С. 267], см. также работу [25].

На фоне рассмотренных темпоральных глаголов в русских диалектах существует и пласт деноминативных глагольных слов, которые объективируют заполнение действиями не времени, а пространства (*таёжничать* 'промышлять в тайге', *стржевать* 'промышлять рыбу на стрже [участок реки с быстрым течением]', *базарить* / *базарничать* 'торговать на базаре', *фермачить* 'работать на ферме' и т.д.). Могут ли быть взаимосвязанными наполнение

действиями временного континуума и жесткая фиксация их локуса? В русской ЯКМ, субстратом которой выступают крестьянские диалекты, как будто нет¹. Возможно ли это в других языках? Следует полагать, да. Так, Е.А. Бардамова перечисляет ряд бурятских глаголов, которые содержат темпоральные семы, аналогичные рассмотренным выше на материале русских диалектных единиц. Помимо этого семантический объем бурятских глаголов обогащен смыслами, важными для кочевого народа, выстраивающего по рекуррентному принципу и свои отношения с пространством. Хронотопная организация глагольной семантики оказывается здесь более релевантной, чем в языках оседлых земледельческих этносов. В результате возникает «свойство некоторых бытийных глаголов актуализовать **временную область пространственного бытия** (выделено нами. – Г.К.) кочевника *зухаха* ‘проводить лето’, *намаржаха* ‘проводить осень’, *убэлжсэхэ* ‘зимовать’, *үдэрлэхэ* ‘проводить день’» [27. С. 19]. Не имея возможности судить о полноте приведенной лексической парадигмы, подчеркнем, что при переводе на русский язык актуализован единственный общерусский универб *зимовать*.

6.0. Итак, обращение к реализациям одной из универсальных когнитивных метафор («пространство – это время») парадоксально обнаруживает частный способ лингвокультуры концептуализировать темпоральные стороны человеческого бытия.

Вместе с тем осознанию лингвоспецифичности такой трактовки времени способствуют диалектные языковые факты. Дело даже не в том, что в массиве анализируемых примеров преобладают локально ограниченные глаголы. Непривычные для носителя литературной подсистемы лексемы (*весновать* vs. *зимовать* или *неделевать* vs. *вековать*) «остраивают», изменяют знакомую картину мира, созданную средствами общенационального языка. В непреходящей антиномии своего и чужого² диалектизмы, являясь русскими словами, порождениями русского языкового сознания, обладают той мерой инаковости, которая привлекает к ним внимание, обуславливая (не только профессиональную) рефлексию о собственном языке.

Количество уже выявленных разнодиалектных темпоральных глаголов заставляет говорить о высокой устойчивости данного семантического лейтмотива. Его «оязыковление» завершает процесс типизации и недискурсивного истолкования сути времени как вместилища действий, который шел столетиями. И ныне эта суть присваивается каждым носителем лингвокультуры как часть семантической системы языка, часть неотрефлексированного национального менталитета.

Репрезентируемое темпоральными глаголами время предстает внутренне целостным благодаря однородным действиям, его наполняющим. За пределами данного времени-вместилища подобные действия невозможны, не су-

¹ Впрочем, А.А. Зализняк и А.Д. Шмелев [25] отмечают, что выражение *он пришёл с утра* не может быть понято русскими как ‘пришел домой’, равным образом *он ушёл с утра* понимается именно как ‘ушел из дома’, а *вернулся под утро* ‘домой’, поскольку в нормы культуры предполагают, что ночью человек находится дома и при этом спит.

² С одной стороны, понятное, разнообразное и разделенное «свое» противостоит целостному «чужому», основания дробления, дифференциации которого неизвестно, но, с другой стороны, в картине присвоенного мира подробности сливаются, став слишком привычными.

шествуют. *Летуют, полуднут, понеделничают* или *варварят* только в течение лета, полудня (безусловно, в данном случае континуум не является «точечным»), понеделника или Варварина дня (Варвары, Варвар) соответственно.

В целом темпоральные глаголы описывают осмысление языковым сообществом сферы повседневности, или «вечного настоящего». Это статичная ипостась бытования мира, оксюморонное царство «неподвижных циклов», постоянства жизненно важных отношений. Границы «сейчас» размыты, и оно обладает всепоглощающим характером. Экспансия настоящего выхватывает и подчиняет себе и сферу вчера, и сферу завтра. Настоящее лишено событий (однако не исключает происшествий и эксцессов), наполняясь деятельностью, действиями, деяниями, поведением, поддерживающими телесность человека, а также природными процессами, в которых человек не участвует. Именно это время житейской суеты, торопливости, близких сроков, время быта, а не бытия концептуализировано глаголом *сегодничать* (*полно сегодничать, поспеешь и завтра*), который В.И. Даль поместил, не указывая ареала распространения, с толкованием «настойчиво стремиться сделать что-л. сегодня».

Объем циклических континуумов времени, к которым отсылают темпоральные глаголы, варьирует, но остается в пределах «мещцо-мира», заданных человеческой сущностью. Традиционной культуре чужды мгновения и эпохи, ее темпоральные горизонты установлены и узаконены крайними членами парадигмы *вековать – часовать* с их значениями «проживать жизнь» и «проживать последние предсмертные часы», несколько упрощая, – «жить» и «умирать». Как видим, темпоральные глаголы объективируют не только пороги прецизионности традиционной культуры, но и ее экзистенциальные и этические установки. Вполне очевидно, что ряд континуумов-контейнеров, к которым отсылают глаголы, дан и «миру без человека» (так, времена года или субсуточные отрезки, в отличие от дней недели или праздников, создаваемых только культурной традицией, – объекты иного класса). При этом субъектом действий, обозначенных темпоральными глаголами, является прежде всего человек, а чаще – только человек.

Концепт культуры, обретая языковую оболочку, получает имя и его грамматическую категоризацию. Поскольку части речи – это (1) и способ, и результат придания опыту взаимодействия с миром «каков он есть» упорядоченности (структуры); (2) и способ, и результат «сортировки» данного опыта, то разные части речи связаны с разными когнитивными структурами. Частеречная семантика маркирует внеязыковое отличие элементов действительности или аспектов бытия. Если связь категорий «время» ↔ «действие» концептуализирована именем-девербативом (*жатва, страда, сидень* «поздний вечер» (сиб.), *заперт* «время окончания ярмарки торжища» (забайк.), то время предстает как сущность, а действие – как мера и форма этой ненаблюдаемой, конструируемой сущности. А деноминативные глаголы, отражающие эту же связь, будучи признаковой частью речи, репрезентируют иные смыслы: действие маркирует предназначение времени, его спецификацию.

Список условных сокращений ареалов функционирования диалектизмов

Говоры алт. – алтайские, арх. – архангельские, беломор. – беломорские, брян. – брянские, владим. – владимирские, волог. – вологодские, ворон. – воронежские, дон. – донские, екатеринб. (свердл.) – екатеринбургские (свердловские), забайк. – забайкальские, иркут. – иркутские, ишим. – ишимские, костр. – костромские, красн. – красноярские, курган. – курганские, курск. – курские, новг. – новгородские, орл. – орловские, перм. – пермские, печ. – печорские, полес. – полесские, псков. – псковские, ряз. – рязанские, сарат. – саратовские, сиб. – сибирские, смол. – смоленские, среднеоб. – среднеобские, твер. – тверские, тобол. – тобольские, тюм. – тюменские, урал. – уральские, яросл. – ярославские.

Литература

1. Вежибицкая А. Семантические универсалии и описание языков. М., 1999. 776 с.
2. Бородай С.Ю. Современное понимание проблемы лингвистической относительности: работы по пространственной концептуализации // Вопр. языкознания. 2013. № 4. С. 17–54.
3. Вежибицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов (1997). М., 2001. 288 с.
4. Кубрякова Е.С. Язык и знание: на пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. М., 2004. 560 с.
5. Гири К. Как мы сегодня думаем: к этнографии современной мысли (1983) // Этнографическое обозрение. 2007. № 2. С. 3–16.
6. Резанова З.И. Дискурсивные картины мира // Картины русского мира: современный медиадискурс. Томск, 2011. С. 15–94.
7. Толстой Н.И. Язык и культура (1990) // Толстой Н.И. Язык и народная культура: Очерки по славянской мифологии и лингвистике. М., 1995. С. 15–26.
8. Калиткина Г.В. Объективация традиционной темпоральности в диалектном языке. Томск, 2010. 296 с.
9. Сорокин П., Мертон Р.К. Социальное время: опыт методологического и функционального анализа (1937) // Социс. 2004. № 6. С. 112–119.
10. Гумилев Л.Н. Этнос и категория времени (1967) // Этносфера. История людей и истории природы. М., 1993. С. 79–97.
11. Степанов Ю.С., Проскурин С.Г. Концепт «действие» в контексте мировой культуры // Логический анализ языка: Модели действия. М., 1992. С. 5–14.
12. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры (1972) // Гуревич А.Я. Избр. тр.: в 3 т. М.; СПб., 1999. Т. 2. Средневековый мир. С. 15–261.
13. Рахилина Е.В., Плунгян В.А. Временные значения русских предлогов: границы метафоризации // Русский язык в научном освещении. 2013. № 1 (25). С. 5–20.
14. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем (1980) // Теория метафоры. М., 1990. С. 387–415.
15. Яковлева Е.С. Фрагменты русской языковой картины мира: модели пространства, времени, восприятия. М., 1994. 344 с.
16. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека (1976). М., 1999. 896 с.
17. Апресян Ю.Д. Основания системной лексикографии // Языковая картина мира и системная лексикография. М., 2006. С. 31–160.
18. Станишева Д.С. Единицы лексики и грамматики, выражающие темпоральное значение «период» в некоторых славянских языках // Аспектуальные и темпоральные значения в славянских языках. М., 1983. С. 105–112.
19. Коконова А.Б. Связь понятия «век» с рождением и смертью человека (на материале архангельских говоров) // Лексический атлас русских народных говоров: Материалы и исследования. 2011. СПб., 2011. С. 367–371.

20. Кудряшова Р.И. Глаголы, мотивированные именами существительными со значением времен года, в донских казачьих говорах // Лексический атлас русских народных говоров: (Материалы и исследования). 2012. СПб., 2012. С. 172–182.
21. Исаченко А.В. Грамматический строй русского языка в сопоставлении со словацким: Морфология. (1960). М., 2003. 880 с.
22. Сохань И.В. Повседневность как универсальное основание человеческой культуры: дис. ... канд. филос. наук. Томск, 1999. 124 с.
23. Толстая С.М. Антропонимы в народной календарной мифологии // Изв. Урал. гос. ун-та. Гуманит. науки. Ономастика: общие вопросы. 2001. № 20, вып. 4. С. 54–59.
24. Бернштам Т.А. Будни и праздники: поведение взрослых в русской крестьянской среде (XIX – начало XX в.) // Этнические стереотипы поведения. М., 1985. С. 120–153.
25. Кубрякова Е.С. Глаголы действия через их когнитивные характеристики // Логический анализ языка: Модели действия. М., 1992. С. 84–90.
26. Зализняк А.А., Шмелев А.Д. Время суток и виды деятельности // Логический анализ языка. Язык и время. М., 1997. С. 229–240.
27. Бардамова Е.А. Пространство и время в языковой картине мира бурят: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Улан-Уде, 2011. 32 с.

Tomsk State University Journal of Philology, 2014, 6 (32), pp 17-36. DOI 10.17223/19986645/32/2
 Kalitkina Galina V., Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: dasty2@yandex.ru
THE COGNITIVE METAPHOR OF THE CONTAINER AND THE LINGUO-CULTURAL SPECIFICITY OF TIME CONCEPTUALIZATION.

Keywords: linguistic culture, dialect, cyclical time, temporal verbs.

The universal physical experience of people generates general cognitive schemes of its processing. One of them is a metaphor of the container that originally conceptualized the human comprehension of space, and then – other aspects of reality, including the time. Temporal containers are filled with non-object manifestations of the world – events and processes, these concepts are represented mainly by nouns and adverbs.

On this background of interest is the linguo-cultural specificity of denominative "temporal" verbs such as *zimovat'* that exist in a number of Slavic languages. However, most of these units cannot be translated from the Russian language without using analytical forms. In the classification of predicates the analyzed verbs belong to the class of "activity", "occupation", "behavior". Their semantic leitmotif can be summarized as 'to spend, to live a continuum of time called by the derivative base name, filling this period with typical (indicative) actions'. The subject of such actions is primarily a person (*nochevat'*), and most frequently – only a person (*ponedelnichat'*_{1,2}, *dedovat'*, *borozdit'*, *vecherit'*).

The scope of time-container that includes actions varies from a century (*vekovat'* – 'spend one's lifetime') to an hour (*chasovat'* – 'spend the last hours before death'), yet remains within the limits resulting by the human nature. These verbs do not only outline the temporal horizons of traditional culture, but also mark its existential and ethical orientations, norms and values. The millennial traditional culture is based on the concept of non-novelty, repeatability, eternal return of all forms of activity. It could be the reason for the formation of temporal verbs from nouns denoting continua included in the cyclic model of time.

Generally described verb units conceptualize everyday life, the static world "now" which is filled with activities that support human corporeality – work and eating.

The literary subsystem of modern Russian language has a few temporal verbs, but, taking into account the "all-Russian potential" realized by living dialects, this fragment of the Russian language picture of the world becomes complete and detailed. Dialect units are the result of the Russian language consciousness, just like other words not limited locally.

Temporal verbs, which are a tool of non-discursive interpretation of the essence of time as a container of actions, evidence of the sustained interest of the Russian language culture in this aspect of the temporal experience of the person.

References

1. Wierzbicka A. *Semanticheskie universalii i opisaniye yazykov* [Semantic universals and description of languages]. Moscow: Yazyki russkoy kul'tury Publ., 1999. 776 p.
2. Boroday S.Yu. *Sovremennoe ponimaniye problemy lingvisticheskoy otnositel'nosti: raboty po*

prostranstvennoy kontseptualizatsii. [Modern understanding of the problem of linguistic relativity: works on spatial conceptualization]. *Voprosy yazykoznaniiya*, 2013, no. 4, pp. 17-54.

3. Wierzbicka A. *Ponimanie kul'tur cherez posredstvo klyuchevykh slov (1997)* [Understanding cultures through keywords (1997)]. Moscow: Yazyki russkoy kul'tury Publ., 2001. 288 p.

4. Kubryakova E.S. *Yazyk i znanie: na puti polucheniya znaniy o yazyke: Chasti rechi s kognitivnoy tochki zreniya* [Language and knowledge: Towards learning about language: Parts of speech from a cognitive point of view]. Moscow: Yazyki russkoy kul'tury Publ., 2004. 560 p.

5. Girts K. *Kak my segodnya думаем: k etnografii sovremennoy mysli (1983)* [How we think today: ethnography of modern thought (1983)]. *Etnograficheskoe obozrenie*, 2007, no. 2, pp. 3-16.

6. Rezanova Z.I. *Diskursivnye kartiny mira* [Discursive pictures of the world]. In: Rezanova Z.I. (ed.) *Kartiny russkogo mira: sovremennyy mediadiskurs* [Pictures of the Russian world: contemporary media discourse]. Tomsk: ID SK-S Publ., 2011, pp. 15-94.

7. Tolstoy N.I. *Yazyk i narodnaya kul'tura. Ocherki po slavyanskoy mifologii i lingvistike* [Language and folk culture. Essays on Slavic mythology and linguistics]. Moscow: Indrik Publ., 1995, pp. 15-26.

8. Kalitkina G.V. *Ob"ektivatsiya traditsionnoy temporal'nosti v dialektnom yazyke* [The objectification of the traditional temporality in dialectal language]. Tomsk: Tomsk State University Publ., 2010. 296 p.

9. Sorokin P., Merton R.K. *Sotsial'noe vremya: opyt metodologicheskogo i funktsional'nogo analiza (1937)* [experience of methodological and functional analysis (1937)]. *Sotsis – Socis*, 2004, no. 6, pp. 112-119.

10. Gumilev L.N. *Etnosfera. Istoriya lyudey i istoriya prirody* [Ethnosphere. History of people and history of nature]. Moscow: Ekopros Publ., 1993, pp. 79-97.

11. Stepanov Yu.S., Proskurin S.G. *Kontsept "deystvie" v kontekste mirovoy kul'tury* [The concept "action" in the context of world culture]. In: Arutyunova N.D. (ed.) *Logicheskiy analiz yazyka. Modeli deystviya* [Logical analysis of language. Action models]. Moscow: Indrik Publ., 1992, pp. 5-14.

12. Gurevich A.Ya. *Izbrannye trudy: v 3 t.* [Selected works: in 3 vols.]. Moscow – St. Petersburg Publ., 1999. Vol. 2, pp. 15-261.

13. Rakhilina E.V., Plungyan V.A. *Vremennye znacheniya russkikh predlogov: granitsy metafizatsii* [Temporal meanings of Russian prepositions: borders of metaphorization]. *Russkiy yazyk v nauchnom osveshchenii*, 2013, no. 1 (25), pp. 5-20.

14. Lakoff G., Johnson M. *Metafori, kotorymi my zhivem* [Metaphors we live by]. In: Arutyunova N.D., Zhurinskaya M.A. (eds.) *Teoriya metafori* [The theory of metaphor]. Moscow: Progress Publ., 1990, pp. 387-415.

15. Yakovleva E.S. *Fragmenty russkoy yazykovoy kartiny mira: modeli prostranstva, vremeni, vospriyatiya* [Fragments of Russian language picture of the world: models of space, time and perception]. Moscow: Gnozis Publ., 1994. 344 p.

16. Arutyunova N.D. *Yazyk i mir cheloveka* [Language and the human world]. Moscow: Yazyki russkoy kul'tury Publ., 1999. 896 p.

17. Apresyan Yu.D. *Osnovaniya sistemnoy leksikografii* [Bases of system lexicography]. In: Apresyan Yu.D. (ed.) *Yazykovaya kartina mira i sistemnaya leksikografiya* [Language picture of the world and systemic lexicography]. Moscow: Yazyki russkoy kul'tury Publ., 2006, pp. 31-160.

18. Stanisheva D.S. *Edinitsy leksiki i grammatiki, vyrazhayushchie temporal'noe znachenie "period" v nekotorykh slavyanskikh yazykakh* [Units of vocabulary and grammar, expressing temporal meaning "period" in some Slavic languages]. In: *Aspektual'nye i temporal'nye znacheniya v slavyanskikh yazykakh* [Aspectual and temporal meanings in Slavic languages]. Moscow: Nauka Publ., 1983, pp. 105-112.

19. Kokonova A.B. *Svyaz' ponyatiya "vek" s rozhdeniem i smert'yu cheloveka (na materiale arkhangel'skikh govorov)* [Connection of the concept "age" with the birth and death of the person in Arkhangelsk dialects]. In: Gerd A.S. (ed.) *Leksicheskiy atlas i russkikh narodnykh govorov. Materialy i issledovaniya. 2011* [Lexical atlas and Russian folk dialects. Materials and Research. 2011]. St. Petersburg, 2011, pp. 367-371.

20. Kudryashova R.I. *Glagoly, motivirovannye imenami sushchestvitel'nyimi so znacheniem vremen goda, v donskikh kazach'ikh govorakh* [Verbs motivated by nouns with the meaning of seasons in the Don Cossack dialects]. In: Gerd A.S. (ed.) *Leksicheskiy atlas i russkikh narodnykh govorov. Materialy i issledovaniya. 2012* [Lexical atlas and Russian folk dialects. Materials and Research. 2012]. St. Petersburg, 2012, pp. 172-182.

21. Isachenko A.V. *Grammaticheskiy stroy russkogo yazyka v сопоставлении со словатским.*

Morfologiya [The grammatical structure of the Russian language in comparison with Slovak. Morphology]. Moscow: Yazyki russkoy kul'tury Publ., 2003. 880 p.

22. Sokhan' I.V. *Povsednevnost' kak universal'noe osnovanie chelovecheskoy kul'tury*. Dis. kand. filosof. nauk [Daily life as a universal basis of human culture. Philosophy Cand. Diss.]. Tomsk, 1999. 124 p.

23. Tolstaya S.M. Antroponimy v narodnoy kalendarnoy mifologii [Anthroponyms in folk calendar mythology]. *Izvestiya Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Gumanitarnye nauki. Onomastika: obshchie voprosy*, 2001, no. 20 (2001), issue 4, pp. 54-59.

24. Bernshtam T.A. *Budni i prazdniki: povedenie vzroslykh v russkoy krest'yanskoy srede (XIX – nachalo XX v.)* [Weekdays and holidays: the behavior of adults in the Russian peasant community (the 19th – early 20th centuries)]. In: Bayburin A.K. (ed.) *Etnicheskie stereotipy povedeniya* [Ethnic stereotypes of behavior]. Leningrad: Nauka Publ., 1985, pp. 120-153.

25. Kubryakova E.S. *Gлаголы deystviya cherez ikh kognitivnye kharakteristiki* [Action verbs through their cognitive characteristics]. In: Arutyunova N.D. (ed.) *Logicheskiy analiz yazyka. Modeli deystviya* [Logical analysis of language. Action models]. Moscow: Indrik Publ., 1992, pp. 84-90.

26. Zaliznyak A.A., Shmelev A.D. *Vremya sutok i vidy deyatelnosti* [Time of day and activities]. In: Arutyunova N.D., Yanko T.E. (eds.) *Logicheskiy analiz yazyka. Yazyk i vremya* [Logical analysis of language. Language and time]. Moscow: Indrik Publ., 1997, pp. 229-240.

27. Bardamova E.A. *Prostranstvo i vremya v yazykovoy kartine mira buryat*. Avtoref. dis. d-ra filol. nauk [Space and time in the language picture of the world of the Buryats. Abstract of Philology Dr. Diss.]. Ulan-Ude, 2011. 32 p.

УДК 81'373.222
DOI 10.17223/19986645/32/3

Н.А. Курашкина

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНЫХ НАЗВАНИЙ ПТИЦ (НА ПРИМЕРЕ ОРНИТОНИМОВ ОТРЯДА ВОРОБЬЕОБРАЗНЫХ)

В статье анализируются биномиальные научные названия воробьеобразных птиц латинского, русского, английского и французского языков с целью выявления их информационного потенциала. Дается краткая характеристика орнитонимов с различными признакообразующими компонентами (фононимом, морфонимом, бионимом и т.д.). Сделан акцент на особенностях, присущих орнитонимам отдельно взятых языков, и совокупных возможностях орнитонимики в создании целостных «экопортретов» птиц.

Ключевые слова: орнитоним, бинарная номенклатура, родовое имя, видовое прилагательное / видовой эпитет, мотивированность.

Орнитонимы периодически оказываются в фокусе лингвистических изысканий, преследующих разные цели, что свидетельствует в пользу неугасающего интереса к подобного рода наименованиям и в плане мотивов номинации, и в плане развития этими лексическими единицами метафорических значений, ведущего к антропоморфизации данной группы слов. К наиболее значительным работам в этом направлении можно отнести исследования последних десятилетий А.Д. Адиловой, Л.В. Амелиной, Т.В. Козловой, Н.Ю. Костиной, И.Г. Лебедева, Н.Б. Нероновой, А.С. Савенко, О.Л. Силаевой, О.Б. Симаковой, Н.В. Солнцевой.

Зоологическая номенклатура представляет собой «применение отличительных названий для каждой из групп организмов, выделенных в любой зоологической классификации» [1. С. 11]. Основу для большей части данной номенклатуры составляет линнеевская иерархия, достигшая своей почти законченной формы (для зоологов) в 10-м издании «Системы природы» (*Systema Naturae*) К. Линнея в 1758 г. Принятая всеобщим соглашением для стандартных зоологических классификаций, линнеевская иерархия предстает как последовательность, состоящая из семи уровней: царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид [2]. Современная таксономия птиц опирается на систему классификации, созданную К. Линнеем, где главной таксономической единицей выступает вид (могут выделяться более мелкие группировки – подвиды). Так, несколько родственных видов составляют род, рода образуют семейство (могут быть подсемейства), семейства объединяются в отряд, отряды составляют класс. Класс птиц входит в тип хордовых, подтип позвоночных, принадлежа царству животных [3. С. 17].

Со времен К. Линнея действует и бинарная номенклатура, согласно которой каждый вид обозначается двумя латинскими названиями, показывающими родовую и видовую принадлежность, например: *Parus major*, или *большая синица*, где *Parus* (*синица*) – это родовое имя, а *major* (*большая*) – это видовое прилагательное (видовой эпитет). Видовой эпитет рассматривается как имя

существительное в функции прилагательного (пеночка-теньковка), либо как существительное (имя собственное) в родительном падеже (*Savi's warbler*), либо как прилагательное, согласованное с родовым названием в числе и роде (*roselin cramoisi*). Родовые наименования обычно имеют просторечно-региональное происхождение, многие из которых «некогда были индивидуальными однокомпонентными названиями, в то время как видовые определения – это результат более позднего словотворчества ученых» [4. С. 862]. Реже встречаются тройные номинации, содержащие два видовых эпитета, например: *great reed warbler*; названия многих видов имеют только одно родовое имя, например: *рябинник*, *wren*. Что касается латинской и французской орнитономенклатуры, то она в основном бинарная, например, *Acrocephalus arundinaceus*, *rousserolle turdoïde*.

По мнению Дж. Симпсона, зоологическая номенклатура – это «просто этикетирование таксонов в классификации. <...> Она разрабатывает словарь для описания и обсуждения животных и в таком качестве совершенно необходима в зоологии, но сама по себе она не представляет какого-либо другого зоологического и вообще научного интереса» [1. С. 40]. Позволим себе не согласиться с таким заявлением, ставя перед собой задачу раскрытия того информационного потенциала, который, без сомнения, заложен в научных названиях самых красивых животных, населяющих нашу планету.

Номенклатурная единица призвана выполнять номинативную, классификационную, информативную и коммуникативную функции [5. С. 16]. Применительно к научным названиям птиц номинативная функция состоит в наименовании отдельно взятого вида с учетом тех признаков, которые являются необходимыми и достаточными для его идентификации. Классификационная функция заключается в индивидуализации, обобщении и дифференциации многообразия видов, составляющих орнитофауну, и определении места для каждого представителя в таксономической системе. Информативная и коммуникативная функции научных названий реализуются посредством включения данных единиц в информационный обмен, обеспечивая специалистам ориентацию в многообразии пернатого царства и профессиональное общение по вопросам, связанным с орнитологией и смежными областями знаний. Это разъяснение функций, выполненное автором статьи.

Настоящее исследование базируется на 102 научных названиях (номенах) птиц отряда воробьеобразных, вошедших в сравнительный словарь орнитонимов [6] и представляющих латинскую, русскую, английскую и французскую номенклатуры. Поскольку словарь продолжает традицию подачи сугубо лингвистического материала в тесной связи с экстралингвистическими фактами, словарная статья располагает этимологической, орнитологической и культурологической информацией для наименования каждого рассматриваемого вида. Таким образом, верификация лексикографических данных [7; 8; 9; 10; 11; 12] производилась с опорой на специализированную орнитологическую литературу [3; 13; 14; 15].

Следует отметить, что большинство исследователей наименований птиц ограничивается анализом родовых имен, ссылаясь на тот факт, что двухкомпонентные номинации не фиксируются словарями (см., например, [16; 17; 18; 19]). Видимо, по той же причине не исследуются эпонимические названия

птиц, как, например, дрозд *Науманна* или *étourneau sansonnet*. В результате из поля зрения ученых-филологов ускользают видовые прилагательные, а вместе с ними и дополнительные отличительные признаки птиц. Между тем на долю видовых эпитетов приходится уточняющая информация, играющая немаловажную роль при идентификации видов.

Проанализированный материал позволяет сделать следующие обобщения.

1. Рассмотренные орнитонимы характеризуются сохранившейся и утраченной мотивированностью. Научные названия, в которых мотивы номинации прозрачны либо восстанавливаются с высокой степенью вероятности, подразделяются на категории по выделяемым в них компонентам (развитие идей Дж. Джоблинга [11. С. 11–15]). К компонентам, обеспечивающим фонетическую мотивированность орнитонимам, относятся *фононимы* (от греч. *φωνή* – голос, звук и *ὄνομα* – имя, название), закрепляющие разнообразные вокальные данные представителей авифауны, например: (лат.) *Garrulus glandarius*, (франц.) *alouette lulu*, (рус.) *грач*, (англ.) *warbler*. Компонент, придающий соматическую мотивированность научным названиям птиц, именуется *морфони́мом* (от греч. *μορφή*, вид, образ, наружность). Следует различать *морфони́мы с колористической основой*, или *морфони́мы-колорони́мы*, отражающие цвет оперения птицы (например, лат. *Oriolus oriolus*, франц. *merle noir*, англ. *icterine warbler*), и *морфони́мы, характеризующие форму и величину птицы* (например, рус. *пухляк*, франц. *troglodyte mignon*). Компонент-*бионим* (от греч. *βίος* – жизнь), определяющий экологическую мотивированность орнитонимов, указывает на ландшафтную приуроченность видов и предпочитаемые ими места обитания и гнездования, например: (лат.) *Alauda arvensis*, (франц.) *grimpereau des bois*, (англ.) *pine grosbeak*, (рус.) обыкновенная каменка. *Фаго́нимы* (от греч. *φαγεῖν* – есть, пожирать), указывающие на разнообразие питания птиц (лат. *Lanius*, англ. *spotted nutcracker*, рус. *мухоловка*), и *эрго́нимы* (от греч. *ἐργον* – труд, занятие, работа), отражающие образ жизни и поведение видов (рус. *зяблик*, англ. *wagtail*, франц. *grimpereau des bois*), определяют эколого-этологическую мотивированность научных названий. Компонент-*топоним* (от греч. *τόπος* – место, местность), обуславливающий топонимическую мотивированность орнитонимам, связан с названиями географических объектов и распространением птиц на ареале обитания, например: (англ.) *European greenfinch*, (лат.) *Eremophila alpestris*. *Эпо́ним* (от греч. *ἐπ-ὀνύμιος* – имя дающий, названный по имени кого-либо), придающий эпонимическую мотивированность научным названиям, увековечивает имя первооткрывателя, натуралиста или другого исторического или мифического героя, например: (франц.) *bergeronette d'Yarrell*, (англ.) *martin*, (рус.) дрозд *Науманна*.

Возможны сочетания указанных компонентов с учетом данных по биологии видов или же для составных родовых имен. Признакообразующий компонент может быть представлен как видовым прилагательным, так и родовым именем или его частью. Орнитонимы с утраченной мотивированностью, в которых реконструируется от двух и более мотивов номинации, относятся к символам, поэтому их дальнейшее распределение по категориям не представляется целесообразным.

2. В связи с тем, что в русской и английской орнитонимике наблюдается тенденция к отказу от ряда видовых эпитетов, связанных с ареалом распространения птиц (*Европейский, Евразийский, обыкновенный*), и росту числа однокомпонентных названий, количество рассмотренных эпитетов в заявленных языках неодинаково. В латинском и французском языках оно равно 102, что обусловлено процессом активного заимствования орнитономинаций и языковым родством; в английском языке количество видовых эпитетов для 102 видов воробьеобразных составляет 98 единиц; в русском языке – 72.

Видовые прилагательные изначально ориентированы на идентификацию и различение видов, поэтому в меньшей степени подвержены деэтимологизации и десемантизации. Количество латинских видовых эпитетов с прозрачной мотивированностью составляет 84%, французских – 89%, английских – 98%, русских – 100%.

3. Мотивы, лежащие в основе номинации видовых эпитетов, отличаются разнообразием. При этом для французских, латинских и русских эпитетов доминантным является соматический признак (компонент-морфоним): 42 эпитета из 91, 35 из 86 и 26 из 72 соответственно, в то время как для английского языка большее количество эпитетов связано с ареалом распространения птиц (компонент-топоним): 31 из 96, а компонент-морфоним обнаружен в 29 видовых прилагательных. Таким образом, видовые прилагательные с компонентом-морфонимом количественно превосходят эпитеты с компонентом-бионимом: лат. 34 : 21%, рус. 36 : 29%, англ. 30 : 25%, франц. 41 : 21%. В русском, французском и латинском языках на втором месте после соматического признака оказывается признак экологический (компонент-бионим) – по 21 эпитету в каждом языке; в английском языке таких эпитетов 25.

Если ведущие позиции эпитетов с компонентами морфонимом и бионимом неоспоримы (для английского языка важно подчеркнуть преобладание прилагательных с топонимической мотивированностью, таких как *Eurasian, European*), то для прилагательных с фонетической, экологической, эколого-этологической, топонимической и эпонимической мотивированностью выделить приоритетную группу представляется затруднительным вследствие равномерного количественного распределения составляющих компонентов. Данная статистика подтверждает важность внешнего облика птицы (цвета оперения, формы различных частей тела, величины) и места ее обитания и гнездования для определения вида в полевых условиях.

4. Родовые имена во всех языках анализа чаще всего представляют собой народные названия, вошедшие в научную номенклатуру, потому исходные признаки, положенные в основу их номинаций, оказываются забытыми. Как следствие процент символизации среди родовых имен довольно высок. Если количество имен с прозрачной мотивированностью составляет в английском языке – 60%, латинском – 53%, русском – 48%, французском – 44% (при общем количестве рассмотренных наименований равном 102), то на долю имен-символов приходится: в латинском языке – 44%, французском – 36%, русском – 24%, английском – 9%; остальной процент имен (англ. – 31%, рус. – 28%, франц. – 20%, лат. – 3%) – это орнитонимы, в которых восстанавливается один, наиболее вероятный мотив номинации. Следует отметить, что наибольшую трудность при восстановлении мотивов номинации вызывают

именно орнитонимы-символы и наименования птиц, подвергшиеся ремотивации. Только привлечение специальной лингвистической литературы наряду с биологическими и экологическими сведениями способно приблизить исследователя к пониманию сути того или иного орнитонима, в особенности если речь идет о спорных этимологических решениях.

5. У имен с сохранившейся мотивированностью преобладающими признаками, формирующими название, выступают вокальные характеристики птиц (компонент-фононим) для английского (25 из 63 имен) и русского языков (14 из 49 имен) и соматические особенности (компонент-морфоним) для французского (18 из 45 имен) и латинского языков (15 из 54 имен). Если рассмотреть родовые имена, мотивированные голосом, с учетом реконструкций, то они занимают первое место относительно орнитонимов с соматической мотивированностью, включая орнитонимы с колористической основой, в трех рассматриваемых языках: рус. 29% (фононимы) : 15% (морфонимы в целом) и 29% (фононимы) : 11% (морфонимы-колоронимы), англ. 53% (фононимы) : 20% (морфонимы в целом) и 53% (фононимы) : 17% (морфонимы-колоронимы), франц. 25% (фононимы) : 24% (морфонимы в целом) и 25% (фононимы) : 16% (морфонимы-колоронимы). В латинском языке наблюдается обратное соотношение, выводящее родовые имена, мотивированные цветом и другими морфологическими признаками, на первое место: 6% (фононимы) : 15% (морфонимы в целом) и 6% (фононимы) : 10% (морфонимы-колоронимы).

Ведущие позиции родовых имен с фонетической и соматической мотивированностью прослеживаются достаточно четко, на третье место в латинском (14 имен), английском (7 имен) и французском языках (11 имен) (с учетом реконструкций) выходит компонент-фагоним, а в русском языке – компонент-эргоним (12 наименований). Дальнейшая градация орнитонимов может быть проведена только для отдельно взятого языка: в латинском языке после компонента-фагонима следуют бионимы (13 наименований) и эргонимы (8 наименований); в русском языке после компонента-эргонима следуют бионимы и фагонимы, имеющие равное количество презентаций (по 10 наименований); в английском языке после компонента-фагонима наблюдаются эргонимы (5 наименований); во французском языке после компонента-фагонима имеется незначительное количество презентаций бионима (2 имени) и эргонима (1 имя).

Приведенные показатели говорят о том, что человек выделял птиц по наиболее заметным признакам, к которым со всей определенностью можно отнести голос и окраску оперения представителей орнитофауны, а в некоторых случаях способ их питания, предпочитаемый корм или же ландшафтные особенности обитания и поведение в природной среде.

6. Помимо орнитонимов, содержащих отдельно взятый компонент (фононим, эргоним и т.д.), выделены имена и эпитеты, сочетающие в себе сразу два компонента (фононим + морфоним, бионим + эргоним и т.п.). Такие сочетания возникают, во-первых, вследствие составного характера родовых имен, во-вторых, как возможное закрепление в наименовании двух признаков, характеризующих определенный вид. Например, видовые прилагательные, содержащие фононим и морфоним, отмечены в русском и французском языках

для *дроздовидной* камышовки (*rousserolle turdoïde*), они указывают одновременно на голос и окраску оперения, подобные дрозду; родовые имена, фиксирующие фононим и бионим, отмечены в английском языке для двух видов чеканов (*whinchat* и *stonechat*), они объединяют в составном названии характерный позыв птиц и место гнездования.

7. Отдельного внимания заслуживают орнитонимы, обозначенные выше как символические. Выявленные в них признаки могут выступать только в качестве одной из восстанавливаемых основ номинации. При этом реконструируемая экологическая мотивированность может соседствовать с эколого-этологической или фонетической мотивированностью вследствие полной или частичной символизации рассматриваемых орнитонимов. В качестве примера подобных этимологических реконструкций, не противоречащих экологии видов, можно привести русский орнитоним *соловей*. В данном имени восстанавливается комбинация из трех компонентов: окраска оперения (компонент-морфоним с колористической основой), ландшафтная приуроченность вида (компонент-бионим) и оценка голосовых данных птицы (компонент-фононим): *соловей* < праслав. **solvijь* < **solvъ* желтовато-серый; допускается происхождение от древнеиндоевропейского корня **sal* в значении *морская вода, вода* (др.-инд. *salila*) как указание на места обитания, близкие к воде [8. С. 267–268], или же связан со славой; *славянами* именовали и других сладкоголосых птиц, поющих в брачный период днем и ночью [20. С. 52–53].

8. Процессы деэтимологизации тесно связаны с ремотивационными явлениями, в результате которых забытый признак денотата, возможно, ставший основой номинации как «случайно бросившийся в глаза в момент называния» [21. С. 197], заменяется на более понятную современному наблюдателю особенность птицы. В результате появляются подновленные мотивы, связанные с морфологическими характеристиками вида (*синица* < *синий*, *starling* < *star* в значении *звезда*, *rossignol* < *russus* в значении *рыжий*), яркими вокализациями (*галка* < крик *гал-ка*, *oriole* < пение птицы *ori-ole*, *grive* < передача пения птицы *gri-gri*) или заметными поведенческими моделями (*ворона* < *вор она*, *воробей* < *вора бей*, *ласточка* < *ластиться*). Наибольшее количество ремотивированных родовых имен обнаруживается в русском (24 единицы) и французском (13 единиц) языках.

9. Орнитонимы с компонентом-фононимом предстают в виде названий с транскрипцией голоса в основе номинации (рус. *юла*, англ. *crow*), со звукоподражательными корнями в основе номинации (франц. *jaseur*, англ. *warbler*, рус. *пищуха*) и в виде названий, содержащих оценку голосовых данных птицы (лат. *Locustella*, рус. *пересмешка*). Кроме того, выделяются пограничные случаи, когда основу номинации может составлять и транскрипция, и звукоподражательная основа (англ. и франц. *pipit*), а также звукоподражательная основа в совокупности с общим впечатлением о голосе птицы (англ. *whinchat*, *stonechat*). Если компонент-фононим, представленный видовым прилагательным, призван описывать общее впечатление о вокализации того или иного вида птицы (лат. *modularis*, франц. *babillarde*), то компонент-фононим в виде родового имени оказывается более приспособленным к закреплению видового призывного крика (реже крика опасности), например: (англ.) *chough*, (рус.) *чиж*, или фразы демонстративной песни при помощи

звукосочетаний или звукоподражательных основ (корней), например: (рус.) пеночка-теньковка или пеночка-трещотка.

Обладатели имен, образованных на основе транскрипции видового призывного крика или песенной фразы, – это, как правило, птицы, характеризующиеся хорошо известными и легко воспроизводимыми человеком вокализациями, как, например, птицы семейства вороновых. Это могут быть и виды, которым свойственна довольно стереотипная, многократно повторяемая демонстративная песня или часто воспроизводимая позывка, включая сигнал опасности (см., например, названия дроздов, чеканов, пеночки-теньковки, юлы). Иногда в таких песнях легко улавливаются призывные крики, составляющие песенную канву (например, имена чечетки, чижа, щегла). Общее количество орнитонимов с основой из звукосочетаний, передающих вокализации, с учетом реконструкций: в латинском языке – 1, в русском языке – 17, в английском языке – 21, во французском языке – 10 наименований видов.

Птицы, научные названия которых опираются на семантику звукоподражательных корней и на общее впечатление об их голосе, отличаются незаурядными вокальными данными. Их демонстративные песни сложны и вариативны, зачастую содержат большое количество имитонов, а позывы трудно поддаются переложению с помощью адекватно подобранных звукосочетаний. Наилучшим способом фиксации сложно звучащих голосов оказывается метафорический путь осмысления вокализаций с использованием ярких эпитетов или производных от звукоподражательных корней образований (например, имена бормотушки, пересмешки, славки-мельничка и др.). Общее количество орнитонимов со звукоподражательными основами и орнитонимов, передающих вокализации описательно или метафорически, с учетом реконструкций: в латинском языке – 5, в русском языке – 12, в английском языке – 35, во французском языке – 15 наименований видов.

Таким образом, орнитонимов, опирающихся на фонетическую транскрипцию голоса птицы (с учетом реконструкций) в общей сложности оказывается меньше по сравнению с наименованиями, основанными на впечатлении о голосе или семантике звукоподражательных корней. Данное наблюдение подтверждает тот факт, что закрепляемое в языке звучание носит призывный и упрощенный характер по отношению к голосу птицы. Также можно сделать вывод о том, что орнитонимы с компонентом-фононимом метафоричны в своей основе, поскольку звучание голоса птицы вызывает разного рода ассоциации при его восприятии и с неизбежностью субъективируется.

10. Одна из особенностей орнитонимов, содержащих компонент-морфоним с колористической основой, состоит в том, что в большинстве случаев они закрепляют представление о более яркой, контрастной или доминирующей брачной окраске самца, например: (англ.) *common blackbird*, *black redstart*, (франц.) *roselin cramoisi*. Исключение составляют названия тех видов, которым не свойственен половой диморфизм. При этом видовые прилагательные и родовые имена не всегда верно отражают действительную окраску оперения птицы, поскольку в научной номенклатуре высока степень их формализации. При сопоставлении цветов, закрепленных научными названиями, с описанием цвета оперения воробьиных птиц в определителях на-

прашивается вывод, что наблюдателям свойственно выбирать преобладающий цвет, упрощая тем самым истинную колористическую характеристику птиц. Видовые прилагательные и родовые имена, обозначающие доминирующую окраску оперения, фактически указывают на окраску части тела птицы, например: (лат.) *Motacilla alba*, *Pyrrhula*, (англ.) *coal tit*, *goldfinch*, (франц.) *bruant aureole*, (рус.) *серый* сорокопут. Наиболее важной для закрепления в английских и французских научных названиях оказывается окраска верхней части птицы, потому в вышеприведенных примерах чаще подразумевается цвет спинной стороны тела и головы.

Необходимо отметить, что орнитонимы, возникшие на основании подобия одному из цветов спектра, цвету другой птицы или предмета, фактически образованы путем метафоризации, что подтверждает значение ассоциаций по сходству в словотворческой деятельности человека.

11. Излишняя формализация научных названий птиц, ведущая к генерализации существенных признаков, необходимых для определения вида, граничит с детализацией отдельных особенностей, положенных в основу номинации. Как следствие, один и тот же представитель орнитофауны в разных языках характеризуется различными экологическими предпочтениями. В качестве иллюстраций можно представить следующие орнитонимы с компонентом-бионимом: (лат.) *Passer montanus* – птица холмистой местности; при наличии соответствующего биотопа довольно высоко поднимается в горы [13. С. 356, 358], (рус.) *полевой* воробей – предпочитая городские окраины и сельскую местность, живут и в естественных местообитаниях – в рощах и перелесках, среди полей [3. С. 555], (англ.) *Eurasian tree sparrow* – по происхождению полевые воробьи птицы древесные [3. С. 552]. Примеры показывают, что расхождения в эпитетах могут быть обусловлены, с одной стороны, фиксацией происхождения вида, а с другой – наименованием биотопа, с которым он связывается в современном представлении.

Нередки случаи присвоения имени одному из представителей семейства, отражающему в полной мере тот или иной характерный признак вида, и впоследствии перенос данного имени на других членов семейства, а иногда на все семейство в целом. Так, латинское родовое имя *Sylvia* = *silvia* < *silva*, *ae*, лес; парк, сад [7. С. 709] изначально относилось к серой славке [11. С. 375–376], но сейчас присвоено всему роду славков и семейству славковых, что вполне оправданно, потому как эти птицы преимущественно населяют леса и сады.

12. Максимальной продуктивностью в формировании оттопонимических эпитетов обладают компоненты-гипертопонимы, такие как *Eurasian*, *European*, *d'Europe*. В связи с тем, что использование прилагательных *европейский* или *евразийский* не свойственно русскоязычной орнитонимике, можно считать определение *обыкновенный* своеобразным аналогом английских и французских терминов *Eurasian*, *European*, *d'Europe*: ср. *обыкновенный* снегирь и *Eurasian bullfinch* или *обыкновенная* иволга и *loriot d'Europe*. Заметно меньшее количество оттопонимических названий дают макротопонимы (*Eremophila alpestris*), а минимальное количество наименований, образованных от топооснов, представлено регионимами, т.е. названиями мест регионального значения (*Turdus iliacus*).

Компонент-топоним в составе орнитонима оказывается гораздо информативнее по сравнению с компонентом-эпонимом, несущим в себе имя собственное как указание на факт причастности некоего лица к описанию какого-либо вида или же на произвольную связь антропонимического образа с птицей. Специалисты считают почти полное отсутствие в русском языке «именных» названий птиц, относящихся к гнездовой фауне России, положительным фактором по той причине, что они «не обеспечивают информативной характеристики видов» [4. С. 866]. Присутствие «именных» орнитонимов во французском и английском языках часто напрямую связано с заимствованием книжных латинских названий. При этом нельзя забывать о самодостаточности английских натуралистов в период их доминирования в орнитологии XIX в.

Имя, которое получает вид в честь мифологического персонажа, как правило, не имеет под собой никакой мотивационной основы: это птица, в которую превращен тот или иной герой согласно легенде (*Anthus*, *Acanthis*, *Progné*, *Corōnis*, *-idis*). В ряде эпонимов все же просматривается ассоциативная связь между именем мифологического или библейского персонажа и образом жизни птицы, как, например, в орнитонимах с компонентами *philomèle*, *philomelos* (в основе вокальные данные птицы), *martin* (в основе способ питания или же дата отлета птиц на зимовку), *wren* (в основе репродуктивное поведение самцов), *sansounet* (в основе содержание птицы в неволе). Можно сказать, что в таких эпонимических названиях их мотивированность носит ассоциативно-образный характер, устанавливая прочные связи между наукой и культурой.

Ряд орнитонимов французского и английского языков образован от антропонимов по простой схеме переноса имени собственного, идентифицирующего человека, на птицу: *magpie* (< Маргарита), *robin* (< Роберт) или *pierrot* (< Пьер). Подобное имянаречение распространенное явление в народной практике, когда речь идет о широко известных и любимых видах птиц, однако оно может быть и более поздним переосмыслением названий, ставших символическими знаками (например, *jackdaw* < *Jack* или появившееся в просторечии имя *аполлоновка* < *Аполлон*).

Несмотря на то, что значимость всех вышеприведенных эпонимических названий для идентификации видов практически равна нулю, они представляют несомненный интерес с точки зрения выявления прочных взаимосвязей номена с культурно-историческими традициями. Имя собственное в орнитониме с компонентом-эпонимом – это «живая история, позволяющая представить исторические события и историю науки» [22. С. 24].

13. Как справедливо отмечают Е.А. Коблик и Ю.С. Фридман, русскоязычные орнитонимы по своему богатству, выразительности и меткости превосходят названия птиц на большинстве европейских языков. Кроме того, особенность русских и французских двухкомпонентных орнитонимов состоит в многообразии родовых названий, что повышает их информативность [4. С. 863]. Так, из 18 рассмотренных видов семейства славковых 14 видов в английском языке имеют родовое наименование *warbler*, фактически только указывающее на способность петь, но не характеризующее особенности вокализации, тогда как в русском и французском языках у этих птиц 6 родовых

имен, которые помимо голосовых особенностей указывают на морфологию и экологию данных видов (*славка, пеночка, камышевка, сверчок, пересмешка, бормотушка; locustelle, phragmite, rousserolle, hypolaïs, fauvette, pouillot*). Из 12 анализируемых видов семейства вьюрковых 6 представителей содержат в родовых названиях английского языка звукоподражательный элемент *-finch*, который только в одном случае (*chaffinch*) является частью вокализации птицы; в остальных 5 орнитонимах (*greenfinch, goldfinch, rosefinch, bullfinch, hawfinch*) этот элемент указывает на принадлежность к данному семейству при утраченной фонетической мотивированности. Русский и французский языки демонстрируют свои уникальные и потому более информативные родовые названия представителей этого семейства: *зяблик, юрок, зеленушка, чиж, щегол, коноплянка, чечетка, чечевица, щур, клест, снегирь, дубонос, pinson, verdier, tarin, chardonneret, linotte, sizerin, roselin, dur-bec, bec-croise,ouvreuil, gros-bec*.

Однако французский язык все же имеет тенденцию указывать на отличительные особенности той или иной птицы при помощи видового эпитета, оставляя неизменным родовое наименование. Например, 6 из 7 рассмотренных видов дроздов именуются *grive*, а их вокальные данные, соматические признаки, приоритетный корм и характер поведения уточняются при помощи таких эпитетов, как *musicienne, draine, à ailes rousses, litorne* и *mauvis*. Или же 5 представителей славковых, именуемых *fauvette*, получают отличительные признаки благодаря таким эпитетам, как *épervière, grisette, à tête noire, des jardins* или *babillarde*, свидетельствующим об окраске оперения одних видов и местах обитания и вокальных способностях других видов.

Надо признать, что схожие виды одного семейства и в русском языке различаются при помощи видового прилагательного или второго компонента составного названия, как, например, *мухоловка-пеструшка, серая мухоловка, малая мухоловка* или же *славка-мельничек, серая славка, садовая славка*, но это не снижает совокупного эффекта разнообразия русско- и французскоязычных родовых имен.

14. По наблюдению специалистов [23. С. 579, 580], большинство французских орнитонимов полностью или частично совпадает с латинскими научными названиями птиц, обоснованием чему являются как латинские корни французского языка, так и предпочтение французскими учеными научной латыни при «книжном» заимствовании имен. Рассмотрим некоторые примеры: (лат.) *locustella* → (франц.) *locustelle*; (лат.) *Lullula arborea* → (франц.) *alouette lulu*; (лат.) *Locustella luscinioides* → (франц.) *locustelle luscinioides*; (лат.) *Acanthis flammea* → (франц.) *sizerin flammé*. Иногда латинские основы через французские заимствования оказываются и в составе английских орнитонимов, например, (лат.) *Hippolais icterina* → (франц.) *hypolaïs icterine* → (англ.) *icterine warbler*; (лат.) *Oriolus oriolus* → (франц.) *loriot d'Europe* → (англ.) *golden oriole*.

Как показывают данные диахронного анализа, половина исконных древнеанглийских названий птиц была вытеснена французскими заимствованиями в среднеанглийский период в результате активных языковых контактов [24. С. 59–60]. Причиной проникновения такого количества заимствований в среднеанглийскую орнитонику была «ситуация билингвизма, сложившаяся

ся в то время на территории Англии вследствие вторжения норманнов. <...> Влияние латинских заимствований на английскую систему орнитонимов ослаблялось тем, что они носили дистантный научный характер. Давление французского языка смягчалось тем, что он предварительно взаимодействовал с германскими (скандинавскими) языками» [24. С. 59].

15. Выбор мотивирующего признака для одного и того же орнитонима в разных культурах отмечен разнообразием, что во многом обусловлено образом жизни народа, географической средой и другими экстралингвистическими факторами. К тому же каждое явление действительности имеет множество особенностей, из которых в основу номинации в отдельно взятом языке ложится какой-то один отличительный признак. Так, обыкновенная *пищуха* (*Certhia familiaris*) не только издает своеобразный писк, но имеет определенную окраску перьев, форму головы, клюва, характерные повадки. Поэтому русский орнитоним, будучи сформированным на основе описания голоса с использованием семантики звукоподражательных корней, не имеет ничего общего с названиями этого вида в английском и французском языках, где в основу номинации положен другой признак, отличный от вокализации, а именно особенность кормодобывания птицы: насекомых и пауков находит на стволах деревьев, лазая по ним по спирали снизу вверх (англ. *treecreeper*, франц. *grimpeur*, т.е. тот, кто ползает или лазает по дереву).

Яркий пример названий, создающих целостный «портрет» птицы, представляет орнитоним *поползень*: в латинском и французском языках родовое имя (*Sitta, sittelle*) образовано от звукоподражательной основы, воспроизводящей основной позыв птицы; русское имя связано с характером ее передвижений в поисках корма; английским родовым именем (*nuthatch*) закреплён предпочитаемый поползнем корм и способ его добывания, а французский видовой эпитет (*torche-pot*) образно соотносит процесс гнездостроительства с грязной работой поваренка-замарашки. Подобный «экопортрет», дающий представление о месте обитания, внешнем облике и голосовом поведении птицы, формируется посредством анализа наименований *свиристеля*: английский и французский видовой эпитеты (*Bohemian, boréal*) свидетельствуют о том, что птица имеет северный ареал распространения и не отличающиеся строгостью соблюдения сроки прилета и отлета с мест зимовки; латинское (*Bombycilla*) и английское (*waxwing*) родовые имена фиксируют наиболее приметные детали в окраске оперения свиристеля – светлую «шелковую» полоску, венчающую хвост, и подобные восковым ярко-красные пластинки на концах крыльев; русское и французское имена (*свиристель, jaseur*) и латинский эпитет (*garrulus*) отмечают характер голосовой коммуникации птиц, постоянно перекликающихся между собой в стае свиристелями трельками.

Если отдельно взятое наименование вида вскрывает только один отличительный признак представителя авифауны, то такие обобщения, основанные на информационном потенциале научных названий нескольких языков, позволяют синтезировать объемный образ той или иной птицы.

Литература

1. Симпсон Джордж Г. Принципы таксономии животных / пер. с англ. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2006. XX, 293 с.

2. *Linnaei Caroli Systema naturæ per regna tria naturæ, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Editio decima, reformata.* Holmiæ [Stockholm]: impensis direct. Laurentii Salvii. 1758. [4] Bl. S. 6–823.

3. *Рябицев В.К.* Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири: справочник-определитель. 3-е изд., испр. и доп. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2008. 634 с.

4. *Коблик Е.А., Фридман Ю.С.* О русских названиях птиц России [2006] // Русский орнитологический журнал. 2013. Т. 22. Экспресс-выпуск 864. С. 861–867.

5. *Кузнецова Е.В.* К вопросу о функциях номенклатурных номинаций (на материале международных наименований цветковых растений) // Изв. Саратов. ун-та. 2009. Т. 9. Сер. Филология. Журналистика. Вып. 3. С. 15–18.

6. *Курашкина Н.А.* Сравнительный словарь орнитонимов: латинские, русские, английские и французские названия птиц отряда воробьинообразных: словарь. Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. 290 с.

7. *Дворецкий И.Х.* Латинско-русский словарь. 11-е изд., стер. М.: Рус. яз.-Медиа, 2008. 843 с.

8. *Лебедев И.Г.* Значение и происхождение русских названий животных России и сопредельных территорий (эколого-этимологическое исследование). М., 2009. 419 с.

9. *Мюллер В.К.* Англо-русский словарь. 17-е изд., испр. и доп. М.: Рус. яз., 1978. 888 с.

10. *Новый французско-русский словарь* / В.Г. Гак, К.А. Ганшина. 13-е изд., стер. М.: Рус. яз.-Медиа: Дрофа, 2008. XVI, 1160 с.

11. *Jobling James A.* The Helm Dictionary of Scientific Bird Names. London: Christopher Helm, 2010. 432 p.

12. *Trésor (Le Trésor de la Langue Française informatisé)* // Etymologie // Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. URL: <http://www.cnrtl.fr/etymologie/> (дата обращения: 12.12.2013).

13. *Дементьев Г.П., Гладков Н.А.* Птицы Советского Союза: в 6 т. / под ред. Г.П. Дементьева, Н.А. Гладкова. М.: Сов. наука, 1954. Т. 5. 808 с.: ил.

14. *Жизнь животных: в 7 т. / гл. ред. В.Е. Соколов. Т. 6. Птицы* / под ред. В.Д. Ильичева, А.В. Михеева. 2-е изд., перераб. М.: Просвещение, 1986. 527 с.

15. *PSPB Complete Birds of Britain and Europe.* London: Dorling Kindersley Ltd, 2002. 480 p.

16. *Адилова А.Д.* Принципы мотивологического исследования и его аспекты (на материале наименований птиц): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Томск, 1996. 19 с.

17. *Амелина Л.В.* Семантические процессы, принципы лексикографического толкования, лингвокультурологическая интерпретация орнитонимов (на материале русского и немецкого языков): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Орел, 2012. 20 с.

18. *Неронова Н.Б.* Наименования птиц в русском языке (семантико-грамматический аспект): автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2000. 16 с.

19. *Симакова О.Б.* Лексико-семантическая группа «Орнитонимы» (на материале русского и французского языков): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Орел, 2004. 24 с.

20. *Баладинский Б.Б.* Языческие шифры русских мифов: Боги, звери, птицы... 2-е изд. М.: Амрита-Русь, 2008. 480 с.

21. *Балалыкина Э.А.* Внутренняя форма слова и наименования животных в русском языке // Учен. зап. Казан. ун-та. 2013. Т. 155, кн. 5. С. 196–205.

22. *Какзанова Е.М.* Номенклатура и термины-эпонимы: обзор мнений // Вестн. Моск. гос. обл. ун-та. Сер.: Лингвистика. 2010. № 5. С. 21–25.

23. *Фридман Ю.С., Коблик Е.А.* О названиях птиц в дословном переводе с европейских языков [2006] // Русский орнитологический журнал. 2013. Т. 22. Экспресс-выпуск 853. С. 573–582.

24. *Дочу А.Р.* Языковые контакты и заимствования как фактор становления тематических групп лексики (на материале английских орнитонимов) // Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота, 2013. № 1 (68). С. 58–60.

Tomsk State University Journal of Philology, 2014, 6 (32), pp. 37-50. DOI 10.17223/19986645/32/3
Kurashkina Natalia A., Bashkir State University (Ufa, Russian Federation). E-mail: kurashkina76@mail.ru

INFORMATIONAL POTENTIAL OF SCIENTIFIC BIRD NAMES (BASED ON PASSERINE ORNITHONYMS).

Keywords: ornithonym, binominal nomenclature, generic name, specific adjective (epithet), motivatedness, phononym, morphonym, bionym, phagonym, ergonym.

The given research is aimed at revealing scientific bird names informational potential. Latin, Russian, English and French generic names and specific epithets of 102 passerine species that entered a comparative dictionary of ornithonyms served as the material for scientific analysis. The examined bird names are categorized in accordance with the following feature-forming components: phononyms, morphonyms, bionyms, phagonyms, ergonyms, toponyms and eponyms. Bird names with lost motivatedness that restore two or more motives of nomination are referred to as symbolic ornithonyms.

Due to the fact that specific epithets are initially oriented to species identification and discrimination they are less susceptible to deetymologization. Quantitative domination of epithets containing morphonyms and bionyms is good evidence of the importance of bird appearance (plumage, color and physical characteristics), its habitat and environmental condition for species identification in the field. The degree of symbolization as a result of deetymologization among generic names is rather high because they originate from folk bird names formed in ancient time, thus their motives of nomination are lost now. Quantitative domination of generic names containing phononyms and morphonyms proves the fact that people singled out birds with most noticeable features (voice and plumage color) and gave them corresponding names. Deetymologization of generic names is closely connected with their remotivation as a result of which the lost motive of nomination is replaced by a renewed one that becomes more transparent to a modern birdwatcher.

The variety of Russian and French generic names is marked, which increases their informative power in comparison with more formalized English species names. The majority of French ornithonyms coincide with Latin scientific bird names, which is determined by Latin roots of the French language and active borrowing of Latin names; sometimes English ornithonyms demonstrate their Latin origin due to French borrowings. Formalization of scientific bird names leading to generalization of essential features necessary for species identification goes together with detailed elaboration of individual peculiarities that form this or that motive of nomination. As a result, one and the same representative of avifauna in various languages is characterized by a different set of features. The variety of motives of nomination revealed for one and the same ornithonym in different cultures depends on extralinguistic factors. Taken in combination scientific bird names of different languages are able to create a synthesized bird "ecoportrait".

References

1. Simpson G.G. *Printsipy taksonomii zhivotnykh* [Principles of taxonomy of animals]. Translated from English. Moscow: Tovarishestvo nauchnykh izdaniy KMK Publ., 2006. XX, 293 p.
2. Linnaei Caroli. *Systema naturæ per regna tria naturæ, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis*. Holmiæ [Stockholm]: impensis direct. Laurentii Salvii, 1758. [4] Bl. S. 6-823.
3. Ryabitsev V.K. *Ptitsy Urala, Priural'ya i Zapadnoy Sibiri: Spravochnik-opredelitel'* [Birds of the Urals, Trans-Urals and Western Siberia: a guide]. 3rd edition. Ekaterinburg: Ural University Publ., 2008. 634 p.
4. Koblik E.A., Fridman Yu.S. On Russian names for the birds of Russia. *Russkiy ornitologicheskii zhurnal*, 2013, vol. 22, issue 864, pp. 861-867. (In Russian).
5. Kuznetsova E.V. K voprosu o funktsiyakh nomenklaturnykh nominatsiy (na materiale mezhdunarodnykh naimenovaniy tsvetkovykh rasteniy) [On the functions of the nomenclature nominations of the international names of flowering plants]. *Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya Seriya. Seriya Filologiya. Zhurnalistika – Izvestiya of Saratov University. New Series. Series: Philology. Journalism*, 2009, vol. 9, issue 3, pp. 15-18.
6. Kurashkina N.A. *Sravnitel'nyy slovar' ornitonimov: latinskie, russkie, angliyskie i frantsuzskie nazvaniya ptits otryada vorob'inoobraznykh: slovar'* [Comparative Ornithonym Dictionary: Latin, Russian, English and French Names of Passerine Birds: Dictionary]. Ufa: RITs BashGU Publ., 2013. 290 p.
7. Dvoretzkiy I.Kh. *Latinsko-russkiy slovar'* [Latin-Russian Dictionary]. 11th edition. Moscow: Russkiy yazyk – Media Publ., 2008. 843 p.
8. Lebedev I.G. *Znachenie i proiskhozhdenie russkikh nazvaniy zhivotnykh Rossii i sopredel'nykh territoriy (ekologo-etimologicheskoe issledovanie)* [Meaning and origin of Russian names of animals of Russia and adjacent territories (eco-etymological research)]. Moscow: MGAVMIB Publ., 2009. 419 p.
9. Myuller V.K. *Anglo-russkiy slovar'* [English-Russian Dictionary]. 17th edition. Moscow: Russkiy yazyk Publ., 1978. 888 p.

10. Gak V.G., Ganshina K.A. (eds.) *Novyy frantsuzsko-russkiy slovar'* [New French-Russian Dictionary]. 13th edition. Moscow: Russkiy yazyk – Media; Drofa Publ., 2008. 1160 p.
11. Jobling James A. *The Helm Dictionary of Scientific Bird Names*. London: Christopher Helm, 2010. 432 p.
12. Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. *Trésor (Le Trésor de la Langue Française informatisé). Etymologie*. Available at: <http://www.cnrtl.fr/etymologie/>. (Accessed: 12th December 2013).
13. Dement'ev G.P., Gladkov N.A. (eds.) *Ptitsy Sovetskogo Soyuza. V 6 t.* [Birds of the Soviet Union. In 6 vols.]. Moscow: Sovetskaya nauka Publ., 1954. Vol. 5, 808 p.
14. Sokolov V.E. (ed.) *Zhizn' zhivotnykh. V 7 t.* [Animal Life. In 7 vols.]. 2nd edition. Moscow: Prosveshchenie Publ., 1986. 527 p.
15. *PSPB Complete Birds of Britain and Europe*. London: Dorling Kindersley Ltd, 2002. 480 p.
16. Adilova A.D. *Printsipy motivologicheskogo issledovaniya i ego aspekty (na materiale naimenovaniy ptits)*. Avtoref. diss. kand. filol. nauk [Principles of motivological research and its aspects as exemplified by the names of birds. Abstract of Philology Cand. Diss.]. Tomsk, 1996. 19 p.
17. Amelina L.V. *Semanticheskie protsessy, printsipy leksikograficheskogo tolkovaniya, lingvokul'turologicheskaya interpretatsiya ornitonimov (na materiale russkogo i nemetskogo yazykov)*. Avtoref. diss. kand. filol. nauk [Semantic processes, principles of lexicographical interpretation, linguistic and cultural interpretation of ornithonyms in the Russian and German languages. Abstract of Philology Cand. Diss.]. Orel, 2012. 20 p.
18. Neronova N.B. *Naimenovaniya ptits v russkom yazyke (semantiko-grammaticheskiy aspekt)*. Avtoref. diss. kand. filol. nauk [Names of birds in the Russian language (semantic and grammatical aspect). Abstract of Philology Cand. Diss.]. Moscow, 2000. 16 p.
19. Simakova O.B. *Leksiko-semanticheskaya gruppa "Ornitonimy" (na materiale russkogo i frantsuzskogo yazykov)*. Avtoref. diss. kand. filol. nauk [Lexical-semantic group "Ornithonyms" in Russian and French. Abstract of Philology Cand. Diss.]. Orel, 2004. 24 p.
20. Balandinskiy B.B. *Yazycheskie shifry russkikh mifov. Bogi, zveri, ptitsy...* [Pagan ciphers of Russian myths. Gods, animals, birds...]. 2nd edition. Moscow: Amrita-Rus' Publ., 2008. 480 p.
21. Balalykina E.A. *Vnutrennyaya forma slova i naimenovaniya zhivotnykh v russkom yazyke* [The inner form of the word and names of animals in Russian]. *Uchenye zapiski Kazanskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki – Proceedings of Kazan University. Humanities Series*, 2013, vol. 155, book 5, pp. 196-205.
22. Kakzanova E.M. *Nomenklatura i terminy-eponimy: obzor mneniy* [Nomenclature and terms-eponyms: review of opinions]. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Lingvistika – "Bulletin MGOU", series "Linguistics"*, 2010, no. 5, pp. 21-25.
23. Fridman Yu.S., Koblik E.A. Names of birds in a literal translation from European languages. *Russkiy ornitologicheskii zhurnal*, 2013, vol. 22, issue 853, pp. 573-582. (In Russian).
24. Dochu A.R. *Yazykovye kontakty i zaimstvovaniya kak faktor stanovleniya tematicheskikh grupp leksiki (na materiale angliyskikh ornitonimov)* [Language contacts and loan-words as a factor of formation of thematic groups of vocabulary as exemplified by British ornithonyms]. *Al'manakh sovremennoy nauki i obrazovaniya*, 2013, no. 1 (68), pp. 58-60.

УДК 81'374+81'37
DOI 10.17223/19986645/32/4

Т.А. Трипольская, Е.Ю. Булыгина

СПОСОБЫ ЛЕКСИКОГРАФИРОВАНИЯ ПРАГМАТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В ДВУЯЗЫЧНЫХ СЛОВАРЯХ

На материале европейских языков в статье рассматривается система наименований городских пространств, содержащих национально-культурный компонент, который практически не осмыслен как объект двуязычной лексикографии. Эта лексикографическая проблема обусловлена недостаточной теоретической разработанностью вопросов содержания и структуры прагматического макрокомпонента в семантике слова, а также способов представления национально-культурной информации в словарях, призванных «отразить две культуры, два способа языкового реагирования и два мировидения».

Ключевые слова: двуязычная лексикография, национально-культурный компонент, наименования городских пространств, языковая картина мира.

Теория двуязычной лексикографии органично связана с лингвокультурологией и сопоставительной лингвистикой. По замечанию В.Н. Ярцевой, «двуязычные словари всегда содержат в зародышевом виде контрастивное сравнение лексических единиц» [1. С. 30]. Поэтому двуязычный словарь всегда выступает отправной точкой в межкультурном диалоге. В силу этого особой проблемой для лексикографирования являются значения, содержащие национально-культурный, гендерный, социальный, идеологический, эмотивно-оценочный компоненты. Эта лексикографическая проблема обусловлена недостаточной теоретической разработанностью вопросов содержания и структуры прагматического макрокомпонента в семантике слова.

В настоящей статье мы сосредоточимся на наименованиях городских пространств в разных европейских языках, содержащих национально-культурный компонент, который практически не осмыслен как объект двуязычной лексикографии. Ср.: *город, улица, площадь, набережная, переулок, бульвар; citta, via, piazza, lungomare, vicolo, viale, alberato; ville, rue, place, quai, ruelle, impasse, boulevard; ciudad, calle, plaza, ribera, callejón, rambla, avenida, paseo; city, street, square, embankment, lane, avenue, boulevard* и др.

Почему язык городских пространств становится объектом специального лексикографического, семантико-сопоставительного, семиотического и лингвокультурологического исследования? На первый взгляд кажется, что слова тематической группы «Наименования городских пространств» присутствуют во всех европейских языках и вполне соотносимы по семантике.

Заявленный исследовательский ракурс становится вполне понятным, если мы окажемся в роли путешественника – «по прибытии в другой город, вернее, при размещении в иначе упорядоченном пространстве, возникает множество поводов для удивления, восторга или шока» [2. С. 147] – и обратимся к текстам городских карт, двуязычным словарям, разговорникам и путеводителям.

Для человека, осваивающего городское пространство и его язык, читателя переводной литературы или пользователя двуязычных словарей, словом, того, кто пытается увидеть чужой город через свои языковые и ментальные стереотипы, или того, кто готов освоить новое семиотическое пространство, эти лексические единицы характеризуются теми самыми смысловыми зазорами, которые не учтены двуязычными, а часто и толковыми словарями. Так, заказывая отель, например, в Лилле, путешественник обнаружит неожиданный адрес: *Parvis de Saint-Moris*. Словарь В.Г. Гака и Ж. Триомфа [3] сообщит, что *parvis* – это паперть, слово, не употребляющееся в составе современных русских городских номинаций. Читатель (и одновременно опытный путешественник) также «запнется» о словосочетание *просторная кампо*, помня, что в Венеции нет больших открытых пространств. А любознательный пользователь словарей нигде не прочтает о том, как строятся наименования набережных в Риме и Флоренции, которые, кроме наименования «околоводного» пространства, включают название реки (*Lungotevere degli Altoviti* (Рим, река Тибр), *lungadige Catena* (Верона, река Адидже); Ср.: *le quai Voltaire*, *Дворцовая набережная*, *набережная Лейтенанта Шмидта*, *набережная Невы*).

Эти примеры как нельзя лучше демонстрируют, что даже область так называемых языковых универсалий, к которым относится язык городского пространства, имеет яркую национально-культурную специфику, выявляющуюся в сопоставительных исследованиях, которые позволяют по-новому, из чужого города, взглянуть на пространство своего.

По мнению Лауры Сальмон, «на кафедрах русского языка надо было бы тщательно знакомить студентов с планом Петербурга: попробуйте читать Достоевского до и после знакомства с улицами, каналами, площадями – вам даже фабула покажется совсем иной! Хронотоп – это и есть место в эпохе, время в определенном пространстве, объединенные психологией художника» [4].

Мы привлекаем для исследования данные русского, французского, итальянского, испанского и английского языков, в которых воплощены образы европейских городов.

Если национально-культурная информация о топонимах фрагментарно включена в одноязычные толковые словари, то в двуязычных словарях и путеводителях она представлена слабо, хотя еще в большей мере востребована адресатом.

Такое положение дел объясняется основными принципами соотнесения лексических единиц из разных языков: эквивалентность устанавливается на основе существенного совпадения их лексических значений.

Создатели двуязычных словарей обычно адресуют лексикографическое издание широкому кругу специалистов в области иностранного языка, переводчиков, преподавателей, студентов, а также читателям с разной степенью языковой подготовки.

Каждый пользователь словаря ещё и потенциальный путешественник, поэтому национально-культурная информация, относящаяся к семиотической системе «Город», как нам представляется, особо востребована адресатом двуязычных словарей и путеводителей. Какую же информацию о чужом городском пространстве ожидает/хочет/может обнаружить в переводном словаре

читатель? Во всех ли случаях достаточно перевода городской номинации? Ответ на второй вопрос, скорее, отрицательный: чаще требуется именно толкование с привлечением энциклопедических и лингвострановедческих элементов.

Думаем, что была бы полезной информация о расположении, устройстве, местонахождении топоса, а также связанная с ним историко-культурная информация.

Воссоздание чужого городского пространства с помощью своих городских номинаций оказывается весьма приблизительным: сквозь языковую сетку бульваров, площадей, набережных мы видим, скорее, не чужой город, а город, неуловимо похожий на свой. Так, парижские бульвары мы воспринимаем через «призму» бульваров *Садового кольца*, хотя их пространственное устройство существенно отличается, а итальянские и испанские площади (*piazza, piazzale, piazzeta, piazzhetto, largo, campo, campiello* и др.; *Ágora, foro, plazaleta, plazuela, praza, terrero, zoca, zócalo, zoco, antuzano, barreduela, glorieta, replaceta, rotonda*) через образ *Дворцовой* или *Красной площади*. Приблизительность облика чужого города, связанная, например, с невозможностью увидеть этот город своими глазами или с невозможностью/нежеланием преодолеть свои стереотипы, способствует появлению некоторого усреднённого мифа в сознании современного носителя языка.

Рассмотрим следующие двуязычные словари: «Французско-русский словарь» К.А. Ганшиной [5], «Французско-русский словарь активного типа» В.Г. Гака и Ж. Триомфа [3], «Большой русско-французский словарь» Л.В. Щербы, М.И. Матусевич и др. [6], «Новый большой русско-итальянский словарь» А.Б. Канестри [7], «Большой итальянско-русский словарь» Г.Ф. Зорько, Б.Н. Майзель, Н.А. Скворцовой [8], «Испанско-русский словарь современного употребления» А.В. Садикова, Б.П. Нарумова [9], «Latin American (Es-Ru). Испанско-русский словарь. Латинская Америка» [10], «Большой русско-испанский словарь» под редакцией Г.Я. Туровера [11], «Большой испанско-русский словарь» Б.П. Нарумова, Н.В. Загорской, Н.Н. Курчаткиной и др. [12].

Напомним, что двуязычный словарь устанавливает соответствия между словами двух языков лишь на системном уровне, опираясь на наиболее типичные, регулярно повторяющиеся контексты.

• **Двуязычные словари: от иностранного языка к русскому**

Обратимся к Французско-русскому словарю /Dictionnaire français – russe, который составлен К.А. Ганшиной (51 000 слов) [5]. В этом не новом словаре, который критиковал В.Г. Гак за недостаточное внимание к фиксации лингвострановедческой информации, содержится, однако, максимальное, по сравнению с другими лексикографическими источниками этого типа, количество комментирующих помет, сопровождающих городские номинации. Ср.:

rue 1) улица; rue fréquentée людная улица;

place <...> 4) площадь, плац; рыночная площадь; рынок; 5) город (как торговый, деловой центр) la place de Paris Париж (как торговый, деловой центр);

quai 1) пирс; набережная; пристань. ♦ Le Quai d'Orsay Министерство иностранных дел (во Франции);

boulevard бульвар; les grands Boulevards Большие бульвары (в Париже); Saint-Michel (сокр. *boul'Mich*) бульвар Сен-Мишель (в Париже); boulevarder слоняться по *парижским* Большим бульварам; ruelle 1) проулок, улочка <...>; avenue подъездная дорога; широкая обсаженная деревьями улица; проспект, авеню; quartier 3) квартал; жители квартала; участок, округ; <...> Quartier Latin Латинский квартал (*студенческий, университетский квартал в Париже*); impasse прям., тупик; être dans une impasse, être acculé à l'impasse – быть в безвыходном положении, попасть в тупик; tirer de l'impasse – вывести из тупика; parvis *церк.* паперть; carrefour 1) перекресток, распутье <...>; cour 1) двор (дома); la Cour des Miracles Двор чудес (*квартал в средневековом Париже, служивший притоном профессиональных нищих*; 3) палата, суд, трибунал; Haute Cour Верховный суд; arrondissement 2) округ; городской район (в Париже); square [skva:r] сквер; bois 1) лес; дерево; 2) лес, роща; <...> bois de Boulogne Булонский лес (в Париже); jardin 1) сад; Jardin des Plante Ботанический сад (в Париже); allée 2) аллея.

Рассмотрим комментирующие пометы, представленные в словаре К.А. Ганшиной: во-первых, это страноведческие пометы *во Франции, в Париже*; во-вторых, пояснения к тем значениям полисемантов, которые существенно отличаются от соответствующих русских значений: la place de Paris (*торговый, деловой центр Парижа*); в-третьих, сведения энциклопедического характера, которые обычно не актуализируются в толковании слова: Quartier Latin – Латинский квартал (*студенческий, университетский квартал в Париже*); в-четвертых, разъяснения устойчивых выражений, обозначающих городские наименования в современном или средневековом Париже: la Cour des Miracles – Двор чудес (*квартал в средневековом Париже, служивший притоном профессиональных нищих*).

Для количественно небольшой тематической группы словарь дает вполне убедительный (может быть, не всегда последовательный) комментарий, необходимый для изучающих французский язык, историю и культуру Франции.

Отметим, что лексикограф никак не комментирует лексемы, которые, с его точки зрения, обозначают в разных языках сходные по устройству и функционированию городские пространства: *rue* – улица; *ruelle* – проулок, улочка; *impasse* – тупик; *carrefour* – перекрёсток и др. Без необходимого комментария также остаются лексемы, не часто используемые как номинации городских локусов: *parvis* – паперть, *fossé* – ров, котлован, яма и др. *Rond-point* – небольшая площадь – отсутствует в словаре, хотя в качестве городской номинации отмечена на карте Парижа: *Rond-point de la Chapelle*.

Безусловно, хотелось бы видеть в словаре информацию, например, о том, что *parvis* используется как наименование особого городского пространства,

как и *rond-point, impasse, fossé* и др., чтобы у пользователя словаря, несмотря на лакуны, складывался более достоверный образ Парижа.

Сходное положение дел наблюдается и в других двуязычных словарях. Ср.: в Новом большом итальянско-русском словаре [8]:

via улица; дорога, путь; *Via Appia* Аппиева дорога, *via lastricata* мощёная улица, *via alberata* бульвар. Syn: *strada, corso, arteria, viale, viadotto, viottolo, sentiero, vicolo*;

alberata ряд деревьев; аллея, бульвар;

viale проспект, бульвар; авеню;

corso 5) широкая улица, проспект; авеню; как правило, в центре и особо достопримечательная;

viale alberato аллея, бульвар. Syn: *stradone, viale* – эспланада;

via alberata бульвар;

contrada 1) квартал, район города;

piazza площадь. Syn: *agora, campo, esedra, platea, foro, largo, piazzale*;

Piazza san Pietro площадь Святого Петра (в Риме);

mercato, piazza del mercato рыночная площадь;

largo 2) ширина, простор; расширение улицы, небольшая площадь;

campo 5) площадь (в Венеции).

Национально-культурная информация о семантике городских наименований сводится к страноведческим пометам (в Венеции, в Риме); к иллюстративному материалу (*Piazza san Pietro* — площадь Святого Петра, *Via Appia* – Аппиева дорога и др.); к толкованию, приближающему к энциклопедическому (*corso* 5) широкая улица, проспект; авеню; как правило, в центре и особо достопримечательная); к включению в словарную статью синонимических рядов, которые демонстрируют неоднозначное соответствие русских и итальянских городских локусов. Так, с русским словом *площадь*, кроме *piazza*, соотносятся итальянские *agora, campo, esedra, platea, foro, largo, piazzale* и др.

К сожалению, фиксация страноведческой информации в описаниях лексем изучаемой тематической группы является непоследовательной. Так, например, требуется специальный комментарий к слову *contrada* (квартал, район города в Италии). Ср: В Сиене до сих пор сохранилось деление «на так называемые терции <...>. Терции, в свою очередь, делятся на контрады. Всего их в последние три с половиной столетия – семнадцать. У каждой контрады своя штаб-квартира, часовня, музей <...>» [13. С. 343–344].

Для исследования испанско-русских соответствий привлечены разные переводные словари, однако объём и качество страноведческой информации, связанной с городскими наименованиями, оказываются вполне сопоставимыми: комментарии малоинформативны и практически уникальны. Ср.:

paseo 2) бульвар, сквер, аллея; проспект; место для прогулок; 3) место для прогулок: бульвар, аллея, променад <...>;

avenida 3) проспект (с рядами деревьев); бульвар;

alameda 1) тополиная роща, аллея; 2) (любая) аллея; 3) бульвар [9];

rambla 3) аллея, бульвар (в Каталонии);

callejón 1) узкая улочка, переулок; 2) узкий проход (между домами, заборами), проулок; 7) см. *calle*;

bulevar, avenida бульвар.

cobertizo 1) навес; 2) козырёк (у стены);

gonda 4) пространство между крепостной стеной и домами; 5) дорога вдоль крепостной стены (вдоль селения); окружная дорога;

cuesta склон; уклон (улицы; дороги); cuesta abajo вниз (по склону); под уклон; cuesta arriba вверх (по склону); en cuesta наклонный; идущий под уклон [10];

glorieta 1) беседка, ротонда; 2) круглая площадка в парке с ротондой (фонтаном) в центре; 3) городская площадь;

bajada 2) спуск; уклон; hacer una bajada (о дороге) спускаться; идти под уклон [9].

В испанском языке группа городских номинаций является одной из самых многочисленных. Это связано с географическим варьированием испанского языка как внутри страны (Каталония и Андалузия), так и за её пределами (Латинская Америка). Авторы словарей стремятся отразить хотя бы частично географические различия испанского языка: в словник включена латиноамериканская лексика, причем указывается ареал, где соответствующее слово зарегистрировано (*rio* 2) канал (*в Венеции*); *carrera* calle II; *kappera* (городская или сельская улица, идущая с севера на юг, перпендикулярная *calle*) *Latin American* и др. [10]).

Кроме того, нуждаются в специальном комментарии городские номинации в случае, когда различия (в том числе и фонетические) связаны с языковыми особенностями на территории одной страны. Например, в Ла Манче и Андалузии: *avenida* – *bajada*– *calle*– *paseo*; в Каталонии: *avinguda* – *baixada* – *carrer* – *passeig* и др.

• Двухязычные словари: от русского языка к иностранному языку

Теперь обратимся к русско-французскому, русско-итальянскому и русско-испанскому словарям, чтобы сравнить объем лингвострановедческой информации, которой могут располагать читатели, изучающие иностранные языки. Рассмотрим Большой русско-французский словарь [6]:

улица *rue*, узкая улица *rue étroite*, перейти улицу *traverser* (или *passer*) *la rue*;

площадь 1) *place* (*publique*), базарная площадь *place du marché*, *champ de foire*;

набережная *quai*, гранитная набережная *quai* (или *berge*) *en granit*;

переулок *petite rue*; *ruelle* (уличка);

перекрёсток *carrefour*; *croisement* (или *croisée*) *de routes*;

тупик 1) *impasse*; *cul-de-sac* (*culs-de-sac*);

закоулок 1) (переулок) *ruelle*; 2) (уголок) *recoin*;

бульвар *boulevard*, гулять по бульвару *se promener sur un boulevard*;

магистраль 1) *artère*, железнодорожная магистраль *grande ligne*, дорожная магистраль *grande route*, водная магистраль *voie fluviale*;

проспект I (широкая улица) *perspective*, *avenue*;

двор 1) *cour*, задний двор *arrière-cour* (*arrière-cours*), проходной двор *cour de passage*, *cour à deux issues*; <...> монетный двор *Hôtel des Monnaies*; *la Monnaie*.

В большом русско-итальянском словаре обнаружены следующие городские номинации:

улица *via, strada*;

набережная *lungomare* (моря), *lungofiume* (реки), *lungolago* (озера), набережная Москвы-реки *lungomoscova*;

площадь 1) *piazza, piazzale*, базарная площадь (*piazza del*) *mercato*;

бульвар *viale, boulevard*;

переулок *vicolo, stradina*;

проспект *I corso, prospettiva*;

тупик *vicolo cieco, angiporto*;

магистраль 1) *arteria, via*;

двор 1) *cortile* [7].

Этот же лексический репертуар представлен и в русско-испанском словаре:

двор *patio, corral*;

улица 1) *calle*, на улице *en la calle* (вне дома), жить на Пушкинской улице *vivir en la calle (de) Pushkin*; главная улица *calle mayor*;

площадь 1) (в городе) *plaza (pública)*, базарная площадь *plaza del mercado, mercado*; Красная площадь *Plaza Roja*;

набережная *malecón, molo*;

переулок *callejón, calleja, callejuela*;

перекрёсток *cruce de calles (de caminos), encrucijada*;

бульвар *bulevar, avenida*;

тупик 1) *callejón sin salida; impasse; culo de saco* [11].

Создавая двуязычный словарь, авторы обычно ставят перед собой задачу «отразить две культуры, два способа речевого и языкового реагирования, два мировидения в единой неразрывной цепи универсального потока сознания, заглянуть в "семантическое зазеркалье" двух языков» [11].

Ни в коем случае не оспаривая актуальность постановки такой задачи и эффективность её реализации, – мы не анализировали тексты словарей в целом – отметим, что национально-культурный компонент в семантике городских наименований, как и сами культурные реалии города, не попали в поле зрения лексикографов (исключением является упоминание в русско-испанском словаре о Красной площади и Пушкинской улице).

Если предположить, что этими двуязычными словарями пользуется русский, изучающий французский, итальянский или испанский язык, то тогда практически полностью отсутствующая страноведческая информация о российском городском пространстве, казалось бы, и не нужна. Однако была бы точно небесполезной информация о соотношении русских и французских городских номинаций: *площадь* – это не только *place*, но и *esplanade, parvis, rond-point, petite place* → *placette*. А русским *заулкам, проулкам, закоулкам* вообще трудно подобрать эквиваленты в других европейских языках.

Если же рассматривать эти словари как учебные справочные издания для иностранцев, изучающих русский язык, то полное отсутствие страноведческого комментария делает российский город совершенно безликим.

Таким образом, двуязычные словари, особенно словари «русский язык → иностранный язык», не учитывают в должной мере национально-культурную

специфику лексических единиц, оставляя за кадром информацию, необходимую для изучения другого языка, другой культуры, другого менталитета.

Литература

1. Ярцева В.Н. Контрастивная грамматика. М.: Наука, 1981, 112 с.
2. Бикбов А. Москва / Париж: пространственные структуры и телесные схемы // Логос: Журнал по философии и прагматике культуры. 2002. № 3–4 (34). С. 145–168.
3. Французско-русский словарь активного типа / под ред. В.Г. Гака, Ж. Триомфа. 3-е изд. М.: Рус. яз., 2000.
4. Сальмон Л. Наименее советский город России: хронотоп довластовских рассказов // «Звезда». 2000. № 8. URL: <http://magazines.russ.ru/zvezda/2000/8/laura.htm>
5. Французско-русский словарь / сост. К.А. Ганшина. М.: Рус. яз., 1971.
6. Большой русско-французский словарь. М.: Рус. яз.-Медиа, 2004, Л.В. Щерба, М.И. Матушевич, Т.П. Воронцова и др. 200 тыс. слов и словосочетаний. URL: ABBYY Lingvo. Электронный словарь. Вып.: 14.0.0.390. 2008 ABBYY.
7. Новый большой русско-итальянский словарь. М.: Рус. яз.-Медиа, 2006. А.Б. Канестри 220 тыс. слов. URL: ABBYY Lingvo. Электронный словарь. Вып.: 14.0.0.390. 2008 ABBYY.
8. Зорько Г.Ф., Майзель Б.Н., Скворцова Н.А. Большой итальянско-русский словарь. 6-е изд. М.: Рус. яз., 2002.
9. Садилов А.В., Нарумов Б.П. Испанско-русский словарь современного употребления. 2-е изд., испр. М.: Рус. яз., 1998.
10. Latin American (Es-Ru). Испанско-русский словарь. Латинская Америка. Н.М. Фирсова (50 тыс. слов и словосочетаний). М.: Рус. яз.-Медиа, 2004. URL: ABBYY Lingvo. Электронный словарь. Вып.: 14.0.0.390. 2008 ABBYY.
11. Большой русско-испанский словарь. М.: Рус. яз.-Медиа, 2004. Г.Я. Туровер, Х. Ногейра; под ред. Г.Я. Туровера. 200 тыс. слов, словосочетаний и выражений. Режим доступа: ABBYY Lingvo. Электронный словарь. Вып.: 14.0.0.390. 2008 ABBYY.
12. Большой испанско-русский словарь. М.: Рус. яз.-Медиа, 2005. Б.П. Нарумов, Н.В. Загорская, Н.Н. Курчаткина и др.; под ред. Б.П. Нарумова. URL: ABBYY Lingvo. Электронный словарь. Вып.: 14.0.0.390. 2008 ABBYY.
13. Вайль П. Слово в пути. М.: CORPUS, 2011. 400 с.

Tomsk State University Journal of Philology, 2014, 6 (32), pp. 51-59. DOI 10.17223/19986645/32/4
Tripolskaya Tatiana A., Bulygina Yelena Yu., Novosibirsk State Pedagogical University (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: tr_tatiana@mail.ru / bulyginalena2010@mail.ru

WAYS OF LEXICOGRAPHIC REGISTRATION OF PRAGMATIC INFORMATION IN BILINGUAL DICTIONARIES.

Keywords: bilingual lexicography, national cultural component, names of city spaces, language picture of the world.

The theoretical basis of bilingual lexicography is connected with linguo-cultural studies and comparative linguistics. As V.N. Yartseva remarked, "bilingual dictionaries always contain an embryonic stage of contrastive comparison of lexical units" [1. P. 30], therefore a bilingual dictionary is always a starting point in intercultural dialogues. Thus a special issue for lexicography are meanings containing nation-specific, cultural, gender, social, ideological, emotive and evaluative components. This lexicographic issue is caused by insufficient theoretical elaboration of the content and structure of the pragmatic macro-component of word semantics.

The authors study the names of urban spaces containing some nation-specific cultural components mostly ignored by bilingual dictionaries. The research includes several Russian urban terms compared to three Romance languages – French, Italian and Spanish: *улица* (*ulitsa*, 'street'), *площадь* (*ploshchad*, 'square'), *набережная* (*naberezhnaya*, 'embankment'), *перулок* (*pereulok*, 'lane'), *бульвар* (*bul'var*, 'boulevard'); *via*, *piazza*, *lungomare*, *vicolo*, *viale*, *alberato*; *ville*, *rue*, *place*, *quai*, *ruelle*, *impasse*, *boulevard*; *calle*, *plaza*, *ribera*, *callejón*, *rambla*, *avenida*, *paseo*.

issues may arise for any person exploring a new city space and its language, any reader of translated literature, any user of bilingual dictionaries, anyone who tries to see a strange city through one's own language and mental stereotypes.

For a person who explores a new semiotic space lexical units are characterized by semantic lacunae not registered in bilingual and, occasionally, in explanatory dictionaries. The reconstruction of a strange city space by means of urban nominations appears rather approximate. Through the language grid of parkways, areas, quays we tend to see not the true picture of an unfamiliar place, but rather a city similar to ours.

The nation-specific cultural information connected with toponyms is more sufficiently presented in K.A. Ganshina's French-Russian dictionary (1971). It contains comments on regional use: *in France*, *in Paris*, encyclopaedic data, explanations or set expressions designating urban objects in modern or medieval Paris. The dictionary gives quite convincing comments on the quantitatively small lexical set. Though not always consecutive, K.A. Ganshina's information is necessary for studying the French language, history and culture of France. Much less information of the kind can be found in Italian-Russian and in Spanish-Russian dictionaries.

Bilingual dictionaries of the Russian → foreign language type almost entirely ignore national and cultural specificity of urban nominations, leaving out the information necessary for people to master other languages, other cultures, other mentalities.

References

1. Yartseva V.N. *Kontrastivnaya grammatika* [Contrastive grammar]. Moscow: Nauka Publ., 1981. 112 p.
2. Bikbov A. Moskva / Parizh: prostranstvennye struktury i telesnye skhemy [Moscow / Paris: spatial patterns and body schemes]. *Logos*, 2002, no. 3-4 (34), pp. 145-168.
3. Gak V.G., Triomphe J. (eds.) *Frantsuzsko-russkiy slovar' aktivnogo tipa* [The French-Russian Dictionary of Active Type]. 3rd edition. Moscow: Russkiy yazyk Publ., 2000. 455 p.
4. Salmon L. Naimenее sovetskiiy gorod Rossii: khronotop dovlatovskikh rasskazov [The least Soviet city of Russia: the chronotope of Dvlatov's stories]. *Zvezda*, 2000, no. 8. Available at: <http://magazines.russ.ru/zvezda/2000/8/laura.htm>.
5. Ganshina K.A. *Frantsuzsko-russkiy slovar'* [French-Russian Dictionary]. Moscow: Russkiy yazyk Publ., 1971. 856 p.
6. Shcherba L.V., Matusevich M.I., Vorontsova T.P. et al. *Bol'shoy russko-frantsuzskiy slovar'* [The Russian-French dictionary]. Russkiy yazyk-Media, 2004. Available at: ABBYY Lingvo. Electronic dictionary. Issue: 14.0.0.390. 2008 ABBYY.
7. Kanestri A.B. *Novyy bol'shoy russko-ital'yanskiy slovar'* [The New Comprehensive Russian-Italian Dictionary]. Russkiy yazyk-Media, 2006. Available at: ABBYY Lingvo. Electronic dictionary. Issue: 14.0.0.390. 2008 ABBYY.
8. Zor'ko G.F., Mayzel' B.N., Skvortsova N.A. *Bol'shoy ital'yansko-russkiy slovar'* [Large Italian-Russian Dictionary]. 6th edition. Moscow: Russkiy yazyk Publ., 2002. 558 p.
9. Sadikov A.V., Narumov B.P. *Ispansko-russkiy slovar' sovremennogo upotrebleniya* [Spanish-Russian Dictionary of Modern Usage]. 2nd edition. Moscow: Russkiy yazyk Publ., 1998. 751 p.
10. Firsova N.M. *Latin American (Es-Ru). Ispansko-russkiy slovar'. Latinskaya Amerika* [Latin American (Es-Ru). Spanish-Russian dictionary. Latin America]. Russkiy yazyk-Media, 2004. Available at: ABBYY Lingvo. Electronic dictionary. Issue: 14.0.0.390. 2008 ABBYY.
11. Turover G.Ya. (ed.) *Bol'shoy russko-ispanskiy slovar'* [Large Russian-Spanish Dictionary]. Russkiy yazyk-Media, 2004. Available at: ABBYY Lingvo. Electronic dictionary. Issue: 14.0.0.390. 2008 ABBYY.
12. Narumov B.P. (ed.) *Bol'shoy ispansko-russkiy slovar'* [Large Spanish-Russian Dictionary]. Russkiy yazyk-Media, 2005. Available at: ABBYY Lingvo. Electronic dictionary. Issue: 14.0.0.390. 2008 ABBYY.
13. Weil P. *Slovo v puti* [Word on the way]. Moscow: CORPUS Publ., 2011. 400 p.

УДК 811.112.28(81'0)
DOI 10.17223/19986645/32/5

К.А. Шишигин

ПОЛИСИТУАТИВНАЯ СЕМАНТИКА ПРЕФИКСАЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ ЯЗЫКА ИДИШ (НА ПРИМЕРЕ ГЛАГОЛА *GEYN* С НЕКОТОРЫМИ ПРЕФИКСАМИ)

В статье показывается полиситуативность семантики префиксальных глаголов идиша на уровнях: а) ситуации как предикативного денотата, отражаемого языком не всегда логично; б) концепта ситуации как абстрагированного симметрично-асимметричного способа языковой репрезентации ситуации; в) ситуатемы как семантической единицы, показывающей, что при взаимодействии производящей основы и префикса возникает глубинный смысл, включающий несколько микроситуаций, связанных различными таксисными отношениями.

Ключевые слова: идиш, семантика, префиксальный глагол, полиситуативность, ситуация, концепт ситуации, ситуатема.

Цель настоящей статьи – на материале языка идиш показать полиситуативную структуру семантики префиксальных глаголов. Под полиситуативностью при этом понимается «...семантико-функциональная, когнитивно-коммуникативная категория, обладающая специфическим планом содержания и имеющая разные способы выражения, которые в своей совокупности также достаточно специфичны» и выступающая как «...атрибут структуры предикативного денотата» [1. С. 35, 42].

Новизна исследования заключается: а) в развитии предложенной Н.Б. Лебедевой на материале русского глагола теории полиситуативности; б) в ее применении к префиксальным глаголам языка идиш, что делается впервые; в) включении идишистики, которая до сих пор достаточно замкнута в себе, в парадигму современных лингвистических исследований.

Исходя из того, что «полиситуативность проявляется в текстовых, синтаксических и лексических – в основном глагольных – структурах, а также путем комбинирования этих средств» и что «лексические единицы могут выражать этот признак лексико-семантическим, словообразовательным и грамматическим способами» [1. С. 41], в данной статье мы предлагаем расширенное толкование полиситуативности, обусловленное проведенным анализом фактического материала (префиксальных глаголов языка идиш – с точки зрения когнитивной семантики), который представлен в ряде других наших работ (см. [2, 3, 4, 5, 6, 7]).

Так, полиситуативность, выражаемую идишскими префиксальными глаголами, следует, как представляется, рассматривать в двух планах:

1) в **синхроническом плане** префиксальные глаголы анализируются с точки зрения корреляции трех уровней: денотативно-логического, когнитивно-макросемантического и когнитивно-микросемантического, где полиситуативность также выражается преимущественно префиксально; при этом, учитывая особенность генезиса идиша, которая заключается в его происхожде-

нии из средневерхненемецкого и присутствии существенного семитского и (что для идишских глаголов более важно) славянского адстрата, необходимо принимать во внимание также **диахронию**, а именно происхождение префикса и, прежде всего, его семантики, которая в идише следует немецкому или славянскому образцу;

2) в **контрастивном плане** следует констатировать, что:

а) полиситуативность в идише представляет собой семантико-функциональную, когнитивно-коммуникативную категорию, широко используемым способом выражения которой является синтетическое слово- и формообразование, в то время как немецкий глагол не обладает такой разветвленной, как в идише, синтетической системой выражения категории полиситуативности;

б) семантика идишского префиксального глагола значительно более «полиситуативна», чем у префиксальных глаголов немецкого языка-основы;

в) в сравнении со славянскими языками полиситуативность идишских префиксальных глаголов «ущербна» в том плане, что способность выражать оппозицию «несовершенный вид : совершенный вид» идиш заимствовал лишь частично.

В настоящей статье полиситуативность семантики идишских префиксальных глаголов анализируется в синхроническом плане с учетом вышеуказанных диахронических факторов (контрастивный план должен стать предметом отдельной статьи). Противоречия, принимая во внимание точку зрения С.Д. Кацнельсона, в том, что в синхронном исследовании учитывается диахрония, нет, поскольку «...синхрония органически связана с диахронией. Синхронная система языка пронизана генетико-деривационными связями, которые определяют не только взаимоотношения между элементами системы, но и способ их употребления в процессах речевой деятельности» [8. С. 290].

На денотативно-логическом уровне префиксальные глаголы рассматриваются нами как описывающие определенную ситуацию, которая представляет собой предикативный денотат (ср. [1. С. 31]). При этом ситуация отражается человеком по-разному. Так, например, иудаизм следующим образом трактует ситуацию «Происхождение человека»:

(1) un' am sekstèn tog igt der mensch bèschàfèn, dàs sein nèšome hòt on sich fìnf nemèn: si' haist (nèfeš, ruàh, nèšome, hàje, jèhìde) [9. С. 23] (транскрипция в соответствии с источником примера). 'В шестой день был сотворен человек, чья душа имеет пять имен по пяти составляющим: *«нефеш, руах, нешама, хая, йехида»*' (перевод цит. по [10. С. 29]).

Научно-материалистическая картина мира, однако, интерпретирует эту ситуацию совершенно иначе. У языка же, в свою очередь, свое «видение» денотатов реальной – так называемой объективной – действительности, в том числе не всегда логичное.

В связи с этим при анализе глагольно-префиксальной семантики целесообразно базироваться на следующих понятиях:

а) на денотативно-логическом уровне: **ситуация** – предикативный денотат, представляющий собой логически объяснимый отрезок экстралингвистической реальности, о котором сообщается конкретным глаголом и/или в конкретном высказывании;

б) на когнитивно-семантическом макроуровне: **концепт ситуации** – обобщенно-абстрагированный, наивно-языковой способ репрезентации ситуации;

в) на когнитивно-семантическом микроуровне: **ситуатема** – единица «...плана содержания, отражающая динамическую полиситуативную денотативную структуру открытого, нелимитируемого типа...» [1. С. 30], являющаяся при этом единицей конкретной и основной при исследовании глагольной семантики.

Данные положения будут рассмотрены на примере идишского глагола *geyn*¹ 'идти/ходить' с некоторыми префиксами, который можно считать репрезентантом ситуатем глаголов соответствующих когнитивно-семантических и тематических классов с каждым из сочетающихся с ними префиксов.

Под **репрезентантом ситуатемы** мы понимаем (префиксальный) глагол, когнитивно-семантические характеристики которого в наиболее обобщенном или конвенциональном виде отражают характеристики других глаголов того же когнитивно-семантического и тематического класса, причем остальные префиксальные глаголы отличаются от репрезентанта ситуатемы лишь какими-то частными (как правило, обстоятельственными) семами. Так, производящий глагол-репрезентант ситуатемы *geyn* 'идти/ходить' означает «двигаться, перемещаться, переступая ногами» с обстоятельственной дифференциальной семой <переступая ногами> (своего рода наиболее конвенциональный способ передвижения), а другие глаголы со значением «двигаться, перемещаться» отличаются от него только обстоятельственными дифференциальными семами: *loyn* 'бежать/бегать' (дополнительная сема <быстро>), *forn* 'ехать/ездить' (дифференциальная сема <при помощи механических средств передвижения>) и т.д. Таким образом, на примере репрезентанта ситуатемы возможно описание характеристик глаголов каждого из когнитивно-семантических классов.

Префиксальные глаголы анализируются далее с точки зрения следующих четырех позиций: а) ситуация; б) концепт ситуации; в) ситуатема; г) корреляция ситуации, концепта ситуации и ситуатемы.

Для анализа были взяты, таким образом, префиксальные глаголы с конкретно-пространственным значением *avekgeyn*, *untergeyn* [*zikh*] и *ongeyn* [*zikh*].

1. *avekgeyn* 'уходить/уйти'

Прежде всего, мы исходим из того, что префикс обладает значением (ср. [12. С. 34]), которое – применительно к идишу – предопределено его средневерхненемецким происхождением (подробнее см. [4]) и/или славянским адстратным влиянием. Так, идишский префикс *avek-* является видоизменившейся формой средневерхненемецкого предложного сочетания *in wes* 'в путь', превратившегося в тот же средневерхненемецкий период в наречный, или отделяемый префикс *enwes-* (нем. *weg-*) 'далеко/вдаль'. Подобное произошло и с древнеанглийским предложным сочетанием *on weg* 'в путь', развившимся в современном английском в наречие и глагольную частицу *away*

¹ Здесь и далее транскрипция в соответствии с системой ИВО (см. [11]).

'далеко/вдаль' (см. [13. С. 918]), что свидетельствует о тесной генетической связи и аналогичных и параллельных процессах в германских языках.

А. Ситуация (без учета контекста, в котором может употребляться данный префиксальный глагол в конкретно-пространственном значении) состоит в «самостоятельном/ квазисамостоятельном удалении субъекта/объекта в направлении от пространственного ориентира, или наблюдателя» и может быть представлена в виде схемы (рис. 1).



Рис. 1. Ситуация «(Квази)самостоятельное удаление субъекта/объекта»

В данной схеме: точка слева обозначает местонахождение наблюдателя, относительно которого происходит удаление одушевленного субъекта или неодушевленного объекта; стрелка с треугольным концом – ось удаления (см. также ниже пункт б).

Здесь необходимо отметить, что диахрония при исследовании идишских глаголов, особенно с отделяемыми префиксами, важна, прежде всего, потому, что отделяемые префиксы сохранили свою наречную природу. Так, исходя из диахронических данных, можно констатировать, что префикс *avek-*, имея в своем значении сему <в путь>, в глаголе *avekgeyn* указывает на то, что движение совершается, так сказать, «в (неопределенно) далекий путь». Таким образом, периферийная сема <далеко> передвигается в семантический центр префиксального глагола.

Б. Концепт ситуации. Способность человека познавать мир закономерно привела к выработке определенных способов описания этого мира с помощью языковых символов, более или менее логичных или, напротив, нелогичных, и к выстраиванию тем самым, по определению М. Хайдеггера, «конструктов опредмечивающего представления», в результате чего «мир стал картиной» [14], или «картиной мира», представляющей собой «изображение мира», «обозначение сущего в целом», «как бы полотно сущего в целом», но «картина мира обозначает... не посильную копию, а то... [как] само дело предстало перед нами... как оно для нас обстоит» [14].

Ключевой у М. Хайдеггера здесь, как представляется, является фраза «не посильная копия, а то, как дело для нас обстоит», ведь мир осмысливается и описывается человеческим языком не только конкретно и достаточно логично, но и абстрактно, метафорически. При этом даже научно-физические картины мира, разнотолкующие, например, сущности физического тела, покоятся «на другом истолковании сущего» и обуславливают «соответственно другой способ видения и изучения природных процессов» [14], не говоря уже о картине мира языковой и разноразличных картинах мира. Так, язык и тем более разные языки по-разному описывают определенные фрагменты внеязыковой действительности с точки зрения соответствия или несоответствия этих

фрагментов реальным «обстоятельствам дела», или – точнее – логическому объяснению ситуации.

В связи с этим мы в одной из статей (см. [5]) говорили об эквивалентности и неэквивалентности ситуации и концепта ситуации. Теперь, однако, более приемлемыми представляются термины «симметрия» и «асимметрия», которые с дословным принятием наших определений употребляются в диссертационной работе, выполненной под нашим руководством (см. [15. С. 54–55]). Таким образом, мы предлагаем различать:

- **симметричные концепты ситуаций**, где внутренняя форма префиксального глагола логична, т.е. легко поддается логичному толкованию; и здесь можно условно говорить о «совпадении» ситуации и концепта ситуации;

- **асимметричные концепты ситуаций**, где внутренняя форма префиксального глагола нелогична и его интерпретация возможна только с определенной (иногда значительной) долей глубинной абстракции.

Что касается префиксального глагола *avekgeyn*, то в своем конкретно-пространственном значении он концептуализует ситуацию симметрично, и поэтому схема концепта ситуации здесь будет та же, что и схема ситуации (см. рис. 1).

В. Ситуатема, так же как и концепт ситуации, «...в некотором смысле лежит в том же – ментальном пространстве, но она относится не собственно к сфере знания, а к области языка» [1. С. 52]. Глагольная лексема способна выражать несколько микроситуаций, которые включаются в ситуатему и каждая из которых может иметь разный ранг, обусловленный лексическими и морфосинтаксическими критериями (ср. [16. С. 58–59, 97]):

- **ядро, или фокус внимания** – основная микроситуация, выраженная самой глагольной лексемой, производящей основой или префиксом (в схеме ситуатемы изображается полужирным прописным шрифтом в выделенном прямоугольнике);

- **периферия** – микроситуации, выраженные факультативными синтаксически зависимыми от префиксального глагола членами предложения (в схеме ситуатемы изображается в квадратных скобках);

- **за кадром** – микроситуация, которая синтаксически невыразима при данном глаголе, т.е. находится за пределами периферии и имплицитна, но реконструируется при глубинном анализе (в схеме ситуатемы изображается в круглых скобках).

Отличие ядерной микроситуации от периферийной и закадровой состоит в том, что она обозначает лексикализованную ситуацию (Л-ситуацию), которая входит в значение глагольной лексемы. «Таким образом, лексическое значение... соотносится только с Л-ситуацией, а ситуатему конституируют... еще и имплицитивно связанные с ней смежные... конситуации...» [1. С. 55], т.е. микроситуации, находящиеся на периферии и за кадром данной лексикализованной ситуации.

Ситуатем глагола *avekgeyn* в его конкретно-пространственном значении может быть как минимум три, так как они с обязательностью включают целевой, причинный либо пространственный компонент, т.е. субъект или объект

покидает определенную пространственную точку с какой-либо целью, по какой-либо причине или переходя в другую пространственную точку.

1.1. Целевая ситуатема

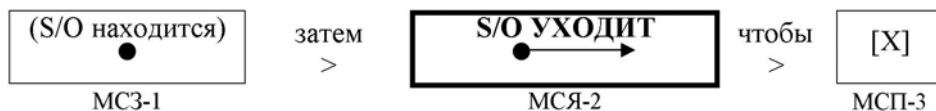


Рис. 2. Целевая ситуатема глагола *avekgeyn*

В данной ситуатеме (рис. 1) прямоугольник обозначает микроситуацию; S/O – «субъект или объект»; жирные точки – первоначальное местонахождение субъекта/объекта; стрелка с треугольным концом – ось удаления субъекта/объекта; MCЗ – «микроситуация за кадром»; МСЯ – «ядерная микроситуация»; МСП – «периферийная микроситуация»; цифровой индекс и треугольные стрелки – порядок следования микроситуаций; X – цель удаления субъекта/объекта.

Префиксальный глагол *avekgeyn* являет собой, тем самым, триситуативный комплекс, к обозначению которого приспособлена сама глагольная лексема, и прежде всего благодаря префиксу *avek-*.

Кроме того, по таксисным отношениям ситуатемы могут быть разделены:

- на **проспективные**, которые содержат «целевой компонент» [1. С. 88], т.е. ядерная микроситуация ориентирована на хронологически или каузально следующую за ней периферийную или закадровую микроситуацию;
- **ретроспективные**, которые «...содержат более или менее яркие причинный или условный компоненты» [1. С. 89], т.е. ядерная микроситуация обусловлена каузально или хронологически предшествующей ей периферийной или закадровой микроситуацией;
- **интроспективные**, в которых ядерная микроситуация ориентирована на своего субъекта или сама на себя;
- **синхронные**, или **параллельные**, в которых все микроситуации имеют место одновременно;
- **мультиплексные**, в которых микроситуации связаны множественными таксисными отношениями.

Приведенная выше целевая ситуатема является, таким образом, проспективной, так как действие, обозначаемое префиксальным глаголом *avekgeyn*, факультативно имеет периферийный целевой компонент.

1.2. Причинная ситуатема

Причинную ситуатему проанализируем на примере высказывания:

(2) *es shteyen nokh tsvey yidn un vartn ikh* (Obs) *zol zey shoyn ongishn. eyner zupt op a halbe gloz, der anderer a dritl. zey* (Ag=Vic) *batsoln, shpayen oys un geyen avek* [17. С. 53]. 'Стоят еще два еврея и ждут, пока я им налью. Один отхлебывает полстакана, другой треть. Оплачивают, выплевывают и уходят' (здесь и далее перевод примеров наш и приближен к буквальному).

Ситуация, описываемая глаголом *avekgeyn* в представленном высказывании, состоит в том, что участники, на которых указывает личное местоимение *zey* 'они' оказываются в ущербном положении (поэтому местоимению *zey* приписывается роль виктима Vic), выпив испорченного квасу, и по этой причине удаляются (*zey* синкретично приписывается роль агенса Ag) от пространственной точки, в которой находится наблюдатель Obs, индексируемый личным местоимением *ikh* 'я'.

Применительно к данной конкретной ситуации ситуатема может быть представлена в виде следующей схемы (рис. 3).

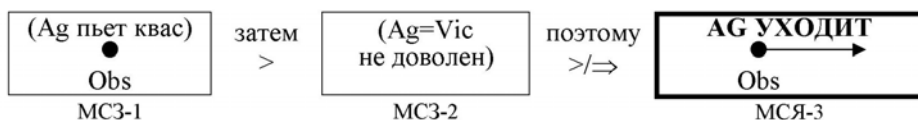


Рис. 3. Причинная ситуатема глагола *avekgeyn*

В данной схеме: Ag обозначает «агенса»; Obs – «наблюдатель»; точка – местонахождение наблюдателя; Vic – виктим и причина удаления агенса; $\Rightarrow$ – «следовательно» (см. также пояснения к рис. 2).

Представленная ситуатема является ретроспективной, так как участники удаляются по причине закадровой (не выразимой самой глагольной лексемой) микроситуации 2, которая предшествует ядерной микроситуации 3. Данный триситуативный комплекс может быть, однако, представлен и как квадраситуативный, так как между MC3-1 и MC3-2 можно представить еще одну – имплицитную или дальнюю закадровую – микроситуацию «квас невкусный», что еще раз подтверждает, что ситуатема представляет собой структуру открытого, нелимитируемого типа.

1.3. Локальная ситуатема

Локальную ситуатему также проиллюстрируем на примере высказывания:

(3) *dray mol iz et (Ag) avekgegangen tsurik (Loc)*... [17. С. 14]. 'Три раза он уходил назад...!'



Рис. 4. Локальная ситуатема глагола *avekgeyn*

В данной схеме (рис. 4) Loc обозначает «место» (см. также пояснения к рис. 2 и 3).

Ситуатема префиксального глагола *avekgeyn* представляет собой проспективный триситуативный комплекс: агенс-пациенс первоначально находится в одной точке (закадровая микроситуация 1), откуда затем уходит

(ядерная микроситуация 2) в место, на которое указывает наречие *tsurik* 'назад', где, видимо, на какое-то время остается (периферийная микроситуация 3).

Г. Корреляции ситуации, концепта ситуации и ситуатемы наглядно представлены в табл. 1.

Таблица 1. *avekgeyn*: корреляция ситуации, концепта ситуации и ситуатемы

Пример	Ситуация	Концепт ситуации	Ситуатема
Репрезентант ситуатемы			<i>Проспективный триситуативный комплекс:</i> (Квази)самостоятельное удаление субъекта/объекта из места своего первоначального нахождения с какой-либо целью
(2)	(Квази) самостоятельное удаление субъекта/объекта от наблюдателя	<i>Симметричный:</i> Самостоятельное удаление субъекта/объекта от наблюдателя	<i>Ретроспективный триситуативный комплекс:</i> Самостоятельное удаление агенса из места своего первоначального нахождения по причине недовольства
(3)			<i>Проспективный триситуативный комплекс:</i> Самостоятельное удаление агенса из места своего первоначального нахождения назад

Концепт ситуации на когнитивно-семантическом макроуровне и ситуатема на когнитивно-семантическом микроуровне являются глубинными уточнителями значения префиксального глагола, описывающего денотативно-логическую ситуацию, которая напрямую соотносится лишь с ядерной микроситуацией:

а) общим для всех уровней и всех примеров использования префиксального глагола *avekgeyn* является «удаление субъекта/объекта»;

б) на уровне ситуации и ситуатемы репрезентанта релевантным может быть различие удаления:

– одушевленного субъекта (самостоятельное удаление):

(4) *der mentsh geyt avek* 'Человек уходит' и

– неодушевленного объекта (квазисамостоятельное удаление):

(5) *di ban geyt avek* 'Поезд уходит';

в) на уровне концепта ситуации квазисамостоятельность удаления нерелевантна, поскольку удаление объекта (машин и т.п.) концептуализуется как самостоятельное;

г) на уровне ситуатемы проявляются два дополнительных компонента: «субъект/объект находится где-то, прежде чем удалиться» (закадровая микроситуация) и «субъект/объект удаляется с какой-то целью, по какой-то причине или в какое-либо место» (периферийная или закадровая микроситуация); при этом если целевые и локальные ситуатемы проспективные, то причинные ситуатемы ретроспективные.

Учитывая, что префиксальный глагол *avekgeyn* является репрезентантом ситуатемы, необходимо отметить, что аналогичные ситуатемы, а также ана-

логичные корреляции ситуации, концепта ситуации и ситуатемы имеют и другие глаголы когнитивно-семантического класса «Самостоятельное/квазисамостоятельное удаление субъекта/объекта от наблюдателя» с префиксом *avek-*: *avekloyfn* 'убегать/убежать', *avekfor* 'уезжать/уехать', *avekhopken* 'ускак(ив)ать', *avekkrikhn* 'уползать/уползти' и т.д.

2. *untergeyn [zikh]* 'прохаживаться/пройтись'

Факультативно рефлексивный префиксальный глагол *untergeyn [zikh]* можно рассматривать в качестве репрезентанта ситуатемы глаголов когнитивно-семантического класса «Неинтенсивное движение-занятие субъекта/квазисамостоятельное неинтенсивное движение объекта», к которому также относятся *unterfor* 'поездить/проехаться', *unterloyfn* 'побегать/пробежаться', *unterhoyden zikh* 'покач(ив)аться', *unterkayklen zikh* 'покат(ив)аться' и т.д.

А. Ситуация, описываемая данным глаголом в конкретном значении состоит в том, что субъект совершает ненапряженное или непродолжительное по расстоянию или времени движение (похаживает/прохаживается), что в графическом виде однозначно изобразить не представляется возможным.

Б. Концепт данной ситуации можно, однако, представить в виде схемы (рис. 5):

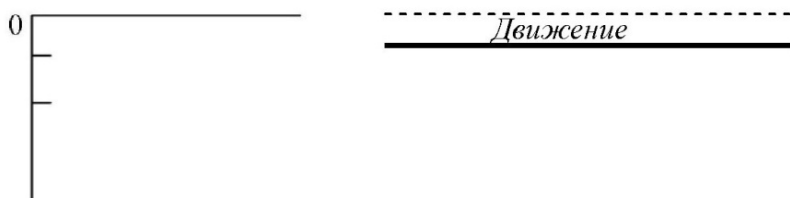


Рис. 5. Асимметричный концепт ситуации «Неинтенсивное движение-занятие субъекта»

В данной схеме шкала слева условно обозначает степень интенсивности движения, где ноль – это «обычная» полнота движения, называемого производящим глаголом; пунктирная линия справа – движение, называемое производящим глаголом; жирная линия справа – движение, обозначаемое префиксальным глаголом.

Концепт в данном случае асимметричен ситуации в силу значения сохранившего свою наречность отделяемого префикса *unter-* 'под' (*untergeyn [zikh]* буквально означает «*подъидти[сь]»): будучи действием менее интенсивным, чем то, которое обозначается производящим глаголом *geyn* 'идти/ходить', оно концептуализуется префиксальным глаголом *untergeyn [zikh]* и, прежде всего, префиксом *unter-* как «движение, осуществляемое ниже обычного уровня», что не соответствует логической интерпретации ситуации.

Необходимо также отметить адстратное влияние и интралингвистические законы идиша, наблюдаемые на примере данного префиксального глагола (подробнее см. [6]):

– идишский префикс *unter-* на базе адстрата заимствовал многие значения славянского префикса *pod-/nið-/nad-/nod-*, в том числе придаваемое некото-

рому числу глаголов прямого эффекта значение «немного», ср. укр. *nidpasati/nidpasti* «пасти, попасти немного (некоторое время)» [18. С. 540], рус. *подправить* «немного исправить, поправить» [19. С. 467]; «в результате под влиянием славянских языков концепт ситуации "низ" приобрел более широкую, чем в немецком языке-основе, интерпретацию... Таким образом, в языке идиш превалируют глаголы с префиксом *unter-* славянской этимологии, которые всегда концептуализуют ситуацию асимметрично...» [15. С. 124–125];

– идиш распространил, далее, значение префикса *unter-* «немного, непродолжительное время» и на глаголы состояния (*unternudyen [zikh]* '(по)скупать немного'), и на глаголы движения, как в случае с анализируемой лексемой; и в этом проявляется основная интралингвистическая тенденция идиша, касающаяся славянского адстрата в глагольной сфере.

В. Ситуатема префиксального глагола *untergeyn [zikh]* может быть представлена в виде схемы (рис. 6).

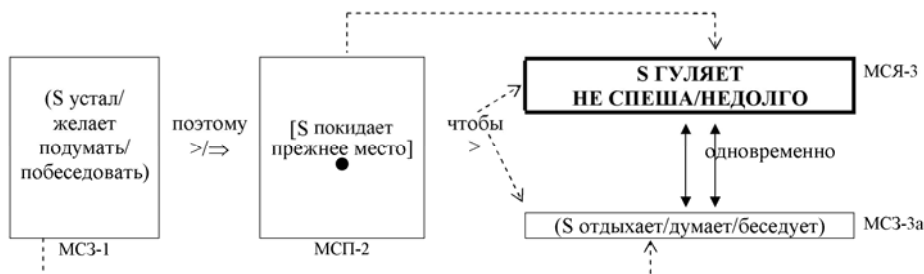


Рис. 6. Ситуатема глагола *untergeyn [zikh]*

Мультиплексная ситуатема глагола *untergeyn [zikh]* – это как минимум квадроситуативный комплекс (символы см. также в пояснениях к рис. 2 и 4), где:

– субъект совершает неспешную или небольшую (индицируется префиксом *unter-*) пешую (называется посредством производящего глагола) прогулку – это каузально-хронологически третья ядерная микроситуация МСЯ-3, которая, в свою очередь, является целью каузально-хронологически предшествующей периферийной микроситуации МСП-2 покидания субъектом прежнего места; здесь ядерная микроситуация является ретроспективной (показано на схеме верхней пунктирной прямой стрелкой и стрелкой-скобкой);

– одновременно, во время прогулки, субъект отдыхает/думает/беседует и т.п., и эта закадровая микроситуация МС3-3а, с одной стороны, синхронна с ядерной (две вертикальные двухконечные стрелки), а с другой – является целью и следствием периферийной микроситуации МСП-2 и каузально-хронологически первичной закадровой микроситуации МС3-1 (нижняя пунктирная прямая стрелка и нижняя пунктирная стрелка-скобка соответственно); тем самым мы здесь имеем дело с синхронностью и ретроспективностью;

– если исходить из производящего глагола *geyn* 'идти/уходить', то периферийная микроситуация МСП-2 является следствием и перспекцией каузально-хронологически первичной закадровой микроситуации МС3-1;

– все периферийные и закадровые микроситуации, равно как и сама ядерная, прямо или косвенно ориентированы на ядерную, и поэтому здесь можно говорить об интроспекции, что подчеркивает и славянский адстратный (хотя и факультативный) рефлексив *zikh* 'себя/себе/-ся', придающий данному префиксальному глаголу нехарактерное для немецкого языка-основы косвенно-возвратное значение, когда «...субъект совершает действие для себя самого, но ни в самом глаголе, ни в его синтаксических связях это значение специально не выражается» [20. С. 618], т.е. «субъект совершает прогулку для себя».

Семантика и, в частности, ситуатема префиксального глагола *untergeyn* [*zikh*] осложнены еще и тем, что одно из славянских адстратных значений префикса *unter-* – «синхронное, или сопровождающее действие» (ср. [15. С. 90–93]) (ср. *unterzingen* 'подпевать', *unterzogn* 'подсказывать' и рус. *подпевать*, *подсказывать*). В этой связи *untergeyn* [*zikh*] можно было бы толковать и как «совершать прогулку, которая сопровождает отдых/размышления/беседу», и в таком случае ядерной микроситуацией становится «как бы» то, что «субъект отдыхает/думает/беседует». Однако производящий глагол *geyn* описывает все же ситуацию «Прогулка», которую и следует считать ядерной – лексикализованной производящей основой – микроситуацией ситуатемы префиксального глагола *untergeyn* [*zikh*].

Г. Корреляция ситуации, концепта ситуации и ситуатемы наглядно представлена в табл. 2.

Таблица 2. *untergeyn* [*zikh*]: корреляция ситуации, концепта ситуации и ситуатемы

Ситуация	Концепт ситуации	Ситуатема
Неинтенсивное движение-заниятие субъекта	Асимметричный: Движение, осуществляемое ниже обычного уровня	Мультиплексный квадраситуативный комплекс: Покидание субъектом прежнего места по причине усталости/желания подумать/побеседовать с целью неспешной/непродолжительной прогулки и одновременного отдыха/размышлений/беседы

Концепт ситуации на когнитивно-семантическом макроуровне и ситуатема на когнитивно-семантическом микроуровне глубоко уточняют значение глагола, описывающего денотативно-логическую ситуацию, следующим образом:

- общим для всех уровней анализа префиксального глагола *untergeyn* [*zikh*] является «движение»;
- на уровне ситуации и ситуатемы релевантна неинтенсивность движения-заниятия, которая выражается посредством префикса *unter-*;
- на уровне концепта ситуации проявляется асимметрия ситуации и ее языковой репрезентации посредством префиксального глагола;
- на уровне ситуатемы проявляются три дополнительные, не выражаемые глагольной лексемой эксплицитно микроситуации: «субъект устал и т.д.» (закадровая микроситуация), «субъект покидает прежнее место» (периферийная микроситуация) и «субъект отдыхает и т.д.» (закадровая микроситуация,

синхронная с ядерной); при этом в целом ситуатему, которая выявляет разнообразные таксисные отношения, мы считаем мультиплексной.

3. *ongeyn zikh* 'находиться (вдоволь)'

Префиксальный глагол *ongeyn zikh* можно рассматривать в качестве репрезентанта ситуатемы глаголов когнитивно-семантического класса «Аккумуляция движения до удовлетворения», к которому также относятся *onfor'n zikh* 'наездиться', *onloxf'n zikh* 'набегаться' и т.д.

А. Ситуация, описываемая данным глаголом в конкретном значении состоит в том, что субъект совершает продолжительное по расстоянию или времени движение до полного удовлетворения или усталости, что в графическом виде однозначно изобразить не представляется возможным.

Б. Концепт данной ситуации можно, однако, представить в виде схемы (рис. 7).

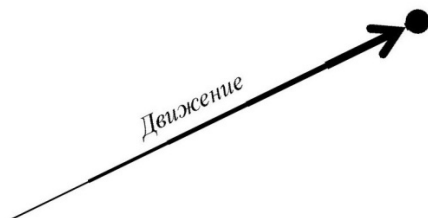


Рис. 7. Асимметричный концепт ситуации «Аккумуляция движения до удовлетворения»

В данной схеме: стрелка увеличивающейся толщины обозначает накопление движения, а жирная точка сверху – достижение верхнего предела путем движения.

Концепт в данном случае асимметричен ситуации в силу значения префикса *on-* 'на, поверх'. Описывая аккумуляцию, глагол *ongeyn zikh* лишь концептуализует ее как «движение до верхнего предела», хотя в реальной ситуации ходьба заканчивается удовлетворением или усталостью от этой ходьбы.

Идишский префикс *on-* на базе адстрата по фонетическому сходству со славянским префиксом *na-/na-* заимствовал многие значения последнего, в том числе анализируемое значение «до полного удовлетворения/усталости». Идиш стал создавать, с одной стороны, кальки, как польск. *nachodzić się* «находиться, устать от ходьбы» [21. С. 290] или рус. *находиться* «походить вдоволь, устать от хождения» [19. С. 339], а с другой стороны, в силу интралингвистических тенденций стал образовывать префиксальные глаголы, эквиваленты которых отсутствуют в славянских языках, типа *onhobn* 'иметь [очень/чрезмерно] много' (букв. «*наиметь») или *ondertseyln zikh* 'много рассказ(ыв)ать' (букв. «*нарассказываться») (подробнее см. [3. С. 176]).

В. Ситуатема префиксального глагола *ongeyn zikh* может быть представлена в виде следующей схемы (рис. 8).

Рис. 8. Ситуатема глагола *ongeyn zikh* (см. пояснения к рис. 2 и 3)

Ситуатема глагола *ongeyn zikh* представляет собой ретроспективный би-ситуативный комплекс, так как действие ядерной микроситуации МСЯ-2, обозначаемой префиксальным глаголом, обусловлено предшествующей ей закадровой микроситуацией МСЗ-1.

Г. Корреляция ситуации, концепта ситуации и ситуатемы наглядно представлена в табл. 3.

Таблица 3. *ongeyn zikh*: корреляция ситуации, концепта ситуации и ситуатемы

Ситуация	Концепт ситуации	Ситуатема
Состояние удовлетворения/усталости в результате продолжительного по расстоянию или времени хождения субъекта	Асимметричный: Достижение верхнего предела путем хождения	Ретроспективный биситуативный комплекс: Достижение субъектом удовлетворения/усталости в результате хождения

Концепт ситуации на когнитивно-семантическом макроуровне и ситуатема на когнитивно-семантическом микроуровне глубинно уточняют значение глагола, описывающего денотативно-логическую ситуацию, следующим образом:

– общим для всех уровней анализа префиксального глагола *ongeyn zikh* является «хождение»;

– на уровне ситуации и ситуатемы релевантно достижение субъектом в результате хождения состояния удовлетворения (усталости); префиксальный глагол *ongeyn zikh*, являясь репрезентантом ситуатемы, интересен тем, что, будучи образованным от производящего глагола движения, он описывает, скорее, состояние, чем движение;

– на уровне концепта ситуации проявляется асимметрия ситуации (ситуация, как правило, не направлена вверх) и ее языковой репрезентации посредством префиксального глагола (как «достижение верхнего предела путем хождения»);

– на уровне ситуатемы выявляется дополнительная – хронологически предшествующая ядерной – закадровая микроситуация: «субъект долго ходил» (закадровая микроситуация МСЗ-1), что является причиной усталости субъекта (ядерная микроситуация МСЯ-2), поэтому ситуатеме следует рассматривать как ретроспективную.

Выводы. В настоящей статье на примере идишского глагола *geyn* с некоторыми префиксами была показана полиситуативность и трехслойность глагольной семантики: на денотативно-логическом уровне ситуации, когнитивно-семантическом макроуровне концепта ситуации и когнитивно-

семантическом микроуровне ситуатемы, которые выделяются при анализе глагола с разной степенью глубины и абстракции. При этом концепт ситуации и ситуатема, коррелируя друг с другом, являются глубинными уточнителями семантики префиксального глагола, описывающего ситуацию, которая напрямую соотносится лишь с ядерной микроситуацией.

Ключевые заключения, которые мы делаем или в очередной раз подтверждаем, состоят в следующем:

а) ситуация как предикативный денотат отражается языком, в том числе идишем, не всегда логично;

б) концепт ситуации как обобщенно-абстрагированный способ наивно-языковой репрезентации ситуации может находиться с ситуацией в отношении симметрии или асимметрии. При этом необходимо иметь в виду, что концепты ситуаций, во-первых, неочевидны и определяются методом исследовательской интуиции исходя из диахронических данных, применительно к идишу: из исконного значения префикса в средневерхненемецком языке-основе и в адстратных славянских языках. Во-вторых, концепты относительны, их не следует абсолютизировать и делать на этом основании вывод, что именно так (а не иначе) носители языка и видят мир, особенно когда речь идет об асимметричной концептуализации ситуации, поскольку, с одной стороны, «включение» той или иной лексической единицы из одного из диалектов в литературный язык – дело нередко довольно случайное. С другой стороны, глагольная префиксация – явление системное, и проанализированный материал подтверждает эту системность и тем самым возможность выделения когнитивно-семантического макроуровня симметричного/ассимметричного концепта ситуации;

в) ситуатема как единица плана содержания, отражающая динамическую полиситуативную денотативную структуру нелимитируемого типа и (в отличие от абстрагированного концепта ситуации) как единица конкретная позволяет исследовать и показать, что при взаимодействии производящей основы глагола с префиксом имеет место так называемая неаддитивность значений компонентов и – всегда – возникновение смысла, который включает в себя несколько микроситуаций, связанных между собой проспективными, ретроспективными, интроспективными, синхронными либо сложными мультиплексными таксисными отношениями.

Литература

1. Лебедева Н.Б. Полиситуативность глагольной семантики (на материале русских префиксальных глаголов). Томск: Изд-во Том. ун-та, 1999. 262 с.
2. Шишигин К.А. Когнитивно-семантический подход к описанию и классификации префиксальных глаголов языка идиш // Знак – свідомість – знання: зб. наук. пр. / відпов. ред. В.І. Теркулов. Горлівка: Вид-во ГДПІМ, 2011. Вип. 2. С. 100–106.
3. Шишигин К.А. Глаголы с префиксом *on-* в языке идиш: немецкое и славянское в этимологии и семантике // Славянская филология: исследовательский и методический аспекты: сб. науч. ст. / науч. ред. Н.Б. Лебедева; отв. ред. Е.В. Евпак. Электрон. дан. и прогр. (2,22 Мб). Кемерово: Изд-во Кем. гос. ун-та. 2012. 1 CD-ROM. С. 173–181.
4. Шишигин К.А. Глаголы с префиксом *avek-* в языке идиш: когнитивно-семантическая классификация // Вестн. Кем. гос. ун-та. 2013, Вып. 2 (54). Т. 2. С. 195–199.

5. Шишигин К.А. Ситуация и концептуализация ситуации высказыванием (на примере префиксальных глаголов языка идиш) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2013. № 10 (28). С. 204–207.

6. Шишигин К.А. Генезис глагольно-префиксальной системы языка идиш: экстралингвистические факторы и интралингвистические тенденции // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2014. № 3 (29). С. 74–91.

7. Мельник Е.А., Шишигин К.А. Семантико-когнитивные характеристики глаголов с префиксом *unter-* в языке идиш // Гуманитарный вектор / ред. серии Г.Д. Ахметова, Ц.П. Ванчикова. Чита, 2011. № 4 (28). С. 102–106.

8. Кацнельсон С.Д. Общее и типологическое языкознание / отв. ред. А.В. Десницкая. Л.: Наука, 1986. 299 с.

9. Neuberg S. Pragmatische Aspekte der jiddischen Sprachgeschichte am Beispiel der „Zenere-ne“. Hamburg: Buske, 1999. 217 pp.

10. Яков бен Ицхак Ашкенази. Цэна-у-Рэна. Пять книг Торы с комментариями. Берешит / под общ. ред. Б.Б. Котлермана. М.: Мосты Культуры, 2012. 474 с.

11. Yiddish Alphabet. URL: http://www.yivo.org/max_weinreich/index.php?tid=57&aid=275

12. Кронгауз М.А. Приставки и глаголы в русском языке: семантическая грамматика. М.: Языки рус. культуры, 1998. 288 с.

13. Duden. Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache. Mannheim u.a.: Dudenverlag, 2001. 960 pp.

14. Хайдеггер М. Время картины мира. URL: <http://philosophy.ru/library/heidegger/time-pict-world.html>

15. Мельник Е.А. Репрезентация рационально-логической ситуации на когнитивно-семантическом и морфосинтаксическом уровнях (на примере идишских глаголов с префиксом *unter-*): дис. ... канд. филол. наук. Кемерово, 2013. 259 с.

16. Падучева Е.В. Динамические модели в семантике лексики. М.: Языки славянской культуры, 2004. 608 с.

17. Sholem-Aleykhem. Motl Peyse dem khazns. Yerusholaim: Magnes pres, 1997. 366 pp.

18. Українсько-російський словник / ред. Л.С. Паламарчук, Л.Г. Скрипник. Київ: Головна редакція Української Радянської Енциклопедії, 1986. 940 с.

19. Ожегов С.И. Словарь русского языка / ред. Н.Ю. Шведова. М.: Рус. яз., 1986. 797 с.

20. Русская грамматика. Фонетика, фонология, ударение, интонация, словообразование, морфология / гл. ред. Н.Ю. Шведова. М.: Наука, 1980. Т. 1. 784 с.

21. Польско-русский словарь / ред. М.Ф. Розвадовская. М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1958. 816 с.

Tomsk State University Journal of Philology, 2014, 6 (32), pp. 60-76. DOI 10.17223/19986645/32/5
Shishigin Kirill A., Kemerovo State University (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: schischigin-ka@rambler.ru

POLYSITUATIONAL SEMANTICS OF YIDDISH PREFIXED VERBS (EXEMPLIFIED BY THE VERB *GEYN* WITH SOME PREFIXES).

Keywords: Yiddish, semantics, prefixed verb, polysituationality, situation, concept of situation, situatheme.

This article looks into the polysituationality of verb semantics on the denotative logical level of a situation, the cognitive semantic macro-level of the concept of a situation and the cognitive semantic micro-level of the situatheme exemplified by the verb *geyn* with some prefixes.

1) The situation as a predicative denotation is reflected by the language, including Yiddish, not always logically.

2) The concept of the situation (CS) as a generic and abstracted manner of a naïve linguistic representation of the situation can be in the following relations to the situation: a) symmetrical when the prefixed verb has a logical internal form, or b) asymmetrical when the prefixed verb has an illogical internal form and its interpretation is possible only by means of an underlying abstraction.

3) The situatheme as a unit of content which reflects the dynamic polysituational denotative structure of a non-limited type and (unlike abstracted CSs) as a concrete unit enables to investigate and display that the so called non-additivity of components' meaning and – always – a new sense appearance take place by the interaction between the verb stem and the prefix; this new sense includes several micro-situations (MS) which: a) can be:

- kernel MSs (MSK) when the main MS is expressed by the verb lexeme, the stem or the prefix;
- peripheral MSs (MSP) when MSs are expressed by optional, dependent parts of the sentence;
- marginal MSs (MSM) when the MS is syntactically inexpressible, but can be reconstructed by means of an underlying analysis;

b) are dependent on each other by prospective, retrospective, introspective, synchronous or multiplex taxis relations.

An example of the verb *avekgeyn* 'go away' will illustrate the points:

a) The situation: "(Quasi-)self moving away of subject/object from the observer".

b) CS: *avekgeyn* with its concrete spatial meaning conceptualises the situation symmetrically.

c) The situatheme of *avekgeyn*: three-situational, targeted, prospective. The situatheme includes three MSs: - the first MSM "Initial location of subject/object", - the second MSK "Subject/object is going away", - the third MSP "Goal of moving away".

d) Correlation between the situation, CS and the situatheme:

4) CS and the situatheme are deep specifiers of the meaning of the prefixed verb designating the situation that directly correlates only with MSK: a) the common component is "moving away of the subject / object"; b) a relevant distinction on the situation and situatheme level is that between the subject (self) and the object (quasi-self) moving away; c) "quasi-self" is irrelevant on the level of CS because the moving away of inanimate objects is conceptualised as "self"; d) two supplementary components become apparent on the situatheme level: MSM: "Subject / object is in its initial location"; and MSP: "With any goal".

References

1. Lebedeva N.B. *Polisituativnost' glagol'noy semantiki (na materiale russkikh prefiksallykh glagolov)* [Polisituationality of verbal semantics in Russian prefixed verbs]. Tomsk: Tomsk State University Publ., 1999. 262 p.
2. Shishigin K.A. Kognitivno-semanticheskiy podkhod k opisaniyu i klassifikatsii prefiksallykh glagolov yazyka idish [Cognitive-semantic approach to the description and classification of prefixal verbs in Yiddish]. *Znak – svidomist' – znannya: zb. nauk. pr.* Gorlivka: Vid-vo GDPPM Publ., 2011. Issue 2, pp. 100-106.
3. Shishigin K.A. *Glagoly s prefiksom on- v yazyke idish: nemetskoe i slavyanskoe v etimologii i semantike* [Verbs with the prefix on- in Yiddish: The German and the Slavic in the etymology and semantics]. In: Lebedeva N.B. (ed.) *Slavyanskaya filologiya: issledovatel'skiy i metodicheskiy aspekty* [Slavic philology: research and methodology aspect]. Kemerovo: Kemerovo State University Publ., 2012, pp. 173-181. (CD-ROM).
4. Shishigin K.A. Yiddish prefixed verbs with *avek-*: a cognitive semantic classification. *Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta – Bulletin of Kemerovo State University*, 2013, issue 2-2 (54), pp. 195-199. (In Russian).
5. Shishigin K.A. Situation and its conceptualization by statement (by example of the Yiddish prefixal verbs). *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki*, 2013, no. 10 (28), pp. 204-207. (In Russian).
6. Shishigin K.A. The prefixed verb system genesis in Yiddish: extralinguistic factors and intralinguistic tendencies. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*, 2014, no. 3 (29), pp. 74-91. (In Russian).
7. Mel'nik E.A., Shishigin K.A. Semantiko-kognitivnye kharakteristiki glagolov s prefiksom unter- v yazyke idish [Semantic and cognitive characteristics of verbs with the prefix unter- in Yiddish]. *Gumanitarnyy vektor*, 2011, no. 4 (28), pp. 102-106.
8. Katsnel'son S. D. *Obshchee i tipologicheskoe yazykoznanie* [General and typological linguistics]. Leningrad: Nauka Publ., 1986. 299 p.
9. Neuberg S. *Pragmatische Aspekte der jiddischen Sprachgeschichte am Beispiel der "Zenerene"*. Hamburg: Buske, 1999. 217 p.
10. Jacob ben Isaac Ashkenazi. *Tseno Ureno. Pyat' knig Tory s kommentariyami* [Tseno Ureno. Five books of the Torah with commentaries]. Moscow: Mosty Kul'tury Publ., 2012. 474 p.
11. Yiddish Alphabet. Available at: http://www.yivo.org/max_weinreich/index.php?tid=57&aid=275.
12. Krongauz M.A. *Pristavki i glagoly v russkom yazyke: semanticheskaya grammatika* [Prefixes and verbs in the Russian language: semantic grammar]. Moscow: Yazyki russkoy kul'tury Publ., 1998. 288 p.

13. Duden. *Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache*. Mannheim u.a.: Dudenverlag, 2001. 960 p.
14. Heidegger M. *Vremya kartiny mira* [Time of the picture of the world]. Translated from German. Available at: <http://philosophy.ru/library/heideg/time-pict-world.html>.
15. Mel'nik E.A. *Reprezentatsiya ratsional'no-logicheskoy situatsii na kognitivno-semanticheskom i morfosintaksicheskom urovnyakh (na primere idishskikh glagolov s prefiksom unter-)*. Dis. kand. filol. nauk [Representation of a rational-logical situation in the cognitive-semantic and morphosyntactic levels in Yiddish verbs with the prefix unter-. Philology Cand. Diss.]. Kemerovo, 2013. 259 p.
16. Paducheva E.V. *Dinamicheskie modeli v semantike leksiki* [Dynamic models in the semantics of the vocabulary]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury Publ., 2004. 608 p.
17. *Sholem-Aleykhem. Motl Peyse dem khazns*. Yerusholaim: Magnes pres, 1997. 366 p.
18. Palamarchuk L.S., Skripnik L.G. (eds.) *Ukrains'ko-rosiyskiy slovník* [Ukrain-Russian Dictionary]. Kyiv: Golovna redaktsiya Ukrains'koï Radyans'koï Entsiklopedii Publ., 1986. 940 p.
19. Ozhegov S.I. *Slovar' russkogo yazyka* [Dictionary of Russian]. Moscow: Russkiy yazyk Publ., 1986. 797 p.
20. Shvedova N.Yu. (ed.) *Russkaya grammatika. Fonetika, fonologiya, udarenie, intonatsiya, slovoobrazovanie, morfologiya* [Russian grammar. Phonetics, phonology, stress, intonation, word formation, morphology]. Moscow: Nauka Publ., 1980. Vol. 1, 784 p.
21. Rozvadovskaya M.F. (ed.) *Pol'sko-russkiy slovar'* [The Polish-Russian Dictionary]. Moscow: Gos. izd. inostr. i nats. Slovarye Publ., 1958. 816 p.

УДК: 811.161.1
DOI 10.17223/19986645/32/6

Ю.А. Эмер

ОБРАЗ ГОРОДА В ПЕСЕННОМ ФОЛЬКЛОРЕ¹

В статье на материале фольклорных песенных текстов о Томске рассматривается вопрос о жанровом преломлении общих когнитивных установок фольклорного коллектива. В фокусе каждого жанра городского фольклора, в отличие от деревенского, оказывается определенный фрагмент образа города: в студенческой песне Томск – это университетский город, в городском романсе и дворовой песне – существование обывденного человека в городском пространстве. Главными темами частушки являются как любовная (сквозь призму Томска как студенческого города), так и социально-политические вопросы жизни города.

Ключевые слова: образ города, Томск, жанровое миромоделирование, песня, частушка, городской фольклор.

Существование современного человека в полидискурсивном мире, перераспределение идеологических функций между формами культуры привели к всплеску интереса научной общественности к феномену фольклора, долгое время осуществляющему основную идеологическую функцию [1; 2; 3]. Поскольку в современном обществе, в силу особенностей развития общества в условиях глобализации, на первый план выходит социальная идентификация, каждая из социальных групп, имея собственную систему ценностей, картину мира, выстраивает свой вариант культуры, где немаловажное место занимает фольклор, осуществляющий функцию хранения и передачи знания (пусть и в меньшей степени, чем традиционный фольклор). На наш взгляд, в основе современного² фольклора лежит та же идея самоидентификации, дифференциации отдельной группы, индивида, что и в «классическом» фольклоре. Понимание фольклора как коммуникативно ориентированной формы культуры, отражающей самосознание, вербально оформленные ценностные установки социальной группы, позволяет рассматривать его не только как «культурное наследие», но и как часть актуальной культуры, не только как явление коллективной культуры, но и как явление, выражающее индивидуальное начало, которое узнаваемо, поскольку оно клишировано и тиражировано [4].

Одной из актуальных проблем, активно обсуждаемых гуманитариями, является вопрос о существовании городского фольклора, о его взаимоотношениях с массовой культурой. Одни исследователи придерживаются позиции, что городской фольклор – это испорченный «деревенский» фольклор, другие считают, что городской фольклор есть самостоятельный культурный продукт [5, 6, 7, 8]. В нашей работе городской фольклор рассматривается как отдельный феномен, в городском фольклоре находит отражение урбанизиро-

¹ Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект №13-14-70003).

² В нашем понимании «современный фольклор» – это фольклор, бытующий с середины XX в. по настоящее время.

ванное сознание горожан, выдвигающих новые культурные запросы к фольклору, «городской фольклор решительным образом отличается от стадильно и исторически предшествующих ему устных традиций патриархального сельского крестьянства <...> [Он] фрагментирован в соответствии с социальным, профессиональным, клановым и даже возрастным расслоением общества, с его распадом на слабо связанные между собой ячейки, не имеющие общей мировоззренческой основы <...> он, как правило, отражает культурные смыслы, актуальные для данного сообщества, и часто обслуживает потребности его участников (в том числе потребности в самоидентификации)» [3. С. 11].

В настоящее время городской фольклор есть многослойное явление, включающее жанры деревенского и городского фольклора, взаимодействующие, взаимообогащающиеся и приспособляющиеся друг к другу. В современном городском фольклоре активно функционируют песенные жанры (дворовая песня, романс, частушка и др.). Вне зависимости от происхождения песенные жанры, бытующие в городской среде по законам фольклора (устная/письменная передача текста, анонимность – авторство утрачивается, вариативность текста), так или иначе обращаются к теме города, предлагают «жанровую интерпретацию», выстраивают «жанрообусловленный» образ города.

Цель данной работы – выявить жанровую обусловленность в представлении образа Томска в современном городском песенном фольклоре.

Материалом послужили тексты городских романсов, бардовских песен (бытующих по фольклорным законам), студенческого фольклора, частушек, зафиксированные в городской среде Томска с 1996 по 2012 г. Тексты взяты из личной коллекции автора (аудио, видеосъемки городских праздников, народных гуляний, проходивших на городских площадках в разных районах Томска, студенческих неформальных мероприятий, экспедиций и практик в ТГУ, ТПУ, ТГПУ (1996–2012 гг.), городского конкурса частушек (2004 г.), а также собраны студентами во время фольклорных экспедиций в городе Томске (День города 2010, 2011 гг.).

При анализе в городском фольклоре образа Томска мы имели в виду, что этноязыковая общность не является монолитной (см., например: [9]). Отметим, что сходные идеи о существовании в рамках общезыковой картины мира других культурных моделей (научных, художественных, конфессиональных) были высказаны в работах [10, 11] и др.

При проведении исследования мы учитывали, что фольклор, как и другие семиотические системы, представляет особое видение мира, специфический способ категоризации и концептуализации действительности в соответствии с собственной логикой миропонимания. Предлагая определенный ракурс восприятия мира, фольклор задает модель интерпретации жизненных событий, отличную от других. Фольклорная картина мира жанрово варьируется, в каждом из жанров фрагмент мира предстает в определенном аспекте в зависимости от жанровых установок. Так, песня призвана передать душевное состояние, настроение, эмоции человека, не актуализируя приметы исторического временного отрезка. В песне проявлены этические ценности социума, которыми каждый из его членов руководствуется в жизни.

Основным назначением частушки является выражение экспрессивно окрашенного отклика индивида на реальную бытовую/бытийную ситуацию: «В частушке отсутствует разрыв между исполнителем и содержанием песни. Она насквозь индивидуальна... частушка всегда старается отразить последние местные события политической и социальной жизни» [12]. «Публичный рассказ» об экстремумах личного, общественного события становится рефлексией по этому поводу, позволяет высказать личную оценку того или иного факта, соотнеся ее с коллективной.

Образ города, представленный в городском фольклоре вообще, принципиально отличается от образа города в деревенском фольклоре в силу особенностей городской и деревенской культур, сознания городского и деревенского жителя, подробнее см. [13, 14]. Особенности представления образа города, характерного для томской городской культуры, а также специфику представления образа Томска в отдельных субкультурах города.

Образ «города» как такового в городском и крестьянском фольклоре при некоторой общности будет отличаться содержательно. В деревенском фольклоре он представлен как чужое, неосвоенное пространство, несущее опасность для человека. Рефлексии подвергаются ценностные этические установки, правила «городского поведения». Город противопоставляется деревне с ее устоями, ценностями, размеренным порядком жизни: *Вырастешь большая, / Отдам тебя замуж, / Не в город – в деревню, / В согласну семью* (песня); *Эх, так вашу мать / С вашим городишком, / Девки ходу не дают / Нашим ребятишкам* (частушка). Оппозиция *город – деревня* в текстах актуализируется при помощи противопоставления *не в город – в деревню*, лексических единиц *согласная семья*, обозначающих гармоничное состояние, присущее деревенскому миру в противовес городскому, лексем *городишко*, где суффикс *ишк-* несет уменьшительно-пренебрежительное значение, местоимений *ваши – наши*, использование которых позволяет актуализировать оппозицию *город – деревня*, наконец, лексические единицы *девки – ребятишки* (с уменьшительно-ласкательным суффиксом *ишк-*) передают противоположную оценку городских и деревенских жителей, как и лексемы *ходу не дают*, обозначающие «анормативные» действия, служат отрицательной характеристикой городских жителей.

Отметим, что такое представление о городе, зафиксированное в крестьянском фольклоре, в первую очередь объясняется социально-историческими причинами. Как только крестьянин получил возможность, оторвавшись от земли, поехать на заработки в «другой» мир, традиционное общество с его укладом и устоями стало трансформироваться. Эти изменения не могли не получить отражение в фольклоре, с этим связано, например, формирование оппозиции *деревня – город*, появление новых сказочных героев – находчивого и хитрого солдата, противостоящего доверчивому, простоватому крестьянину, а также возникновение нового жанра – жестокого романса и т.п.

В городском фольклоре, в отличие от деревенского фольклора, образ города не является монолитным. Для самоидентификации города не столько важным оказывается его противопоставление деревне, сколько определение identity по отношению к сообществу городов, к городам, имеющим тот или иной статус ([15] и др.).

Города как населенные пункты имеют большие различия: мегаполисы и поселки городского типа, столичные и провинциальные, вузовские и промышленные города. Различия в представлении конкретного города в песенном фольклоре во многом обусловлены спецификой поселения.

В современной городской культуре образ города актуализируется горожанами через стереотипы, клише, связанные с восприятием того или иного города. Осознание города различными социальными группами, индивидами во многом объясняется определенным, зафиксированным в данной культуре или субкультуре, нормативным представлением о городе как средоточении интеллектуальных сил, находящихся в нем предприятий, архитектурных шедевров, объектов культуры и т.д. Так, Томск в песенном студенческом фольклоре предстает как город «умный», университетский центр Сибири: *Может быть, и можно где-то жить и без университета, / Он у нас не лучший в мире, зато первый по Сибири; Томск, Томск, слышишь ручьи звенят. / Томск, Томск, сколько друзей у тебя. / В студгородке, слышишь, опять поют, / Томск, Томск, Томск, Томск – песню про юность мою; Этот праздничный тост поднимаю за Томск, / Значит, он не напрасно учил, / и по всей по стране вдруг откликнутся мне / Томичи, томичи.* Отметим, что частотные лексемы *студенческий, университет, друзья, юность* как оценочные номинации, участвующие в формировании «позитивного» образа города в фольклоре, активно используются в медийных изданиях. «Их содержание во многом становится источником текстопорождения при формировании презентационных материалов о городе, текстов поздравлений (см. [16]), а также об отражении в других дискурсах см. ([17; 18]).

Для студенческих песен характерно совпадение основных характеристик города, представленных и в художественно-поэтическом, и в медийном, и в политическом дискурсах. Томск в студенческом фольклоре предстает как сибирский университетский город: *Мы все знаем, мы все помним, ни одна страна в этом мире не заменит нам этот уголок Сибири; В краю кедровом посреди России стоит наш город узорный; Я люблю этот город, его нескончаемый гомон, где студентов полны поезда.* Ключевыми лексемами томского городского студенческого фольклора являются *Сибирь, деревянные кружева, университеты*, отражающие реперные точки официально выстроенного образа города, основные темы студенческого фольклора связаны с учебой, любовью, молодостью. Город предстает как целостный организм, осуществляющий единую функцию, пространственная организация города практически не получает текстового воплощения как неактуальная для самоидентификации студента – жителя города. Заметим, что в песнях о томских университетах пространственные объекты города, связанные с традициями вуза или местоположением университета, могут упоминаться: *С грустью вспоминаем мы... трудные экзамены и учителей. И фигуру Кирова с поднятой рукою в яркой рамке залитых солнцем тополей.*

В городском романсе и дворовой песне в центре внимания оказывается человек, живущий в дисгармоничном мире, события разворачиваются в житейской плоскости (подробнее см. [19]) в городском семиотически нагруженном пространстве. В данных текстах предстает «бытовой» Томск как сложно организованная система – с делением на районы, имеющие собствен-

ную историю, мифологию, вступающие в оппозиционные отношения друг к другу. Горожанин моделирует образ города, исходя из историко-мифологического контекста отдельного района и города в целом. Так, ключевыми пространственными точками Томска оказываются Заисточье, Черемошники, Иркутский тракт и др. Указание в песенном тексте конкретного района города, в котором разворачиваются события, позволяет не просто «оживить» в сознании горожан знание о данном месте, но обозначить, закрепить статус «опасное/неопасное пространство» за определенной пространственной точкой города, идентифицироваться каждому жителю относительно субкультуры района города. Например, район Черемошники предстает в песне как депрессивный район, живущий по своим локальным законам, противопоставленный центральной части города: *Я ж черемошинский, нарики и алкоголики — моя среда. Я с похмелья зашел к Валерке, а денег нету на опохмел. Пойду на рынок, стрельну десятку, И станет радостно мне на душе. А мимо катят машины в центр, У них своя жизнь...* Просторечные, жаргонные лексемы *похмелье, опохмел, стрельнуть* противопоставляются стилистически нейтральным *центр, своя жизнь*, моделируя оппозиционные отношения «свой мир Черемошников» / «мир города».

В частушках, бытующих в томском пространстве, основными городскими темами оказываются традиционные для данного жанра любовная, социальная и политическая. Томская частушка, как и частушка в целом, выполняет сегодня в первую очередь оценочную и развлекательную функции, информативная функция, как правило, оказывается периферийной для данного жанра, поскольку она выполняется другими институтами.

В любовных частушках наблюдается актуализация традиционных для данного жанра оппозиций «женщина – мужчина», «женщина – девушка», «свой – чужие»: *Ах вы, томские ребята, / Дождемком умойтесь, / Если сами поросята, / В девчонках не ройтесь; В Томске улицы большие, / Переулки тесные. / Девки пуще баб гуляют, / Говорят, что честные; В Томске девки мелки / На суку сидят, как белки, / В Новосибе покрупней / На суку сидят плотней.* В данных текстах «вечная» тема показана в характерном жанровом представлении: переворачивание нормы, противопоставление возрастных, гендерных, социальных характеристик. «Томский колорит» создается за счет упоминания названия города и обозначения принадлежности к нему жителей.

Отметим, что текст частушки, рассказывающей о взаимоотношениях полов с разной степенью модификации, фиксируется на разных, часто отдаленных друг от друга территориях (например, приведенные выше частушки с использованием названий других городов). Живучесть текста и «применимость» его к разным объектам, событиям свидетельствует, с одной стороны, об общности когнитивных установок социума во времени, где частушечные установки выступают как сигнификат по отношению к денотатам-событиям. С другой стороны, приписывание текста к конкретному факту, верификация текстом этого события (см. [20; 21]) и есть создание частушечной «новости», что подтверждает социальную значимость частушки, осуществляющую некую контролирующую, регламентирующую функцию в коллективе.

В томском фольклоре есть небольшой пласт частушек, в которых любовная тематика предстает сквозь призму студенческого города: 1. *В томский*

пед заходить, / Окурков по колено, / Политеховских любить, / Надо брать полено. 2. ТГУшные ребята – для того, кто любит мозг. / А с деньгами и машиной в ТГАСУ ты себе найдешь. В данных текстах актуализируются стереотипы вузов, существующие в сознании горожан. Первая частушка построена на сравнении двух томских вузов – педагогического и политехнического университетов. Данное сравнение подразумевает эксплицитно невыраженную оппозицию «женское – мужское», поскольку в педуниверситете основной контингент обучающихся представлен студентками, в политехническом – студентами. Лексическая единица *окурки* в сочетании с *томский пед* актуализирует через анормативное представление о студентках в гендерном и профессионально-этическом аспектах нормативное представление о вузе. Лексема *полено* имплицитно становится характеристикой студентов ТПУ как сильных и грубых по отношению к возлюбленным. В данном случае актуализируется как гендерная характеристика, типичная для частушки в представлении мужчин, так и стереотип о ТПУ как техническом вузе с низким уровнем культуры. Комический эффект достигается за счет анормативного представления женского и мужского вузов и их противопоставления.

Вторая частушка также построена на противопоставлении двух томских вузов – Томского государственного университета и Томского архитектурно-строительного университета. При характеристике ТГУ в фокусе внимания оказывается интеллектуальный уровень студентов, при описании ТГАСУ – материальный достаток студентов. Как и в предыдущем тексте, актуализируется стереотипное представление томичей о данных вузах, однако противопоставление *мозг – с деньгами и машиной* отражает девальвацию в современном обществе ценностей, представляя ум и богатство как однопорядковые для сравнения величины.

Жанровые установки частушки: через анормативное представление ситуации смоделировать идеальное приводит к тому, что студенческий Томск предстает сквозь призму социокультурных, общественно-экономических проблем в многообразии характеристик, позволяя студенту самоидентифицироваться, сформировать нормативное представление об *alma mater*.

Количественно меньше томских частушек посвящено теме местной власти (20% текстов), социальной ситуации в городе. Как и в социально-политической частушке вообще, в томской рассказ об известных из других источников местных общественно-политических событиях, лидерах местной власти сопровождается оценкой, часто противоречащей официальной.

Власть традиционно является объектом рефлексий в фольклорном дискурсе, оценка власти в фольклорных текстах отражает взгляд определенного культурно-языкового сообщества, демонстрируя относительную стабильность и одновременно изменчивость восприятия власти «простым» человеком, показывает противостояние власти и человека из народа, характерное как для России в целом, так и для города в частности: *Николайчук нам обещает: / Всех от голода спасу! / Стариков я сдам на мясо, / А старух на колбасу! // В вертолет садился Кресс / Посмотреть на тощий лес. / Вместо леса видит пни / Возвышаются одни!*

«Герой-политик» (Н. Николайчук, В. Кресс, А. Макаров) получает эксплицитное выражение при помощи имени собственного. Использование име-

ни, знакового для города и области, позволяет не давать подробного описания героя в тексте, поскольку каждое из них имеет устойчивую оценочную характеристику. Отметим, что в данном случае также можно говорить о фольклорности оценочности, поскольку она отражает народное представление, а не официальную точку зрения. При общности модели обещания: абсурдность, стремление к норме через действия, ее нарушающие, – внутреннее наполнение выстраивается в зависимости от личностных особенностей, уровня политика. Так, в частушке про бывшего мэра г. Томска А. Макарова фигурирует один из предвыборных его лозунгов (*Томск – чистый город...*): *Нам Макаров обещает: / «Будет город чистым! / Денежки и прочий мусор / Мне в карман ложите»*. При этом обещание, исходящее от политика, отражает народную оценку его действий. Изначальные установки «обещания» («Добровольное обязательство сделать что-либо» [22. С. 425]) вступают в конфликт с его содержанием.

Активно рефлекслируемыми в частушке томскими социальными темами оказываются вопросы повышенной радиации в связи с территориально близко расположенной АЭС, незаконная вырубка леса, отчисление средств, полученных от добычи газа и нефти, в Москву: *Мы грибочки собирали / в Северском селении / И спокойно служим в бане. / в женском отделении // Лес рубили вокруг Томска, / Тыщи километров! / А хватились в лес идти – / 60 километров*. В первом тексте использование имени собственного Северск актуализирует знание об особом статусе данного населенного пункта – «закрытого» города. Причинно-следственные связи (*собирали грибы – служим в женском отделении бани*) способствуют созданию комического эффекта, построенного на несоответствии произведенных субъектом действий и их последствий.

Итак, в данной статье на примере анализа образа Томска на материале городского романа, дворовой песни и частушки, бытующих в городском пространстве, доказывается, что образ Томска жанрово обусловлен, *фольклорные песенные жанры участвуют в моделировании фольклорной картины мира*, жанрово преломляя общие когнитивные установки. Каждый жанр актуализирует набор тех или иных фольклорных ценностей, в первую очередь определяемых как установками фольклора в целом, так и отдельного фольклорного жанра. Так, в студенческой песне о Томске город предстает, как правило, как университетский город, с которым связан определенный этап жизни человека.

В городском романе и дворовой песне в фокусе внимания существование горожанина в городском пространстве вне университетского контекста. В них находят отражение темы любви, дружбы, памяти. Аксиологическую нагрузку получают все события, действующие лица и их поступки, элементы мизансцены уже самим фактом фиксации в рамках данного жанра.

В частушке как жанре, оперативно реагирующем на действительность, главными являются как любовная тема (сквозь призму Томска как студенческого города), так социально-политические вопросы жизни города. Объектом оценивания становятся и горожане, и реалии городской жизни. Жанровая форма частушки задает особый способ отражения ценностной модели: выстраивание нормативной картины через демонстрацию анормативных поступков, действий героев.

Литература

1. Алексеевский М.А. Советские праздники в русской деревне: к постановке проблемы // Комплексное собрание, систематика, экспериментальная текстология. Вып. 2. Материалы VI Междунар. школы молодого фольклориста 22–24 ноября 2004 г. Архангельск, 2004. С. 162–169.
2. Неклюдов С.Ю. Фольклор современного города // Современный городской фольклор. М., 2003. С. 5–24.
3. Щепанская Т.Б. Застолье на рабочем месте: символы профессии, репрезентации идентичности // Фольклор малых социальных групп: традиции и современность: сб. науч. ст. М., 2008. С. 50–74.
4. Богданов К.А. Повседневность и мифология: Исследования по семиотике фольклорной действительности. СПб., 2001. 438 с.
5. Белоусов А.Ф. Городской фольклор. Таллин, 1987. С. 3–9.
6. Богатырев П.Г. Фольклор как особая форма творчества // Вопр. теории народного искусства. М., 1971. С. 369–383.
7. Лотман М.Ю. Блок и народная культура // Лотман М.Ю. Избр. статьи. Таллин, 1993. Т. 3. С. 185–201.
8. Неклюдов С.Ю. После фольклора // Живая старина. 1995. № 1. С. 2–4.
9. Толстой Н.И. Язык и народная культура. М.: Индрик, 1995, 518 с.
10. Толстая С.М. Пространство слова: Лексическая семантика в общеславянской перспективе. М.: Индрик, 2008. 527 с.
11. Никитина С.Е. Устная народная культура и языковое сознание. М.: Наука, 1993. 187 с.
12. Зеленев Д.К. Песни деревенской молодежи [Электронный ресурс]. Вятка, 1903. URL: <http://feb-web.ru/feb/izvest/1976/04/764-308.htm> (дата обращения: 25.05.2009).
13. Коган Л.Н. Социология культуры: учеб. пособие [Электронный ресурс]. Екатеринбург, 1992. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Sysov_Jazukoznzn/_09.php (дата обращения: 19.08.2010).
14. Эмер Ю.А. Миромоделирование в современном песенном фольклоре: когнитивно-дискурсивный анализ. Томск, 2011. 458 с.
15. Ахметова М.В., Журье М.Л. Бологое: «маленькая столица между двух столиц» // Отечественные записки. 2006. № 5, т. 32. С. 207–217.
16. Тубалова И.В., Эмер Ю.А. Текстовое пространство «Дня города» и «Дня рождения вуза»: к проблеме праздничного миромоделирования // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2009. № 2 (6). С. 11–22.
17. Ермоленкина Л.И., Костяшина Е.А., Резанова З.И. Томский урбанистский текст как механизм моделирования социокультурного пространства города // Роль совместных конкурсов РГНФ и Администрации Томской области в развитии гуманитарных исследований: материалы науч. конф. / под ред. Э.И. Черняка. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2011. С. 90–96.
18. Резанова З.И. Дискурсивные стратегии презентации национально-культурной идентичности // Вестн. Том. гос. ун-та. Культурология и искусствоведение. 2012. № 4 (8). С. 40–54.
19. Современная баллада и жестокий романс / сост. С. Адоньева, Н. Герасимова. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 1996. 416 с.
20. Адоньева С.Б. Деревенская частушка XX века. СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та. 2006. 534 с.
21. Адоньева С.Б. Прагматика фольклора. СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та. 2004. 312 с.
22. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Рус. яз., 1990.

Tomsk State University Journal of Philology, 2014, 6 (32), pp. 77–86. DOI 10.17223/19986645/32/6
 Emer Yulia A., Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: julika71@mail.ru

IMAGE OF THE CITY IN FOLK SONGS.

Keywords: image of the city, Tomsk, genre world modeling, song, chastooshka, urban folklore.

Modern folklore as a conglomerate of traditional, newly emerging genres and marginalized forms exists in the urban environment, demonstrating both continuity and change, reflecting orientations of modern folk consciousness.

Regardless of the origin, song genres in the urban environment turn to the topic of the city, offer the "genre interpretation" and build the "genre-determined" image of the city.

The purpose of this work is to identify genre conditions in the representation of the image of Tomsk in urban folk songs.

The material are texts of urban romances, bard songs (made by folklore laws), student folklore and chastooshkas recorded in the urban environment of Tomsk.

In the research the following issues were considered: features of portrayal of the city as such in urban culture, in contrast to the village one; features of representation of the city characteristic of Tomsk urban culture; specifics of portrayal of Tomsk in some subcultures of the city.

In urban culture citizens actualize image of the city through stereotypes and clichés associated with the perception of a city which is largely due to a certain normative notion of the city as a concentration of the intellectual forces of the city's companies, architectural masterpieces, cultural facilities, etc., fixed in a given culture or subculture.

Student songs describe the main characteristics of the city represented in art and poetry, in the media and in political discourse. Student folklore depicts Tomsk as a Siberian university town. This is a holistic system performing a single function. The spatial organization of the city is not represented in texts of student songs being irrelevant for the self-identity of the student-resident of the city.

In urban romances and bard songs the center of attention is a person living in a graceless world; the events unfold in the worldly plane. These texts represent "consumer" Tomsk as a complex organism with a division into districts that have their own history and mythology and are in opposition relations to each other. Citizens model the image of the city on the basis of the historical and mythological context of a single district and the city as a whole.

In Tomsk chastooshkas, the main urban themes are love, social and political issues traditional for the genre. Student Tomsk appears through the prism of socio-cultural and socio-economic issues that allow students to self-identify, create a normative idea of the Alma Mater. Socio-political themes are discussed as the opposition of the government and the people, which is characteristic for the chastooshka.

References

1. Alekseevskiy M.A. [Soviet holidays in the Russian village: on the issue]. *Kompleksnoe sobiranie, sistematika, eksperimental'naya tekstologiya* [Comprehensive collection, systematization, experimental textology]. Arkhangel'sk, 2004, issue 2, pp. 162-169. (In Russian).
2. Neklyudov S.Yu. *Fol'klor sovremennogo goroda* [Folklore of a modern city]. In: Neklyudov S.Yu. (ed.) *Sovremennyy gorodskoy fol'klor* [Modern urban folklore]. Moscow: RSUH Publ., 2003, pp. 5-24.
3. Shchepanskaya T. B. [Feast in the workplace: symbols of profession, representation of identity]. *Fol'klor malykh sotsial'nykh grupp: traditsii i sovremennost'* [Folklore of small social groups: tradition and modernity]. Moscow, 2008, pp. 50-74. (In Russian).
4. Bogdanov K.A. *Povsednevnost' i mifologiya: Issledovaniya po semiotike fol'klornoy deystvitel'nosti* [Daily life and mythology: Studies in the semiotics of folk reality]. St. Petersburg: Iskusstvo Publ., 2001. 438 p.
5. Belousov A.F. *Gorodskoy fol'klor* [Urban folklore]. Tallin, 1987, pp. 3-9.
6. Bogatyrev P.G. *Voprosy teorii narodnogo iskusstva* [Issues of the theory of folk art]. Moscow: Iskusstvo Publ., 1971, pp. 369-383.
7. Lotman M.Yu. *Izbrannye stat'i* [Selected articles]. Tallin, 1993. Vol. 3, pp. 185-201.
8. Neklyudov S.Yu. *Posle fol'klora* [After folklore]. *Zhivaya starina*, 1995, no. 1, pp. 2-4.
9. Tolstoy N.I. *Yazyk i narodnaya kul'tura* [Language and popular culture]. Moscow: Indrik Publ., 1995, 518 p.
10. Tolstaya S.M. *Prostranstvo slova. Leksicheskaya semantika v obshcheslavianskoy perspektive* [Space of the word. Lexical semantics in the common Slavonic plane]. Moscow: Indrik Publ., 2008. 527 p.
11. Nikitina S.E. *Ustnaya narodnaya kul'tura i yazykovoie soznanie* [The oral folk culture and language consciousness]. Moscow: Nauka Publ., 1993. 187 p.
12. Zelenin D.K. *Pesni derevenskoy molodezhi* [Songs of the rural youth]. Vyatka, 1903. Available at: <http://feb-web.ru/feb/izvest/1976/04/764-308.htm>. (Accessed: 25th May 2009).
13. Kogan L. N. *Sotsiologiya kul'tury* [Sociology of culture]. Ekaterinburg, 1992. Available at: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Sysov_Jazukoznzn/_09.php. (Accessed: 19th August 2010).
14. Emer Yu.A. *Miromodelirovanie v sovremennom pesennom fol'klоре: kognitivno-diskursivnyy*

analiz [World-modeling in contemporary folk songs: cognitive discourse analysis]. Tomsk: Tomsk State University Publ., 2011. 458 p.

15. Akhmetova M.V., Lur'e M.L. Bologoe: "malen'kaya stolitsa mezhdv dvukh stolits" [Bologoe: "a small capital between the two capitals"]. *Otechestvennye zapiski*, 2006, no. 5, vol. 32, pp. 207-217.

16. Tubalova I.V., Emer Yu.A., Text space of City Day and Higher School Birthday: to the problem of holiday world modelling. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*, 2009, no. 2 (6), pp. 11-22. (In Russian).

17. Ermolenkina L.I., Kostyashina E.A., Rezanova Z.I. [Tomsk urban text as a mechanism for modeling the socio-cultural space of the city]. *Rol' sovmestnykh konkursov RGNF i Administratsii Tomskoy oblasti v razviti gumanitarnykh issledovaniy: Materialy nauchnoy konferentsii* [The role of joint calls of the RFH and Tomsk Oblast Administration in the development of Humanitarian Studies: Proceedings of the conference]. Tomsk: Tomsk State University Publ., 2011, pp. 90-96. (In Russian).

18. Rezanova Z.I. Discourse strategies of presentation of national cultural identity. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul'turologiya i iskusstvovedenie – Tomsk State University Journal of Cultural Studies and Art History*, 2012, no. 4 (8), pp. 40-54. (In Russian).

19. Adon'eva S., Gerasimova N. *Sovremennaya ballada i zhestokiy romans* [Modern ballad and cruel romance]. St. Petersburg: Izdatel'stvo Ivana Limbakha Publ., 1996. 416 p.

20. Adon'eva S. B. *Derevenskaya chastushka XX veka* [Village chastooshka of the twentieth century]. St. Petersburg: St. Petersburg State University Publ., 2006. 534 p.

21. Adon'eva S.B. *Pragmatika fol'klora* [Pragmatics of folklore] St. Petersburg: St. Petersburg State University Publ., 2004. 312 p.

22. Ozhegov S.I. *Slovar' russkogo yazyka* [Dictionary of Russian]. Moscow: Russkiy yazyk Publ., 1990. 921 p.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

УДК821.161.1-1Жуковский
DOI 10.17223/19986645/32/7

И.А. Айзикова

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ОППОЗИЦИИ В ФИЛОСОФИИ, ЭСТЕТИКЕ И ПОЭТИКЕ В.А. ЖУКОВСКОГО (ПРОБЛЕМЫ ЭВОЛЮЦИИ)

В статье исследуется вопрос о художественном пространстве и времени в связи с проблемой формирования модели мира в рамках романтического художественного метода. Анализируется картина мира, выраженная языком пространственно-временных представлений родоначальником русского романтизма В.А. Жуковским, прослеживается ее эволюция, обусловленная общей эволюцией художественного сознания писателя, его нравственно-философских, социально-исторических, эстетических воззрений, глубинными эстетическими проблемами развития русской литературы XIX в. в целом.

Ключевые слова: художественные пространство и время, В.А. Жуковский, романтизм, философия, эстетика, поэтика.

Неиссякаемый научный интерес к проблемам пространства и времени в разных областях знания свидетельствует об их масштабе и актуальности. Сегодня можно констатировать, что многие грани этой проблематики в разных науках осмыслены и обоснованы конкретным материалом. В истории литературы и литературоведении мы не беремся указать даже количество исследований на тему «художественное пространство или художественное время» в произведении или в творчестве того или иного автора. Это делает очевидной необходимость постановки ряда новых задач и проблем. Одним из важнейших, на наш взгляд, является вопрос о художественном пространстве и времени в связи с проблемой формирования модели мира в рамках того или иного художественного метода, в частности романтизма. Актуальность такому исследованию придает и материал, к которому мы намерены обратиться. В предлагаемой статье речь пойдет о картине мира, выраженной языком пространственно-временных представлений родоначальником русского романтизма В.А. Жуковским, творчество которого имеет очевидный системный характер и отличается развитием (см., например, работы [1–5]), что позволяет нам осмысливать пространственно-временные концепции Жуковского как многогранную и целостную, закономерно развивающуюся подсистему его творчества, сыгравшую важную роль не только в эволюции писателя, но и в истории русской словесности, романтической в частности.

Думается, верным является утверждение о том, что внимание к категориям пространства и времени, нашедшее отражение на всех этапах творческого пути писателя, соотносящегося в своем развитии с историей русской романтической литературы и даже направляющего ее, есть важнейшая особенность мировоззрения и творчества Жуковского, закладывавшая основы и его твор-

чества, и русского романтизма, у истоков которого он находился. Эти вопросы до сих пор не только не решены, но и, по существу, во всей их полноте и целостности не поставлены. В работах о Жуковском и о русском романтизме они либо носят общий характер, либо относятся к отдельным произведениям (см., например, работы [6–9]).

Опорные пункты концепции мира и человека и художественных форм ее выражения находим уже в раннем творчестве Жуковского (1797–1806 гг.), когда происходило становление его личности и поэтической индивидуальности, которое сразу пошло по двум путям – поэзии и прозы. Если рассматривать произведения этих лет в совокупности, то можно установить, что внимание Жуковского было сосредоточено именно на категориях пространства и времени, напрямую связываемых автором с выработкой принципов изображения нового типа личности, находящейся в постоянном процессе самопознания и самосовершенствования, что и определяло пришедший на это время переход русской литературы от сентиментализма к романтизму.

В этом плане чрезвычайно показательно, что «отсчет как в поэзии самого Жуковского, так и в истории новой русской поэзии вообще» [3. С. 49] начинается с перевода элегии Т. Грея «Сельское кладбище» (1802 г.), уже заглавие которой ориентировано на топоним, весьма значимый для молодого Жуковского (и, соответственно, для раннего русского романтизма). За переводной элегией последовала первая оригинальная элегия «Вечер» (1806 г.) с не менее программным названием¹. Если «Сельское кладбище» демонстрирует сознание лирического героя, отличающееся метонимией пространства (в его картине мира все взаимосвязано, сближено, представляет мир как универсум, исчезающий в «туманном сумраке», чтобы возродиться с зарей в полноте своих вечных законов), то в элегии «Вечер» можно говорить о метафорике художественного времени, характеризующей всё живое как постоянно движущееся и изменяющееся: *ручей вьется по светлому песку, Муза склоняется на пенные воды, солнце закатывается за горой, отражение «града» в зеркале воды колеблется, «последняя в реке блестящая струя с потухшим небом угасает»* и т.п.

Дополняя друг друга, эти элегии передают представления начинающего поэта о пространственно-временной картине мира, в которой всё живо, взаимосвязано и находится в постоянном изменении. Пространство и время в общем лишены пока связи с реальностью, созданы для выражения авторской концепции мира-универсума (материально-духовного) и человека в нем. Вместе с тем здесь рождается принципиальный интерес поэта к внутреннему пространству и времени человека через изображение его восприятия внешнего мира. Это – пространство и время сознания, памяти, воображения лирического героя. Константы этой картины: бесконечность, открытость, таинственность, многогранность, вертикальная ось, непрерывность, целостность, текучесть (отсюда универсализм, заложенный в основу русского романтизма,

¹ Если же быть абсолютно точным, то следует назвать первое опубликованное стихотворное и прозаическое произведения Жуковского, датируемые 1797 г., заглавия которых тоже обозначены пространственно-временными координатами: «Майское утро» и «Мысли при гробнице», в которых образы времени и пространства представлены, в соответствии с классицистической эстетикой, в аллегорическом плане.

который скоро будет дополнен философией двоемирия): «Сию задумавшись; в душе моей мечты; / К протекшим временам лечу воспоминаньем... / О дней моих весна, как быстро скрылась ты / С твоим блаженством и страданьем! Где вы, мои друзья, вы, спутники мои? Ужели никогда не зреть соединенья?» [10. Т. 1. С. 76].

Назовем характерные для раннего Жуковского образы пространства и времени: кроме упомянутых уже сельского кладбища, майского утра и вечера, это опустевшая деревня, «мрачная келия обители святой», «мгла пустынь, ужасных и забвенных», «тихая ночь при свете бледных луны», бегущее в неизвестность «счастье дней», «спокойный шалаш», куда вечером возвращается «усталый земледел», где «в объятиях природы», «под кровом тишины» мечтает лирический герой и т.д. Это метафизическое время и универсальное безграничное и бесконечное пространство, созданные, с одной стороны, еще в духе просветительской концепции мира, но с другой стороны, уже деконструируемые и возрождаемые сознанием лирического героя, объективные и одновременно субъективные.

Те же представления формируют картину мира в первых прозаических сочинениях Жуковского с красноречивыми заглавиями: «Мысли при гробнице», «Мысли на кладбище», «Надежда» и др. (1798–1799 гг.). Эпическое прошлое, вечность – один из пределов работы сознания героя. Герой-нарратор в «Мыслях при гробнице» и «Мыслях на кладбище» перед лицом вечности чувствует «ничтожность всего подлунного», вселенная представляется ему гробом. Вечную, по сути, вневременную ситуацию войны и мира переживает герой-нарратор в статьях «Мир и война» и «Истинный герой». Универсальную модель земной жизни человека выстраивает в своем сознании герой «Жизни и источника» и статьи «К надежде».

Не менее важен для героя всех миниатюр и другой временной полюс – незавершенное и незавершаемое, уходящее в будущую вечность настоящее. Так, в «Мыслях при гробнице» перед читателем раскрывается лунная, безмолвная ночь, которая могла бы быть воспринятой как некая аллегория вечности, но картина наполнена жизнью, бесконечным движением. Так видит и чувствует ее герой, который не может «сомкнуть глаз своих» в эти минуты и которому «чуждо всеобщее успокоение». То же наблюдается и в статье «Мир и война», в которой все описания строятся на глаголах настоящего времени и прошедшего незавершенного: *звучали, засверкали, развеваются, осеняют, глас раздается, молнии летят, меч рассекает воздух, со свистом упадет, броня зыблется, кровь струится, земля дрожит* и т. д. В «Жизни и источнике» запечатлена вечная и в то же время неповторимая ситуация восхода солнца, когда со стремительной скоростью преображается все: вершины гор покрываются румянцем, день «на крыльях зефиров взлетел на лазурный свод неба», «Морфей отлетает в царство теней», сны, «подобно рою пчел», следуют за ним, роса блестит и «мало помалу исчезает на листьях», жаворонок «стремится в высоту неба». В статье «К надежде» центральным оказывается образ надежды, назначение которой – показывать человеку в настоящем будущее, вечное. В «Мыслях на кладбище» настоящее практически неуловимо, так как все находится в вечном движении: «ночь наступает», «луна медленно подымлет бледное чело свое», «луч ее пробирается в дремлющий лес», «тре-

пешет», «преломляется» в облаках и «тихо несется долу», «тени блуждают», и даже «молчание, овеванное мраком, величественно несется». В «Истинном герое» запечатлен момент захода солнца. Вновь подчеркивается пограничное состояние природы и человека: «ночь на крыльях тишины спустилась», «луна в кротком сиянии катится по синему своду небес», «трепещет» «в струистом кристалле» ручья и т. п.

В области пространства героем-нарратором также выстраивается вечная иерархическая вертикаль, но она дополняется личностной горизонталью. Во всех статьях в первую очередь взгляд героя обращается к небу («Уже ночь раскинула покров свой, и серебристая луна явилась в своем велелепии»; «Солнце торжественно появлялось на горизонте»; «Последний луч зари угасает» и т. п.), а затем опускается к земле («сон ниспускается на землю»; «земля дрожит под тяжкими стонами»; «Молчание <...> несется на землю»; «ночь спустилась на землю»). Вертикаль небо – земля может быть многоступенчатой. Так, в статье «Жизнь и источник» взор героя-нарратора постепенно спускается с неба к вершинам гор, к деревьям. Потом появляется топоним «высший холм», с высоты которого герой видит пестрый луг, ручей, омывающий подошву пригорка, траву. При этом важно отметить, что направление точки зрения нарратора не бывает однолинейным. Перед читателем непредсказуемое перемещение взгляда героя: от солнца, горизонта – к вершинам гор; вслед за Морфеем он уносится в царство теней, возвращается к «блестящему царю светил», обращается к испаряющейся с листы росе и вновь устремляется за жаворонком в «высоту синего неба» и т. д. Герой наблюдает одновременно за ниспадающим сверху потоком и за источником этого потока – светлым ручейком, который зарождается «под нежными сводами душистых цветов» и «вдруг по голому неровному утесу, кипя, низвергается в море, и струи его пропадают там так, как часы в вечности» [10. Т. 8. С. 26]. Именно взгляд героя-нарратора позволяет связать в единое целое вертикальное и горизонтальное пространство и главное – увидеть их единство и передать ощущение мира как целого, универсума.

Эпический поиск героем истины будет редуцирован до одного мгновения, но в то же время он будет изображен как процесс. Все статьи начинаются с ощущения героем разочарования, одиночества, тоски. Нарратор «Мыслей при гробнице», пережив восхищение красотой, гармонией природы, оказавшись у гробницы, испытывает страх, который переходит в «некоторую томность». Ужас, тоска – в душе героя «Мира и войны», рассматривающего поле брани. Покой, восторг перед живой картиной природы сменяются меланхолией и грустными мыслями о скоротечности жизни у героя-нарратора в «Жизни и источнике». Ситуация потери душевного равновесия, ощущения гармонии с миром начинает статьи «Мысли на кладбище», «Истинный герой». Причем переживания героя не сводятся к сугубо личному событию (оказался у гробницы, на поле брани и т. д.), они связываются с состоянием мира и ощущением, осознанием этого героем. Такие мысли и переживания могут быть адекватно поняты только на фоне эпического мотива вечности и изменчивости всего в мире. Также соотносится с эпическим архетипом – поиском – момент самосознания героя и осознания им мира. Это – решающее столкновение героя с чужим, незнакомым для него пространством: хаосом,

смертью, природой, где нерасчленимы конец и начало, верх и низ. Это – своего рода испытание, инициация, ситуация эпических предков. Герой, пусть только на один миг, поднимается до уровня космоса, пытается проникнуть в тайны бытия. Итог такого испытания (вопрошания) – чаще всего открытый финал текста (что иногда выражается многоточием), постижение универсальности и безграничности мира и человека, примирение героя с объективными законами бытия, которые никогда не совпадают с их субъективными толкованиями.

Выходящие за рамки определенной жанровой модели, ранние прозаические статьи Жуковского являются выражением его собственной философско-литературной программы. Последователь просветительской концепции человека, разделявший мысль о человеке как части целого (природы, общества), Жуковский вместе с тем настаивает на идее индивидуальности, неповторимости человеческой личности и ее взгляда на мир. В основе того и другого общий закон бытия – движение. В дальнейшем именно это станет фундаментом для Жуковского, осваивающего мир и человека в их пространственно-временной данности.

Чуть позже, в начале 1800-х гг., Жуковский впервые обращается к осмыслению и изображению исторического времени, национально обозначенного пространства, повествовательного, событийного (фабульного и сюжетного) хронотопа, что было связано с работой над такими его произведениями, оригинальными и переводными, как повесть «Вадим Новгородский», «Вильгельм Телль», «Ильдегерда, королева норвежская», «Розальба. Сицилийская повесть» и перевод романа Сервантеса «Дон Кихот», выполненный через французский перевод-посредник Флориана. С этим, в свою очередь, оказались связаны процессы интеллектуализации, философизации, эпизации прозы поэта, становление ее гражданского и нравственного пафоса.

Так, в основе переводной повести об Ильдегерде – события из легендарной истории Дании, Норвегии и Швеции. Военно-историческое повествование, сцены, передающие национально-исторический колорит, переплетаются здесь с изображением личных судеб героев, которые последовательно связываются с судьбой государства, нации. Уже тема выбранной для перевода повести, ее проблематика, сюжетно-композиционный строй свидетельствуют о представлении Жуковского об истории как о постоянном изменении в жизни отдельного человека и всей нации. Сюжет исторической повести «Ильдегерда» отличается многособытийностью и динамичностью. Примечательно, что в переводе точно воспроизведен весь самый сложный ход событий. Интересно и то, что здесь соблюдена их прямая хронологическая последовательность. Время в исторической повести (и в подлиннике, и в переводе) линейное. Как известно, именно идея линейности истории сыграла ведущую роль в историческом сознании конца XVIII – начала XIX в., будучи органически связанной с культурой эпохи Просвещения и предромантизма (см.: [11, 12]). Источником всепроникающей динамики в исторической повести об Ильдегерде являются не столько общественные проблемы или политика, сколько столкновение вечных и общечеловеческих нравственных основ бытия: добра и зла, верности и предательства, чести и коварства, любви и ненависти и т. д. Судя по переводу, Жуковский акцентирует мысль о том, что история и нравствен-

ность – две вещи неразрывные. Потому в центре исторической повести у Жуковского, как и в исторических повестях Карамзина, оказываются не исторические события как таковые, а отдельные личности, их мораль и психология, страсти. Ход истории в «Ильдегерде» Жуковского осуществляется, безусловно, в душах героев.

Перевод «Розальба», появившийся в творчестве Жуковского на почве его увлечения оссианической поэзией, «кладбищенскими элегиями», был, по сути, первым опытом Жуковского в жанре фантастической (таинственной, как ее принято было называть в начале XIX в.) повести. Она, в свою очередь, подготавливала этап его творческих поисков в лирике – в его излюбленном жанре баллады, принесшем в русскую литературу романтизм. И хотя для переводчика подзаголовок произведения – «сицилийская повесть» – оказался важен не столько в связи с насыщением текста национальным колоритом, сколько с возможностью введения психологических мотивировок характера главной героини, самое главное открытие в переводе было сделано – это общая, особая «таинственная» атмосфера мироздания, в осмыслении и изображении которой и проявляются в первую очередь зачатки новой эстетической системы. В «Розальбе» представлен неповторимый художественный мир, во многом новый для русской прозы. Это мир, в котором уже произошел сдвиг в мировосприятии. Он определяется отходом от рационалистического отношения к жизни, человеку, времени и пространству как к чему-то упорядоченному, раз и навсегда данному. Не случайно Жуковский столь тщательно перевел вставные новеллы «Розальбы», в которых развивается параллельный основному сюжет о надличной силе, способной изменить мир и место человека в нем кардинальным образом.

Формирование модели мироздания Жуковского давало мощный стимул формированию средств выражения его онтологии, историософии, антропологии. Этим отмечен следующий период его творчества, связанный с редактированием журнала «Вестник Европы», на страницах которого, по справедливому утверждению исследователя, «был совершен переворот в русской литературе» [13. С. 115], ее переход к романтизму. С одной стороны, журнальная поэзия и проза Жуковского демонстрирует его нарастающий интерес к возможности раскрытия в литературе внутреннего пространства человека, с чем связано развитие в русской поэзии и прозе психологизма. С другой стороны, Жуковский, с его романтическим, универсальным взглядом на мир, настойчиво ищет принципы соотношения «внутреннего человека» и окружающей его реальности, с ее пространственными и временными характеристиками.

В прозе «Вестника Европы» пространственно-временная картина мира представлена, во-первых, в так называемых промежуточных жанрах бессюжетной (философской) прозы (путешествие, письмо, литературный портрет) и в целом ряде повестей, а во-вторых, в поэзии. Журнальная проза промежуточных жанров уже явно обращена к физическому, природному времени и пространству, к исторической и национальной специфике хронотопа, к сопоставлению разных пространств и времен, но в конечном итоге она ориентирована на проблему моральной и психологической сложности личности и ее пространственно-временных отношений с миром. Так, в «Письмах Миллера к Бонстеттену», посвященных философии истории, практически все во-

просы (смысл исторического развития, его первопричины и средства, роль человека в истории и т.д.) решаются в нравственно-психологическом аспекте. В переводе «Характер Марк-Аврелия», из «Истории упадка и разрушения Римской империи» известного английского историка Эдварда Гиббона, представлена фигура реального исторического лица, римского императора Марка Аврелия, которая важна Жуковскому прежде всего для иллюстрации обобщенного образа просвещенного и высоконравственного правителя. В переводе «Образ жизни и нравы рыцарей», сделанном из «Гения христианства» Р. Шатобриана, в описании исторического события, сражения при Пуатье, состоявшегося 19 сентября 1356 г. между английской армией Эдуарда Чёрного Принца (Эдуард Вудсток, «Чёрный принц», 1330–1376, принц Уэльский и Аквитанский) и французскими войсками короля Иоанна II Доброго (1319–1364, второй король Франции из дома Валуа с 1350 г.), во время Столетней войны, особое внимание уделяется легендам, сложившимся вокруг фигуры Черного принца, несущим сильный нравственно-этический заряд. Переводная рецензия на «Путешествие во внутренность Африки» шотландского исследователя Мунго Парка (1799) посвящена личности и деятельности путешественника, образ которого, по замечанию Н.Ж. Ветшевой, «строится как концепция жизни-странствия человека, облеченного великой целью познания и открытия мира под защитой благого провидения» [10. Т. 10. В печати]. Примеры можно приводить и далее.

Обращаясь к художественной части прозы «Вестника Европы», следует отметить, что пространственно-временная организация художественного целого в них позволяет читателю проникнуть на мифопоэтический уровень текста, постичь авторский миф о человеке. Развитие действия в переводных и оригинальных повестях Жуковского, опубликованных в журнале, связано с нравственно-психологической нюансировкой конфликта человека с миром, временем, пространством. Внешнее событие оказывается в них поводом к развитию «внутреннего» сюжета, в связи с чем художественное пространство и время, скорее, являют собою архетипы или принципиально субъективные образы, передающие переживания личности, находящейся в определенном пространстве в определенное время. Героям всех повестей, где бы и когда бы они ни находились, приходится делать трудный нравственный выбор, причем в ситуации универсального сдвига, нарушения мирового порядка, изначальной гармонии – и это оказывается для Жуковского главным.

В повестях Жуковского выстраивается весьма примечательная система хронотопов. Важнейшими пространственно-временными формами проживания человеком своей жизни у Жуковского являются дорога, дом и граница, мифологемы, значение которых трудно переоценить в дальнейшей русской прозе. Дорога, будь то проселочный тракт, узкая тропинка в лесу («Ожесточенный»), в поле или в парке («Мария»), путь, ведущий героя на родину или, наоборот, уводящий его из родных мест («Дорсан и Люция», «Эдуард Жаксон, Милли и Ж.Ж. Руссо»), характеризуется, главным образом, бесконечностью, извилистостью и наличием идеальной, иногда даже не осознаваемой героем цели. Варианты второго хронотопа также разнообразны: хижина («Марьяна роща»), родовое имение («Мария»), королевский дворец («Истинное происшествие»), трактир («Привидение»), тюрьма («Ожесточенный») и

т.д. Пространство дома в повестях Жуковского чаще всего, как и дорога, место неожиданной встречи героя с другим сознанием, но что самое главное – с другим самим собой. Модификации хронотопа границы, во многом составляющего специфику сюжета в романтической балладе, представлены тоже достаточно широко: берег реки («Марьяна роща»), граница леса, владения («Ожесточенный»), государства («Дорсан и Люция», «Прусская ваза»), порог дома. Все это – фиксация сложности эмоционально-психологических нюансов характера героя, его «переходного» состояния, ситуации его нравственного выбора.

Эти хронотопы заметно мифологизированы в повестях Жуковского. Прежде всего, важно отметить время действия. Так, все свои преступления Христиан Блемер совершает в темном лесу, из крепости же он освобождается ранним утром, видит в отдалении церковь и слышит звон колоколов. Любимое время прогулок для героя повести «Мария» – раннее утро или вечер. Все события в повести «Розы Мальзерб» происходят ранним утром. Услад признается Марии в любви тихим вечером («Марьяна роща») и т. д. Утро и вечер – пограничные состояния природы, время ее перехода от тьмы к свету и наоборот – последовательно передают в повестях очень важную для Жуковского идею духовного развития, совершенствования человека как сложнейшего, неповторимого, во многом таинственного внутреннего процесса борьбы вечных нравственных начал. Повесть «Горный дух Ур в Гельвеции» отличается «мерцающим», находящимся на грани реального и ирреального хронотопом. Героиню против ее воли ведут венчаться в церковь ранним утром, при ярком свете солнца. Софрония абсолютно спокойна и даже весела, потому что «тайное намерение не дожить до следующего утра» уже утвердилось в ее душе. Все дальнейшее действие происходит в атмосфере неожиданно начавшегося и стремительно происходящего погружения во тьму. «Небо начинает покрываться тучами; на горах заревел вихорь – и вот ударил сильный гром», «час от часу чернее становилась ночь и час от часу ужаснее гремело на высотах горных», вместо брачного пения в церкви раздаются «жалобные стоны», церковь дрожит, священник в ней так и не появился, из церкви никто не отваживается выйти, так как с небес поливает «смертоносный каменный дождь». Так восстанавливается справедливость – гибнут все, кроме Софронии, которую из-под обломков церкви спасает возлюбленный. В «Привидении» действие происходит в полночь. Комната трактира наполнена лунным светом, тихими шорохами, через открытое окно в нее вливается тихое пение, приносимое издалека вечерним «ветерком». Герой ощущает легкие, как будто воздушные прикосновения, слышит нежный тихий голос. Здесь повествование подчиняется передаче другого внутреннего состояния героя, но он тоже находится на «границе», в ситуации перехода в ирреальное пространство и время.

Как правило, настроения, внутренние состояния героев охватывают весь мир, распространяясь от находящегося в центре человека и возвращаясь к нему же от периферии. В повести «Дорсан и Люция» страдание, внутреннее беспокойство исходят от покидающей родину Люции, приводя в крайнее напряжение повествователя и весь мир, их окружающий (корабль качается, свет лампы дрожит и, кажется, сейчас угаснет). И тут же мы видим перетекание

страдания и беспокойства из внешнего мира во внутренний – описанная выше атмосфера заставляет вновь вспомнить о прошлом, о том, что в настоящем они с Дорсаном – изгнанники. В конце фрагмента появляется образ бурного безграничного моря, обманчивого, как будущее, как судьба.

В повестях из «Вестника Европы» трудно провести четкие границы между верхом и низом, далеким и близким, замкнутым и разомкнутым, дневным и ночным, светом и тьмой, мгновением и вечностью. Так, церковь может провалиться чуть ли не в преисподнюю («Горный дух Ур в Гельвеции»), комната трактира в повести «Привидение» наполнена дальними и близкими звуками, образами того и этого мира. Герой «Марьиной роши» Услад находится практически одновременно в настоящем и прошлом, отчего повествование, ведущееся в прошедшем времени, легко сменяется повествованием в настоящем времени, максимально близком к лирическому произведению. Время для Теаны после гибели Эльфриды вообще остановилось («Теана и Эльфриды»). Таким образом, если говорить о повестях Жуковского как художественном целом, то в них можно прочитать некий миф о вечном и постоянном стремлении человека к возрождению, в пространство идеала, недостижимое без самопознания, без ошибок и испытаний, встречающихся человеку на этом пути и возвращающих его к идее самостроения. На таком конфликте, усложнившем универсальную картину мира, на философии двоемрия, т.е. понимания мира сквозь резкие пространственно-временные оппозиции, наполненные глубоким нравственно-этическим, онтологическим, гносеологическим, аксиологическим смыслом («здесь», «сейчас», характеризующие реальную действительность, и «там» и «потом», представляющие мир идеала), строятся и все баллады Жуковского («Людмила», «Светлана», «Варвик», «Баллада о старушке...» и др.), определявшие лицо его поэтического творчества 1808–1815 гг., периода становления романтической философии, эстетики и поэтики.

Вторая половина 1810-х – 1820-е гг. в творческом развитии Жуковского и русского романтизма являет собой, по определению А.С. Янушкевича, «эпоху романтических манифестов». На это время приходится увлечение Жуковского философией и эстетикой раннего немецкого романтизма (Тик, Новалис, Шеллинг, Жан-Поль) и создание таких программных сочинений, как «Славянка», «Невыразимое», в которых очевидна процессуализация и символизация пространственно-временной модели мира, выразившаяся знаменитой формулой: «Что шаг, то новая в моих глазах картина». Элегическое описание в «Славянке» прогулки поэта по живописным берегам этой речки, протекающей в Павловске, стало, по словам В.Г. Белинского, «верхом дивного искусства» влагать в изображение картины мира «романтическую жизнь», идею сущностного, таинственного, прозреваемого избранной личностью поэта в минуты вдохновения, равного откровению. Описательное стихотворение «Невыразимое», рисующее картины того же Павловска и имеющее характерный подзаголовок «Отрывок», обращающий к романтической идее вечной устремленности человека в недостижимое пространство идеала, передает еще и концепцию «невыразимого» как мистического (в понимании Л. Тика, Вакенродера, братьев Шлегелей) переживания мира, его живой, неуловимой,

таинственной и непередаваемой человеческим словом пространственно-временной модели.

В 1810–20-е гг. у писателя зреет убежденность в необходимости поиска новых путей развития русской литературы, которое связывалось им с актуализацией ее философичности, в связи с чем он обращается к исходным формам философствования, к дидактико-аллегорическим, наивным фольклорным жанрам с их фольклорным, мифологическим представлением о пространстве и времени (баллады «Мщение», «Три песни», «Гаральд», «Замок Смальгольм», «Торжество победителей», стихотворные повести, например «Пери и Ангел», переводы романсов из «Сида» Гердера, «Разрушение Трои» – перевод второй книги эпической поэмы «Энеида» Вергилия; в прозе это притча, сказка, басня, анекдот). Так, в архиве писателя сохранилось несколько тетрадей с рассказами, предназначавшимися его ученице великой княгине Александре Федоровне для чтения и перевода с русского языка на немецкий. Все эти материалы можно датировать концом 1817–1819 г. Тетрадь № 93 содержит 9 басен в прозе. Еще в трех тетрадях (№ 95, 96, 98) записано 10 назидательных новелл без названия. Наконец, в двух тетрадях (№ 94-1 и 94-2) записаны «Библейские повести». Жуковский добивается толкования всех элементов повествования в этих произведениях – звеньев сюжета, героев, хронотоп – в философско-символическом плане.

В силу этого в баснях, например, отпадает необходимость «украшения» «морального урока». Время и место действия в них дается с минимумом подробностей, но каждая деталь при этом служит средством раскрытия смысла. Так, действие басни «Соловей в клетке» происходит в «великолепном жилище богатого и знатного человека», в которое зашел однажды один крестьянин, где и увидел золотую клетку с соловьем, который пел свою печальную песню. «Великолепному жилищу», «золотой клетке» противопоставлены естественно свободное пространство полей и рощ, посреди которых «соловьи возвещают славу обновляющейся природе», наполняют «тихой радостью и удивлением» душу крестьянина, который с удовольствием возвращается из «великолепного жилища» «в сельскую свою хижину, к мирному своему полю». Такая пространственная оппозиция имеет «сокровенный смысл», связанный с руссоистской концепцией естественного человека, от природы наделенного нравственным инстинктом и свободной нравственной волей. Примечательны и такие детали: действие этой и других басен происходит «однажды», в них участвуют «один крестьянин», «один поселянин», «одно насекомое», «один бык и одна собака» и т.д. Конкретный «пример», описанный в басне, выводится за рамки конкретного времени и пространства, приобретая общечеловеческий, непреходящий смысл.

В «Библейских повестях» создается некая универсальная картина мира, в которой, при наличии первоисточника, не менее важны и все остальные ее составляющие, в которой всё и все взаимосвязаны и взаимодействуют. Кроме того, в силу непознаваемости первоосновы мира «космос» «Библейских повестей» покрыт ощущением сокрытого во всем конечном, видимом бесконечного, божественного начала, которое невозможно передать методом простого «называния». В мире «Библейских повестей», где автором воссоздается, говоря словами П.А. Флоренского, «бытие, которое больше самого себя»

[14. С. 287], вера напрямую связана с философией, этикой, психологией, конкретность – с ассоциативностью, субъективное – с объективным, что и потребовало от Жуковского обращения к символам, к образно-символическим параллелям, активно осваиваемым писателем в поэзии в силу их способности выразить «невыразимое». Именно поэтому наполненные глубоким религиозно-нравственным, философским содержанием поистине эпического масштаба, «Библейские повести» Жуковского отнюдь не напоминают проповедь. Взгляд автора-повествователя, отличающийся универсальностью, представляет читателю яркие, детально выписанные картины, в которых каждая подробность, в том числе и пространственно-временная, несет на себе черты целого. Повести создаются как живые картины жизни, в которой нет ничего второстепенного, случайного и однозначного.

Конкретная ситуация, образ в притче, как известно, приобретает значение общечеловеческое, вневременное, что и использует в полной мере Жуковский-прозаик в своих переложениях библейских притч, где символ становится принципом построения текста. Притчевый библейский текст как никакой другой показывал писателю, что «имя вещи есть сама вещь, хотя и отлично от нее» [15. С. 156], поскольку в нем идеи не просто облечены в образы, в нем, по утверждению А. Меня, «звучит голос вечности, преломляясь через сознание и слово конкретных людей, находящихся в лоне живой духовной традиции» [16. С. 24]. Отсюда особая пространственно-временная организация повестей, когда прошлое, единичное, прикрепленное к конкретному пространству вместе с тем устремлено в вечность и пространственную бесконечность, отсюда и особый «космос», по сути, каждого образа, каждого мотива «Библейских повестей».

Ко второй половине 1810-х гг. относится и обращение Жуковского к жанру сказки, в котором, по сравнению с басней, была приглушена откровенная дидактика. Жуковским были переведены пять волшебных сказок из сборника Я. и В. Гримм «Kinder- und Hausmärchen» («Волшебница», «Рауль Синяя Борода», «Колочая роза», «Братец и сестрица», «Милый Роланд и девица Ясный Цвет») и волшебная же «Красная шапочка» Ш. Перро. Все они отчетливо демонстрируют органичную близость восприятия и изображения мира в сказке романтическому мышлению Жуковского. Интересно, что именно в это время Жуковский-поэт обращается к переводам идиллий И.П. Гебеля, в которых он попытался усилить эпическое звучание сообщением повествованию черт народности в гердеровском понимании (см. работу [17]). «Овсяный кисель» и другие «сельские стихотворения» Жуковского передавали характерную для народной концепции мира, патриархальной по своей сути, идею соотносимости жизни людей и жизни природы, их органического единства. Примечательно, что в своих переводных идиллиях поэт сохраняет повествование от лица рассказчика-«сказителя», самовыражение которого происходит в самом процессе размеренного детального рассказывания, когда раскрывался символический образ бытия, его пространственно-временной модели в обыкновенном и будничном – поэзия и смысл жизни. Жуковский сосредоточивается на синтезе эпического воссоздания бытия и его индивидуального переживания.

В переводах Жуковский попытался воспроизвести сам способ мышления сказителя. Прежде всего, он сохраняет в сказках как «постоянную величину» идею жизненного пути героя, которая, как известно, определяет структуру сказки. Он очень внимателен также к сказочной модели нравственного мира, утверждающей победу добра над злом. Все переведенные Жуковским сказки заканчиваются хорошо для положительных героев и плохо – для отрицательных. Фантастические и героические трактовки событий, логически последовательное их изложение, невозможность совмещения нескольких действий, происходящих одновременно в разных местах, эмпиричность пространства и абстрактность времени, соотносимость жизни людей и жизни природы, осознание их органической целостности – все эти древнейшие законы сказочного повествования строго соблюдены Жуковским. В его сказках, параллельно идиллиям, прозаическим басням, делались первые шаги к художественному открытию, которое имело огромные последствия. Это было открытие символического образа бытия, взятого в его пространственной и временной протяженности, в обыкновенной и будничной, прозаической жизни, связанное прежде всего с образом автора.

Именно прозу Жуковский все решительнее поворачивает в это время в сторону реальной действительности, реального времени и пространства – прежде всего с целью выявления ее онтологической сути или, как позднее сам писатель выразится, «существенности». Художественный вымысел все меньше и меньше интересует Жуковского-прозаика, его влечет эстетизация внеэстетического материала, в корне поменявшая всю систему эстетики и поэтики его прозы и развитие русской классической прозы. Особенно значительной Жуковскому-прозаику представляется сейчас внутренняя жизнь человека в ее конкретном и неповторимом, биографическом и хроникальном плане. Жуковский обращается в это время к описанию фрагментов своей реальной жизни как сложного и многогранного процесса. В 1820-е гг. создаются, на основе личных писем, такие шедевры, как «Рафаэлева «Мадонна», «Путешествие по Саксонской Швейцарии», «Отрывки из писем о Саксонии» и другие сочинения, которые выливаются в предельно точные в пространственно-временном отношении описания и одновременно в философско-эстетические программы, которые уже современниками писателя воспринимаются как высочайшие образцы художественной прозы, отмеченной тончайшим психологизмом и символизмом.

В названных сочинениях был реализован тип романтического сознания и как основа образа героя-нарратора, и как художественная форма. Центральные события произведений протекают в совершенно определенном времени и пространстве, которое обозначено не только в названии, но и внутри текста. Обратимся, например, к «Путешествию по Саксонской Швейцарии». Текст разделен на части, озаглавленные названием географической местности. Начавшись в Дрездене, путешествие проходит по горам Саксонской Швейцарии летом 1821 г.¹ И вместе с тем перед нами как бы удвоенное по вертикали по-

¹ То же самое видим в «Отрывках из писем о Саксонии»: первый фрагмент идет с подзаголовком «Дрезден. 1821 г.», второй – «(В 1821 году)». «Отрывки из письма о Швейцарии» подписаны: «Штутгарт. 2 (14) октября 1821».

вестование, в котором любое описание есть некая самоценная конкретная зарисовка и в то же время оно – знак другого движения, восхождения автора-повествователя к другому миру, вечному и бесконечному.

Не случайно «Путешествие» открывается такой фразой: «Время было несколько туманно». Не менее показательна и последняя фраза текста: «Было гораздо за полночь». Нарратор, он же герой и автор, действительно, движется из некоторой неопределенности, «туманности» через конкретное время, которое внутри текста постоянно обозначается будничными, прозаическими, реальными деталями (время обеда, солнце закатилось, солнце встало, через полчаса и т. д.), к «рассвету», т. е. к свету, но опять неполному. Пространственно его путь замыкается в круг («оставили Дрезден» – «возвратились в Дрезден»), оказываясь конечным и бесконечным одновременно. Путь героя-нарратора состоит из *восхождений* на утесы и *спусков* в ущелья. Всякий раз для читателя рисуется конкретная картина, несущая, однако, универсальный смысл. Так, утес, гора, высокая терраса – это царство неба, красоты, гармонии, радости, душевного покоя: «С этой крутизны имели мы почти такой же вид, как и с Klein Winterberg, но впечатление, которое он сделал над нами, было точно похоже на радость: прояснившееся время прояснило и душу. Воспоминание о Prebisch Thor есть самое приятное из всех, оставшихся мне от Саксонской Швейцарии. <...> за этими близкими и зеленеющими горами стоят, как привидения, далекие, синие, и над всем этим неописанным разнообразием гор <...> вообразите тот же чудесный туман, волнующийся, летающий <...> иногда вдруг он совершенно сгущался, и в эти минуты казалось, что стоишь на краю света, что земля кончилась и что за шаг от тебя уже нет ничего, кроме бездны неба» [18. С. 340].

Именно здесь нарратором переживаются самые высокие мгновения душевной жизни, непередаваемые словом. Здесь сливаются прошлое и настоящее, гася противоречия друг в друге, будничное оказывается прекрасным, в сущем прозревается должное, в земном – небесное. Переживания героя-нарратора определяются ощущением полной гармонии, которая вдруг вошла в него на этой горе и открыла ему тайну бытия – его универсальность, тождественность одного всем и всех одному, существование бесконечного во всем конечном, высокой поэзии и глубокой философии в прозаической повседневности. Предметом постоянных размышлений путешествующего героя-нарратора, который берет на себя функции философа, историка, художника, оказываются вечность, красота, гармония, всеединство, постоянное движение, одухотворенность материального мира и невозможность передать все это словом: «Как жаль, что надобно употреблять слова, буквы, перо и чернила, чтоб описывать прекрасное! Природа, чтоб пленять и удивлять своими картинами, употребляет утесы, зелень деревьев и лугов, шум водопадов и ключей, сияние неба, бурю и тишину; а бедный человек, чтоб выразить впечатление, производимое ею, должен заменить ее разнообразные предметы однообразными чернильными каракулями, между которыми часто бывает гораздо труднее добраться до смысла, нежели между утесами и пропастями до прекрасного вида» [18. С. 334].

Таким рассуждением начинает повествователь свое описание утеса Die Bastey. «Чернильные каракульки», по его мнению, лишают картину целостно-

сти, поскольку невозможно необъятное вместить в некоторые границы: «Каждый из этих предметов можно назвать *особенным* словом, но то впечатление, которое все они вместе на душе производят, - для него нет выражения; тут молчит язык человека, и ясно чувствуешь, что прелесть природы в ее невыразимости!» [18. С. 334]. Чуть раньше, в 1819 г., Жуковский писал об этом в «Невыразимом»¹. «Языку человека», считает повествователь, может быть противопоставлен язык поэта, обладающего даром не только провидения тайного смысла в явном, но и его перевода с языка Всевышнего, природы, на язык человека. Поэту не нужны «особенные», т. е. отдельные слова, ему нужен особенный язык, который может передать единство, беспредельность, глубинную суть, это язык образов-символов.

Основу «Путешествия» составляет путь героя-нарратора, целью которого, по сути, является преодоление границ, соединение существующего изолированно, переведение отдельного в тождественное, временного в вечное. Не случайно, попадая в новую местность, он ощущает его неизвестным и в то же время знакомым. Тропинка от Bastey к Ратевальде «вьется *между такими же камнями*», как и по дороге к Bastey. С Prebisch Tor открывается «*почти такой же вид*, как и с Klein Winterberg», Prebisch Tor «есть *такая же* сквозная пещера, как и Kuhstall, der Brandочень *сходен*» с Bastey. Так что в Лилиенштейнбранде делается следующее замечание: «Не стану подробно описывать вам остального нашего путешествия: *ничто не будет ново в описании*, хотя виденные нами предметы имеют, каждый, много отличного» [18. С. 341]. Главное для нарратора – родство мира, непринципиальность существующих в нем пространственно-временных разделений – уже установлено и выражено. Восхождения-спуски, повторенные нарратором несколько раз, помогли ему прозреть мир и самого себя как носителя его закономерностей. Перед нами постепенно открывается личность художника, поэта, совершавшего внешнее путешествие ради внутреннего, духовного движения и выразившего «невыразимое» – переплетение этих двух путей и, следовательно, целостность своей личности. Путешествие по Саксонской Швейцарии как по пространству мифов, легенд и преданий само мифологизируется, превращаясь в синтетический текст, в котором сливаются миф, эстетика, наука, философия, строящая новую метафизическую и художественную систему.

Сам жанр путешествия предполагает панорамность изображения, которое строится на идее движения. В «Путешествии по Саксонской Швейцарии» Жуковского в движении находится всё. Передвигаются путешественники, течет время, меняются ландшафт, погода и т.д. Но самое главное – необычайно подвижным оказывается внутренний мир нарратора. Таким образом, для Жуковского-прозаика характерно отталкивание от традиционного для эпического произведения изображения устойчивости миропорядка. Отсюда и делала русская проза выходы к новому пониманию ведущего эпического прозаического жанра – романа, который пытался «сочетать изменчивость с устойчивостью» [19. С. 13], эпичность, предполагавшую широту взгляда на мир в свете сверхличных ценностей, с философско-этической концепцией отдельной личности – автора. Личная истина о мире, составляющая главное содержание «отрывков» Жу-

¹ На это указывают ряд ученых: Г.М. Фридендер, А.С. Янушкевич, Э.М. Жиликова.

ковского, завоевывает себе право предстать в эпическом прозаическом произведении как высшая ценность и правда именно в силу того, что она исходит из реального человеческого восприятия жизни.

В 1830–40-е гг. интенсивность творчества писателя еще более очевидно направлена к эпосу, к созданию крупных лиро-эпических произведений в стихах и циклов прозаических сочинений, которые Жуковский в конце жизни собрал в «целый том». Тем самым писатель органично включается в логику развития русской литературы, стремящейся к «скрещению» (Л.Я. Гинзбург) с философией, историей, политикой, эстетикой, что, безусловно, было связано с поисками нового содержания изящной словесности. Продemonстрируем это на примере прозы Жуковского. Уже в начале 1830-х гг. он обращает свой специальный интерес к истории, к философии истории и активно вводит эти проблемы в литературу, складывая новую систему жанров, отличающуюся очень подвижными межжанровыми границами и внутрижанровыми принципами. Так, в 1830-е гг. ведущими жанрами Жуковского-прозаика становятся заметки, воспоминания, очерки. Личное (внутреннее) и публичное (внешнее) пространства, документальное и субъективное время в таких сочинениях, как «Пожар Зимнего дворца», «Черты истории государства российского», «Воспоминание о торжестве 30-го августа 1834 года» и др. принципиально переплетены в одно целое.

Еще в 1816 г. Жуковский писал И.И. Дмитриеву об «Истории...» Н.М. Карамзина, на основании изучения которой были созданы названные выше сочинения: «Эту историю можно назвать воскресителем прошедших веков бытия нашего народа» (цит. по: [20. С. 437]). Собственно, здесь сформулированы основы подхода Жуковского-прозаика к истории и историческому повествованию – воскрешение прошедших веков. Именно этому посвящена статья «Черты истории государства Российского». Она открывается, что очень показательно, большой цитатой из Карамзина, в которой ставится вопрос, представляющийся обоим авторам одним из самых важных и сложных историко-философских вопросов о России: «как земли, разделенные вечными преградами естества, неизмеримыми пустынями и лесами непроходимыми, холодными и жаркими климатами, как Астрахань и Лапландия, Сибирь и Бессарабия, могли составить одну державу с Москвою?» [21. Т. 10. С. 32]. Эта таинственная, трудно постигаемая разумом *целостность, единство* и отличает Россию, вторит далее Карамзину Жуковский. В противовес Н. Устрялову, объявившему в своей брошюре «О системе прагматической русской истории» (1836) древнюю историю «миром исчезнувшим», Н. Полево-му, утверждавшему в «Истории русского народа» (1829–1830), что «государство Русское начало существовать со времени свержения ига Монгольского», Жуковский отстаивает идею «огромного значения древнейшего периода» [22. С. 31] в связи с убежденностью в преемственности поколений как основы естественного плавного развития истории, взаимодействия старого и нового в сознании отдельного человека и общества в целом. Эту же точку зрения находим в статьях Гоголя («О средних веках», «О движении народов в конце V века»), И. Киреевского, настаивавшего, как известно, на том, что русское просвещение получено от Византии и основано изначально на идеях братства.

Большой интерес вызывает начало «Обозрения всемирной истории», да-тируемое началом 1830-х гг. Внимание к данной теме, возникшее почти одновременно у многих современников Жуковского, было связано с целым комплексом проблем – начиная от идеи национального самоопределения России и кончая внутренними конфликтами личности. Так, во второй половине 1830-х гг. А.С. Хомяков начинает работу над «Записками о Всемирной истории», непосредственно связанную, как указывают исследователи, с публикацией в «Телескопе» в 1836 г. «Философического письма» П.Я. Чаадаева, в котором утверждалось, что «мы существуем как бы вне времени, и всемирное образование человеческого рода не коснулось нас. Эта дивная связь человеческих идей в течение веков, эта история человеческого разума, подведшие его в других странах мира до настоящего положения, не имели на нас никакого влияния» [23. С. 508]. Хомяков трактует проблему по-своему: «<...> для человеческой гордости и уважения нашего к самим себе – нам нужно родословие народа». Здесь явные точки сближения с Жуковским, который озабочен поисками «всемирного родословия». В «Обозрении всемирной истории» намечена, хотя изложена и не до конца, вполне целостная концепция истории человечества, в которой устанавливается взаимодействие истории, географии, философии и эстетики.

Ряд статей Жуковского – «Воспоминание о торжестве 30-го августа 1834 года», «Бородинская годовщина», «Пожар Зимнего дворца» – это зарисовки из новейшей русской истории. Замысел описать конкретное событие вырос в них в глубокое по своему содержанию произведение, тонко и поэтично раскрывающее мир мыслей и чувств автора как представителя определенной исторической эпохи. В этом отношении весьма показательна статья 1834 г. «Воспоминание о торжестве 30-го августа 1834 года», в которой описывается день открытия Александровской колонны. Прежде всего, событие общественной жизни сразу же вписывается в статью в широкий и вечный контекст жизни природы. Необходимым элементом поэтики исторического повествования «Воспоминания...» оказываются пейзажи, отличающиеся конкретностью и в то же время особым символично-метафорическим строем: «Все соединилось, чтобы дать сему торжеству значительность глубокую. День накануне был утомительно душен; к ночи все небо задернулось громавыми тучами; воздух давил, как свинец; тучи шумели; Нева подымалась, и был в волнах ее голос; наконец запылала гроза; молнии за молниями <...> как будто стояли над городом <...> и в этом беспрестанном, быстром переходе из мрака в блеск, чудесным образом являлись и пропадали здания <...> и сверкала громада колонны <...> И в этом явлении было какое-то невыразимое знаменование» [21. Т. 10. С. 29].

Внешне очень точное описание благодаря своей образной символике наполняется глубоким философским содержанием, связанным прежде всего с постановкой проблемы надличной силы, ее роли в истории. Все в этом пейзаже выступает как живые существа, действия которых непонятны человеку и воспринимаются им как «невыразимое знаменование». Важнейшей же мыслью описания является идея непостижимой и невыразимой, проистекающей от Бога целостности бытия вообще и наблюдаемого события в частности. Присмотримся в связи с этим специально к типу повествования в «Вос-

поминании...». Личный взгляд органично переходит в общий («я» в «мы»), в одном событии для автора сливается «все наше минувшее». Не случайно описание Александровской колонны дано как бы на фоне другого памятника русской истории – памятника Петру. Автор сумел увидеть их одновременно, соединив тем самым далекие друг от друга эпохи русской истории: «Там, на берегу Невы, подымается скала, дикая и безобразная, и на той скале всадник <...> и этот всадник, достигнув высоты, осадил могучего коня своего на краю стремнины; <...> и ввиду этой скалы воздвигнута ныне другая, несравненно огромное. Но уже не дикая, из безобразных камней набросанная громада, а стройная величественная, <...> и на высоте ее уже не человек скоропребывающий, а вечный сияющий ангел <...> Не вся ли это Россия?» [21. Т. 10. С. 31]. Одним из важнейших символов, кроме образа колонны, оказывается древнейший культурный образ поля, воплощающий Россию. Поле «готово произрастить богатую жатву», «опираясь Западом на просвещенную Европу, Югом на богатую Азию». Оно «богато и бодрым народом, и землею» и со всех сторон защищено Божьей Правдой и «крестоносным ангелом», венчающим Александровскую колонну. Образ поля Жуковский связывает прежде всего с «мыслью народной». Выражение Л.Н. Толстого здесь очень кстати, поскольку его концепция истории как жизни народа очень близка традициям Жуковского. За описанием русского народа и русской армии, в которых Жуковский подчеркивает силу, непобедимость и в то же время упорядоченность и покорность, стоит понимание истории как неостановимого процесса жизни народа, имеющего всеобщий, часто представляющийся отдельному человеку таинственным, высший смысл.

Важное место в «Воспоминании...» отводится фигуре Александра I и связанной с нею теме, которая давно занимала Жуковского, – роли личности в истории. Деятельность Александра рассматривается автором в двух тесно переплетающихся аспектах – в собственно историческом и в нравственном. При этом образ Александра в статье явно романтизирован и мифологизирован: он воплощение победы русской армии над Наполеоном, память о Бородине, о «всенародном Лейпцигском бое, Париже, Наполеоновом гробе», и вместе с тем Жуковский рисует образ великого царя как смиренного, закрывшего свои глаза «в стороне от всякого блеска царской славы» [21. Т. 10. С. 30]. Уже в послании «Императору Александру» (1814), которое, как известно, явилось образцом высокой гражданской лирики, Жуковский отказался от славословия в адрес царя, представшего в послании скорее неким символом нового этапа в истории России. В «Воспоминании о торжестве 30-го августа 1834 года» эта особенность развита. Образ Александра, обращая читателя к русской истории, к тому периоду, который Пушкин назвал «дней Александровых прекрасное начало», наполняется глубоким философским, историософским содержанием, акцентируя внимание на образе единственного вершителя исторических судеб Европы, России и тех, кто ими руководил, на образе Бога. Композиционно статья возвращается в финале к описанию Александровской колонны, которая символизирует, в восприятии автора, основные вехи истории человечества, нации, человека: «своим монументальным гранитом» изображает она то, чего уже нет, а «лучезарным своим крестом» – то, «что всегда и навеки».

Тема Отечественной войны 1812 г., оказавшаяся столь плодотворной для русской прозы XIX в., была продолжена в статье «Бородинская годовщина». Общая картина сражения здесь также складывается из отдельных деталей, неожиданно всплывавших в памяти автора-повествователя. За этими на первый взгляд беспорядочными деталями – широта и глубина автора как художника и как мыслителя, стремящегося к целостному осмыслению и изображению истории. Потому наблюдаемая и изображаемая из одной конкретной пространственной точки («мы стояли в кустах на левом фланге») картина поражает своей эпической многомерностью. В ней намечены самые разные пространственные ориентиры, углубляющие ее смысл: «<...> две армии стали на этих полях одна перед другой; в одной Наполеон и все народы Европы, в другой – одна Россия» [21. Т. 12. С. 53]. Далее выстраивается пространственная вертикаль: небо, то освещаемое солнцем, то темное и ясное, с ярко горящими звездами, и земля, где «накануне сражения все было спокойно», а потом «началась кровавая свалка», в которую были, по ощущению автора, вовлечены все: люди, ядра, пушки, огонь, дым. Причем все это находилось в беспорядочном движении, за которым автор не успевал даже следить и которое всех приводило в ужас. Это было «повсеместное сражение», «повсеместный пожар». Картина пронизывается глубокой философией истории автора. Многие детали прочитываются в ней как многосмысловые символы. Первым среди них следует назвать образ неба, на фоне которого описывается битва и которое остается тихим и безоблачным даже в самый ее разгар. По этому же пути пойдет в своем описании Бородинского сражения Л.Н. Толстой в романе «Война и мир».

В детальном, исторически достоверном изображении Бородинского боя Жуковским создана и особая модель времени. Прежде всего отметим, что «Бородинское дело» изображено во временной протяженности, как процесс. Подчеркивается также, что его восприятие автором и всеми присутствующими изменялось – в сторону нарастания *чувства* страха и отчаяния. Кроме того, оно вписано в большой контекст русской и европейской истории, что позволяет укрупнить его масштаб и передать идею приходящего со временем *осознания* истории и обществом, и каждым в отдельности. Так Бородинское сражение (участие в нем и воспоминание о нем) представляется в статье как важный рубеж и в жизни России, и в личной жизни автора, в становлении его мировоззрения. Не случайно Жуковскому так необходимо ввести в рассказ о своих впечатлениях от торжеств на Бородинском поле в 1839 г. воспоминания о событиях 1812 г. Он пытается соединить в одну линию утро Бородинского боя и утро Бородинского праздника. Это, в его восприятии, два полюса истории и два этапа его отношения к ней, к ее законам. Бородинская битва расценивается автором в 1839 г., как и в 1812 г., безусловно, как победа русского народа, и вместе с тем авторская позиция в отношении войны как исторического события в «Бородинской годовщине» более глубока и многомерна. Мирное утро Бородинского праздника – это «чудная противоположность с тем громом битвы, от которого здесь, за четверть века все здешние окрестности трепетали!» [21. Т. 12. С. 54]. Описание русских войск, собравшихся в день торжеств на Бородинском поле, пронизано идеей упорядоченности, единства и общего, высшего смысла всего происходящего, понятного всем

вместе и каждому в отдельности. Этот смысл передается в сцене молебна, в образе митрополита и государя, возглашающего: «Великому императору Александру Первому вечная память». Именно память о былом превращает собравшихся в «одно братство». В описании торжеств 1839 г. лейтмотивными оказываются слова «все» и «как один»: «все пушки грянули одним залпом», «вся армия грянула единогласно». Голос армии, грянувшей «ура», сливается с выстрелами «в какую-то чудную, потрясающую сердце гармонию».

Эта минута гармонии и соединяет 1839 и 1812 гг., раскрывает смысл каждого из них в отдельности и суть их взаимосвязи: «в залпе пушек и в крике армии мы услышали последний отголосок тогдашней битвы: но этот отголосок был: слава!». Автор изображает себя свидетелем и участником осознания обществом своей истории – величайшего события, созидательного по своей сути и потому не менее значимого, чем знаменитые сражения и военные победы. В финале вновь появляется образ неба, освещающего суть происходящего на Бородинском поле в 1839 г., его связь с прошлым и будущим. Заканчивается статья автоцитатой из «Воспоминания...». Жуковский выбирает для цитаты фрагмент о кресте, «венчающем памятник битвы». В текст входит образ крестоносного ангела, знаменующего наступление для России новой эпохи, и архетип поля, «кипящего жизнью и готового произрастить богатую жатву гражданского благоденствия». Так названные статьи, отличающиеся единством принципов историзма и особенностей исторического повествования, ориентированного на воссоздание духа времени, соединяются в своего рода диалогию, что отражает общую тенденцию поздней прозы Жуковского к циклизации.

Статья «Пожар Зимнего дворца» была написана в 1838 г., явившись, как и две предыдущие статьи, откликом на конкретное событие – пожар, случившийся в Зимнем дворце 17 декабря 1837 г. Вместе с тем Зимний дворец представлен в статье всеобъемлющим образом-символом, прочитывающимся и в аспекте современности, и в связи с историей, философией, эстетикой. Прежде всего, Зимний дворец у Жуковского – это «величественное жилище императоров русских, великолепнейшее и почти самое древнее здание северной столицы <...> своею огромностью он соответствовал той обширной империи, которой силам служил средоточием» (ПСС. 10. 63). Образ Зимнего дворца вызывает в сознании автора и читателей мысль об общем для всех «*доме отеческом*», объединяющем русский народ «*какою-то родственною связью*». Не менее значим образ сгоревшего дворца, вобравший в себя важнейшую в романтической философии идею об истории как процессе вечного разрушения во имя вечной же смены старого новым, который управляется высшей силой: <...> «в зрелище сих развалин есть что-то невыразимое; как будто глазами видишь судьбу земную во всех ее переменах – из счастья в бедствие, из блеска в мрак, из славы в упадок. Какой-то чудный, всемирный образ стоит перед тобою и говорит тебе то, чего не выразит словами язык человеческий» [21. Т. 10. С. 63].

При всей насыщенности статьи образами-символами, «Пожар Зимнего дворца» отличается описательностью. Жуковский отводит изображению картины пожара центральное место, стремясь воспроизвести все происходившее в мельчайших деталях. «Здесь всякая подробность драгоценна», – заявляет

автор. Это заявление носит явно программный характер, вытекая из новой эстетики прозы Жуковского. Детальность описания осмысливается как необходимое условие создания целого: <...> «желаем составить нечто целое и полное» [21. Т. 10. С. 68]. Событие, произошедшее в Зимнем дворце 17 декабря 1837 г., описано в соответствии с эпическими законами. Конкретное время и место действия расширяются: в описание пожара вошли через отдельные детали целые эпохи. Каждое помещение дворца – кабинет императрицы, детская, дворцовая церковь, Фельдмаршальский зал, Эрмитаж – это история. Пространственная горизонталь: дворцовые залы, дворцовая площадь, Петербург, Россия, Европа – дополняется вертикалью: верхние, нижние ярусы, земля, небо. Таким образом создается сложнейший хронотоп, получивший емкое выражение в образе горящего дворца, представлявшего собой «огромный костер».

«Горная философия» Жуковского, связанная с нею историософия и их мифопоэтическое, символическое выражение находит свое логическое продолжение в «Очерках Швеции». Швеция предстала перед автором как «гранитное царство», «немое предание о каком-то давнишнем бое стихий». Взор автора-повествователя сразу уходит вглубь времен, в эпоху древнейшего мифологического сознания, и прекрасные описания природы, вполне реалистичные, наполняются поэтическими метафорами, сравнениями и древнейшими образами-символами: река, сад, поле, озера, острова. Описание природы пронизывает и типично руссоистская идея о естественном человеке. Шведские хижины, замечает автор, трудно отделить от окружающего их ландшафта. В жителях этих хижин подчеркивается «непринужденное доброжелательство и простодушие» [21. Т. 10. С. 49]. Идея органичного сосуществования в истории культуры и природы определяет описание старинного замка Гринсгольм, которое оказывается одним из смысловых центров статьи. Время в замке оживает и уходит вглубь веков, пространство наполняется древними преданиями. Вещный мир, все детали описания Гринсгольма конкретны и в то же время опоэтизированы, одухотворены. Эта поэтическая атмосфера идет, конечно, от автора. С его образом в статью входит еще одна из важнейших тем, давно волновавшая Жуковского, – тема привидений, которую И. Виноцкий справедливо называет одним из самых серьезных вопросов XIX столетия (см.: [24]), его культурно-мировоззренческим знаком.

Замок, наполненный привидениями, заставил автора «Очерков...» почувствовать «сверхъестественную таинственность» бытия, вместе с тем ему важно передать атмосферу реальности всего происходившего, тем самым воссоздав органичную целостность духа и материи, поту- и посюстороннего мира. Однако характерно, что автор не может, да и не хочет объяснить до конца, кто была та прошедшая на глазах у всех гостей замка «бледная фигура», которая, «казалось, не шла, а вейла. И вдруг пропала», пришла из ниоткуда и ушла в никуда [21. Т. 10. С. 51]. Из рассказа неясно, видел ли кто-нибудь, кроме автора, эту фигуру, откуда и зачем она приходила. Именно ожидание автором-повествователем возвращения привидения определяет эстетику и поэтику дальнейшего повествования. Оно наполнено таинственными звуками, движущимися тенями. Большую роль в пространственно-временной организации текста играют зеркала, оконные стекла, благодаря

которым оживают развешанные на стенах портреты или даже отдельные их детали (например, глаза, «из которых явственны одни только белки, и эти белки как будто кружатся и все за тобою следуют»; [21. Т. 10. С. 52]), изменяются пространственные измерения («кажется, что за этими деревьями все оканчивается и что замок стоит на краю пустого пространства»; [21. Т. 10. С. 52]). Поэтически настроенной душе автора открываются полнота и целостность бытия, которые приходят к нему как «полное, таинственное чувство тишины, которое в то же время есть и глубокое чувство жизни» [21. Т. 10. С. 52]. История древнего шведского замка переживается им одновременно и как история о себе. Таким образом, в «Очерках Швеции», как и во всех статьях 1830-х гг., слились воедино субстанциальное, историческое, художественное, эстетическое. История человечества, отдельной страны и душевная история автора переплетены в единое целое, что и определяло поиски Жуковского-прозаика, его движение к эпическим формам. Характеризуя «Очерки Швеции», П.А. Плетнев писал: «Они до такой степени живописны <...> и проникнуты одушевлением художника <...> По одному этому образчику можно судить, как он был полон каждого предмета, с которым готовился встретиться, и какое сочувствие разгоралось в его душе ко всему виденному» (цит. по: [25. С. 409]).

Все эти тенденции найдут свое закономерное развитие в 1840-е гг., ощущаемые самим писателем как «эпоха прозы». Опуская поэтому разговор о позднем стихотворном творчестве писателя, представленном такими шедеврами, как переложения национального эпоса «Наль и Дамянти», «Рустем и Зораб», «Одиссея», «Агасфер», коротко остановимся на его поздней прозе, которую невозможно рассматривать, не учитывая углубляющегося интереса писателя к проблемам религии, христианской веры. Практически все проблемы человеческой жизни, мироустройства, в том числе и пространства и времени, Жуковский пытается увидеть сквозь призму евангельской концепции человека и мира и связать их в одно целое, выработать некую общую идею, которую можно определить одним словом – жизнестроение. В этом Жуковский сближается с такими своими современниками, как Гоголь, молодые славянофилы, писатели-декабристы, Чаадаев.

Всю жизнь направлявший внимание к «внутреннему пространству и времени» человека, с их неповторимостью и индивидуальностью, и одновременно пытавшийся постичь универсальные смыслы происходящего с личностью и миром во времени и пространстве, поздний Жуковский соединяет эти две линии своего творчества, и точкой их соединения оказывается Христос. Мысль о Христе как о посреднике между Богом и человеком, Небом и Землей, Временем и Вечностью проходит через многие статьи 1840-х гг.: «О внутренней христианской жизни», «Таинство причащения» и др. Рассуждая о сути «присутствия Божия» в земной временной жизни человека, о «соединении души с Богом», Жуковский, с одной стороны, признает абсолютную непостижимость Бога во многом по причине Его «невоплощенности» в земном временном пространстве, а с другой стороны, он утверждает идею Христа, «в Котором всё земное, прекрасное, драгоценное, чистое слилось и божественно преобразилось, дабы недоступный, непостижимый, неизглаголаный Бог вселенная сделался сокровищем, собственностью, ясным предметом любви и

собеседником всякой души человеческой». Не случайно в статье «О внутренней христианской жизни», рассуждая об искуплении как о «возвращении человеку утраченного им присутствия Божия», Жуковский вспоминает переданные евангелистом Иоанном слова Христа из Его заповеди ученикам, которую он произнес в Гефсиманском саду, незадолго до своей смерти: «Аз есмь путь» (гл. XIV, ст. 6). Не случайно и столь пристальное внимание Жуковского к одному из семи таинств православной церкви – к причащению, благодаря которому верующие становятся «стелесниками Христа», и к литургии, во время которой это таинство совершается. Раздел «целого тома святой прозы» Жуковского – «Христианская философия» – завершается статьей, посвященной осмыслению сути этого таинства временного перехода человека в вечное пространство Бога («Таинство причащения»).

Важнейшую роль в мировидении Жуковского играет мысль об искуплении греха страданием и о возвращении человека к исходной чистоте души и к ее бессмертию. С этими идеями тесно связана философия скорби Жуковского, наиболее полно изложенная в программной статье «О меланхолии в жизни и в поэзии», которая первоначально представляла собой письмо к П.А. Вяземскому от 3 (15) марта 1846 г. Меланхолия, в понимании Вяземского, есть чувство уныния, которое совершенно одинаково переживали как в языческом древнем мире, так и в мире христианском. С приходом христианства и осознанием бессмертия души земная жизнь перестает представлять для человека ценность: «на жизнь смотришь как на лоскуток чего-то, как на программу, как на лотерейный билет, не зная, что вынется» [21. Т. 10. С. 99]. Жуковский противопоставляет этому свою философию скорби, которую интерпретирует как способность человека почувствовать *здесь и сейчас* свое падение и одновременно возможность, искуплением греха, «вступить в первобытное свое величие» [21. Т. 10. С. 100].

Необычайный интерес представляет поздняя статья Жуковского «История и историческая живопись», смысловым центром которой становится экфрасис картины из берлинской кафедральной церкви Campo Santo, изображающей Суд Божий, конечные судьбы людей. Описание картины в статье есть характеристика особенностей истории в ее соотношении с искусством, с исторической живописью в частности. Всё описание подчинено ответу на религиозно-философский и вместе с тем эстетический вопрос: «Как выразить в одно время и небо, и рай, и ад, и землю?». Дискурс движется здесь от важнейшей поэтической традиции Жуковского-романтика, связанной с философией универсализма, к переживанию целостности бытия, уже религиозному в своей основе. Картина, в описании Жуковского, запечатлела прежде всего эту универсальность момента, неразрывность гибели и возрождения, времени и вечности, судьбы одного человека и человечества. Особое внимание писатель уделяет пространственному построению картины, точно отразившей сакральность и целостность построения мира: земля – небо, в центре Верховный Судия, между небом и землею летают ангелы, «переноса от людей молитвы к Богу, от Бога милосердие людям». Эта идея бытия, живущего по линии вневременного потустороннего восхождения к идеалу (или, наоборот, отхода от него) и по линии живого исторического времени и конкретного

пространства, этот синтез и является главным нервом религиозного философствования позднего Жуковского.

Подводя общие итоги, отметим, что, пройдя путь от «Сельского кладбища», «Вечера», «Мыслей на кладбище», «Мыслей при гробнице» к «целому тому» «мыслей и замечаний», к крупным лиро-эпическим полотнам Жуковский демонстрирует свою эволюцию как отражение его общего мировоззренческого и творческого развития – от лирики к эпосу, от синкретизма к синтезму, от философии двоемирия с ее пространственно-временными оппозициями к целостности охвата бытия в художественном произведении, а следовательно, к органичному слиянию поэтического и прозаического, собственно художественного и публицистического, философского начал.

Литература

1. Жуковский и русская культура: сб. науч. тр. / отв. ред. Р.В. Иезуитова. Л., 1987.
2. Канунова Ф.З. Вопросы мировоззрения и эстетики В.А. Жуковского. Томск, 1990.
3. Янушкевич А.С. В мире Жуковского. М., 2006.
4. Жуковский. Исследования и материалы. Вып. 1. Томск, 2010.
5. Жуковский. Исследования и материалы. Вып. 2. Томск, 2013.
6. Аверинцев С.С. Британское зеркало для русского самопознания: Еще раз о «Сельском кладбище» Грея – Жуковского // Труды ОДРЛ. СПб., 1997. Т. 50. С. 708–712.
7. Топоров В.Н. «Сельское кладбище» Жуковского: К истокам русской поэзии // Russian Literature. 1981. Vol. 10. P. 242–282.
8. Ветшьева Н.Ж. Концепция национально-исторической эпопеи в планах поэмы В.А. Жуковского «Владимир» // От Карамзина до Чехова. Томск, 1992. С. 77–89.
9. Поплавская И.А. О типологии хронотопа (Баллады В.А. Жуковского и «Повести Белкина» А.С. Пушкина) // Проблемы литературных жанров: Материалы X Междунар. науч. конф., Томск, 15–17 октября 2001: в 2 ч. Томск, 2002. Ч. 1. С. 78–83.
10. Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. М., 1999–2013.
11. Лотман Ю.М. Идея исторического развития в русской культуре конца XVIII – начала XIX столетия // Лотман Ю.М. О русской литературе. СПб., 1997. С. 285 и далее.
12. Жирмунский В.М. Немецкий романтизм и современная мистика. СПб., 1996. С. 112–131.
13. Кулешов В.И. Литературные связи России и Западной Европы. М., 1977.
14. Флоренский П.А. Имяславие как философская предпосылка // Сочинения. М., 1990. Т. 2. С. 287.
15. Лосев А.Ф. Античный космос и современная наука // Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. М., 1993. С. 156.
16. Мень А. Мир Библии. М., 1990.
17. Вацуро В.Э. Русская идиллия в эпоху романтизма // Русский романтизм. Л., 1978. С. 124–138.
18. Полярная звезда на 1824 год.
19. Тмарченко Н.Д. Русский классический роман XIX века: Проблемы поэтики и типологии жанра. М., 1997.
20. Библиотека В.А. Жуковского в Томске. Ч. 1. Томск, 1978.
21. Жуковский В.А. Полное собрание сочинений: в 12 т. / под ред., с биогр. очерком и примеч. А.С. Архангельского. СПб., 1902.
22. Канунова Ф.З. «История русского народа» Н.А. Полевого в библиотеке В.А. Жуковского // Проблемы метода и жанра. Вып. 16. Томск, 1990.
23. Чаадаев П.Я. Сочинения. М., 1989.
24. Виницкий И.Ю. Нечто о привидениях Жуковского // Новое литературное обозрение. 1998. № 32. С. 147–172.
25. В.А. Жуковский в воспоминаниях современников. М., 1999.

Tomsk State University Journal of Philology, 2014, 6 (32), pp. 87-111. DOI 10.17223/19986645/32/7
 Aizikova Irina A., Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: wand2004@list.ru
SPACE-TIME OPPOSITIONS IN PHILOSOPHY, AESTHETICS AND POETICS OF V.A. ZHUKOVSKY (THE ISSUE OF EVOLUTION).

Keywords: art space and time, V.A. Zhukovsky, Romanticism, philosophy, aesthetics, poetics.

The article focuses on the artistic space and time in connection with forming a model of the world as part of a romantic literary method: it is a picture of the world, expressed in the language of space-time representations by the founder of Russian Romanticism, V.A. Zhukovsky. Attention to the categories of space and time reflected in all stages of the creative way of the writer and correlated in its development with the history of Russian romantic literature and guiding it is the most important feature of the worldview and creativity of Zhukovsky. It lays the foundation of his work as well as of the activities of Russian romanticism.

The key concepts of peace and man, and artistic forms of their expression are already expressed in the early works of Zhukovsky (1797-1806). His attention was focused precisely on the categories of space and time which the author connected directly with the elaboration of the principles of depicting the image of a new type of personality which is in a constant process of self-discovery and self-improvement. This determined the transition of Russian literature from sentimentalism to Romanticism at that time. In this regard, the article analyzes T. Gray's translated elegy "Rural Cemetery" (1802) and Zhukovsky's original elegy "Evening" (1806). Time and space are characterized here as metaphysical and universal accordingly. On the one hand, they are designed more in the spirit of the enlightenment concept of the world, but, on the other hand, they are deconstructed by the consciousness of the lyrical hero, becoming both objective and subjective. The same ideas form the picture of the world in the early prose works of Zhukovsky, in which he first refers to the understanding and image of historical time, the nationally designated space, the narrative and event (fable and plot) chronotope. The formation of the writer's model of the universe gave a powerful stimulus to the development of means for expressing his ontology, philosophy of history, anthropology. Zhukovsky's poetry and prose of 1807-1811 published in magazines shows his growing interest in the possibility of disclosure in the literature of the internal space and time of man, which caused the development of psychologism in Russian poetry and prose. However, Zhukovsky earnestly sought the principles of the ratio of the "inner man" and the surrounding reality with its spatial and temporal characteristics. In the writings of the "era of romantic manifestos" (1810-1820s), the processualization and symbolization of the space-time model of the world became obvious, which resulted in a special interest in history and philosophy, and active introduction of these issues in literature in the early 1830s. These trends found their natural development in the 1840s, the years perceived by Zhukovsky as "the era of prose". Its space-time oppositions cannot be considered without taking into account the interest of the writer in the issues of religion and the Christian faith.

References

1. Iezuitova R.V. (ed.) *Zhukovskiy i russkaya kul'tura* [Zhukovsky and Russian culture]. Leningrad: Nauka Publ., 1987. 502 p.
2. Kanunova F. Z. *Voprosy mirovozzreniya i estetiki V.A. Zhukovskogo* [Issues of philosophy and aesthetics of V.A. Zhukovsky]. Tomsk: Tomsk State University Publ., 1990. 182 p.
3. Yanushkevich A.S. *V mire Zhukovskogo* [In the world of Zhukovsky]. Moscow: Nauka Publ., 2006. 523 p.
4. Yanushkevich A.S., Aizikova I.A. (eds.) *Zhukovskiy. Issledovaniya i materialy* [Zhukovsky. Research and Materials]. Tomsk: Tomsk State University Publ., 2010. Issue 1, 541 p.
5. Yanushkevich A.S. (ed.) *Zhukovskiy. Issledovaniya i materialy* [Zhukovsky. Research and Materials]. Tomsk: Tomsk State University Publ., 2013. 745 p.
6. Averintsev S.S. Britanskoe zerkalo dlya russkogo samopoznaniya. Eshche raz o "Sel'skom kladbishche" Greya – Zhukovskogo [A British mirror for Russian self-knowledge. Again on "Rural Cemetery" of Gray and Zhukovsky]. *Trudy ODRL*, 1997, vol. L, pp. 708-712.
7. Toporov V.N. "Sel'skoe kladbishche" Zhukovskogo: K istokam russkoy poezii ["Rural Cemetery" by Zhukovsky: to the origins of Russian poetry]. *Russian Literature*, 1981, vol. 10, issue 3, pp. 242-282. DOI: 10.1016/0304-3479(81)90053-3
8. Vetsheva N.Zh. *Kontseptsiya natsional'no-istoricheskoy epopei v planakh poemy V.A. Zhukovskogo "Vladimir"* [The concept of national historical epic in the plans of V.A. Zhukovsky's

poem "Vladimir"]. In: Yanushkevich A.S., Remorova N.B., Zhilyakova E.M. (eds.) *Ot Karamzina do Chekhova* [From Karamzin to Chekhov]. Tomsk: Tomsk State University Publ., 1992, pp. 77-89.

9. Poplavskaya I.A. [On the typology of the chronotope (Ballads of V.A. Zhukovsky and Tales of Belkin by Pushkin)]. *Problemy literaturnykh zhanrov. Materialy X Mezhdunar. nauch. konf. Tomsk. 15-17 okt. 2001: V 2-kh ch.* [Problems of literary genres. Proceedings of the X International scientific conference. Tomsk. 15-17 October. 2001: in 2 parts]. Tomsk: Tomsk State University Publ., 2002. Pt. 1, pp. 78-83. (In Russian).

10. Zhukovskiy V.A. *Polnoe sobranie sochineniy i pisem: V 20 t.* [Complete Works and Letters: In 20 vols.]. Moscow, 1999-2013.

11. Lotman Yu.M. *O russkoy literature* [On Russian literature]. St. Petersburg: Iskuststvo Publ., 1997, pp. 285-848.

12. Zhirmunskiy V.M. *Nemetskiy romantizm i sovremennaya mistika* [German romanticism and modern mysticism]. St. Petersburg, 1996, pp.112-131.

13. Kuleshov V.I. *Literaturnye svyazi Rossii i Zapadnoy Evropy* [Literary ties between Russia and Western Europe]. Moscow: MSU Publ., 1977.

14. Florenskiy P.A. *Sochineniya* [Works]. Moscow: Znaniye Publ., 1990. Vol. 2.

15. Losev A.F. *Bytie. Imya. Kosmos* [Being. Name. Cosmos]. Moscow: Mysl' Publ., 1993.

16. Men' A. *Mir Biblii* [The world of the Bible]. Moscow: Knizhnaya palata Publ., 1990. 141 p.

17. Vatsuro V. E. *Russkaya idilliya v epokhu romantizma* [Russian idyll in the Age of Romanticism]. In: Grigor'yana K.I. (ed.) *Russkiy romantizm* [Russian Romanticism]. Leningrad: Nauka Publ., 1978, pp. 124-138.

18. *Polyarnaya Zvezda*, 1824.

19. Tamarchenko N.D. *Russkiy klassicheskiy roman XIX veka: Problemy poetiki i tipologii zhanra* [Russian classic novel of the 19th century: issues of poetics and typology of the genre]. Moscow: RSUH Publ., 1997. 202 p.

20. Kanunova F.Z. (ed.) *Biblioteka V.A. Zhukovskogo v Tomske* [The library of V.A. Zhukovsky in Tomsk]. Tomsk: Tomsk State University Publ., 1978. Pt. 1. 529 p.

21. Zhukovsky V.A. *Polnoye sobraniye sochineniy: V 12 t.* [Complete Works: in 12 vols.]. St. Petersburg, 1902.

22. Kanunova F.Z. "Istoriya russkogo naroda" N.A. Polevogo v biblioteke V.A. Zhukovskogo ["History of the Russian people" by N.A. Polevoy in the library of V.A. Zhukovsky]. *Problemy metoda i zhanra*, 1990, issue 16.

23. Chaadaev P.Ya. *Sochineniya* [Works]. Moscow: Pravda Publ., 1989. 655 p.

24. Vinitskiy I.Yu. *Nechto o privideniyakh Zhukovskogo* [Something about the ghosts of Zhukovsky]. *Novoe literaturnoe obozrenie*, 1997, no. 32, pp. 147-172.

25. Lebedeva O.B., Yanushkevich A.S. (eds.) *V.A. Zhukovskiy v vospominaniyakh sovremennikov* [V.A. Zhukovsky in the memoirs of contemporaries]. Moscow: Nauka, Yazyki russkoy kul'tury Publ., 1999. 759 p.

УДК 821.161.1.09 «18»
DOI 10.17223/19986645/32/8

Г.А. Ахметова

Л.Н. ТОЛСТОЙ О ТВОРЧЕСТВЕ И РЕМЕСЛЕ («АННА КАРЕНИНА», «ЧТО ТАКОЕ ИСКУССТВО?»)

Роман «Анна Каренина» и эстетический трактат «Что такое искусство?» анализируются в статье с точки зрения отражения в них воззрений Л. Толстого на творчество и ремесло. Уже Платон, «духовный брат Толстого» (С.Л. Франк), давал толкование творческого процесса как одного из Божественных озарений, или «маний». Л. Толстому созвучно платоновское понимание творчества как божественной «одержимости» и способности проникать в мир «умопостигаемого». В восприятии же искусства как умения видеть тонкие нюансы, мелкие детали, «чуть-чуть» Толстой близок К. Брюллову. Этому «чуть-чуть» не учат в школах, это не «техника», но признак подлинного искусства, способного «приоткрывать покровы».

Ключевые слова: искусство, творчество, Платон, «умопостигаемое», К. Брюллов, «чуть-чуть», художник, дилетант, ремесло, техника, школа, профессиональность.

В романе «Анна Каренина» (1873–1877) Лев Толстой глубоко осмыслил всегда волновавшие его вопросы творчества и ремесла, искусства и его имитации. Особую значимость имеют в романе эпизоды, связанные с живописью русского художника Михайлова, мастерскую которого в Италии посещают Вронский, Голенищев и Анна. Противопоставление художника-любителя Вронского живописцу Михайлову поднято Толстым до высоты принципиальной проблемы, популярно противоположного понимания творца и искусства.

Художник и дилетант осмыслены Толстым как особые психологические типы. Образ Михайлова внешне прозаичен, лишен привычных в романтической традиции черт избранника, или «пророка». Социальный статус художника незначителен. Это дает Голенищеву право снисходительно характеризовать его: «<...> чужак и без всякого образования <...> один из этих диких новых людей, которые теперь часто встречаются; знаете, из тех вольнодумцев, которые d'emblée воспитыаны в понятиях неверия, отрицания и материализма <...> Он сын, кажется, московского камер-лакея и не получил никакого образования» [1. Т. 9. С. 40].

Посетители творческой мастерской Михайлова в Италии, Голенищев, Вронский и Анна, «<...> разочарованные уже вперед рассказом Голенищева о художнике, еще более разочаровались его внешностью. Среднего роста, плотный, с вертлявой походкой, Михайлов, в своей коричневой шляпе, оливковом пальто и узких панталонах, тогда как уже давно носили широкие, в особенности обыкновенностью своего широкого лица и соединением выражения робости и желания соблудности свое достоинство, произвел неприятное впечатление» [1. Т. 9. С. 43].

Напротив, портрет Вронского в период его жизни с Анной в Италии и увлечения итальянской живописью воспроизводит артистический образ мецената, свободного художника, посвятившего себя искусству. Внешний облик Вронского тщательно выверен, продуман, возделан с особой старательно-

стью: «Он писал под руководством итальянского профессора живописи этюды с натуры и занимался средневековой итальянской жизнью. Средневековая итальянская жизнь в последнее время так прельстила Вронского, что он даже шляпу и плед через плечо стал носить по-средневековски, что очень шло к нему» [1. Т. 9. С. 38].

Театральность бытового поведения Вронского призвана убедить окружающих и его самого в особом призвании. В творческой одаренности Вронского убеждена Анна: «У Алексея будет atelier хороший. Непременно ты возьми эту комнату, – сказала она Вронскому <...>

– Разве ты пишешь? – сказал Голенищев, быстро оборачиваясь к Вронскому.

– Да, я давно занимался и теперь немного начал, – сказал Вронский, краснея.

– У него большой талант, – сказала Анна с радостной улыбкой. – Я, разумеется, не судья! Но судьи знающие то же сказали» [1. Т. 9. С. 35].

Однако в глазах автора романа Вронский всего лишь любитель. Толстой с иронией говорит о его случайности в живописи: «Так как смолodu у него была способность к живописи и так как он, не зная, куда тратить свои деньги, начал собирать гравюры, он остановился на живописи, стал заниматься ею <...>» [1. Т. 9. С. 37]. Вронскому приятна роль «просвещенного любителя и покровителя искусств <...> скромного художника, отрекшегося от света, связей, честолюбия для любимой женщины» [1. Т. 9. С. 38]. Занятия живописью для него – «избранная роль», и эту роль он играет талантливо.

Напротив, Михайлов скромен и естествен в своем бытовом поведении, целиком подчиненном творческому процессу. Живопись не является для художника достаточным средством материального обеспечения себя и своей семьи. Будучи, по словам Голенищева, «замечательным портретистом», Михайлов, однако, не пишет портретов. Новая картина на евангельский сюжет требует от него полного погружения и самоотдачи.

О способности художника к духовной концентрации, превышении в иррациональном порыве самого себя размышлял уже античный философ Платон – «духовный брат Толстого» (С.Л. Франк) [2. С. 554]. Так, в диалогах «Ион» и «Федр» Платон дал толкование художественного творчества как одного из Божественных озарений, или «маний». В «Ионе» передан диалог Сократа с рапсодом Ионом, искусным исполнителем поэм Гомера: «Твоя способность хорошо говорить о Гомере – это, как я только что сказал, не *уменье*, а *божественная сила*, которая тобою движет, как в том камне, который Еврипид назвал магнесийским, а большинство называет гераклеийским. Этот камень не только притягивает железные кольца, но и сообщает им такую силу, что они, в свою очередь, могут делать то же самое, что и камень, то есть притягивать другие кольца, так что иногда получается очень длинная цепь из кусочков железа и колец, висящих одно за другим; у них у всех сила зависит от того камня. Так и Муза — сама делает вдохновенными одних, а от этих тянется цепь других, одержимых божественным вдохновением. Все хорошие эпические поэты слагают свои прекрасные поэмы не благодаря искусству, а лишь в состоянии вдохновения и одержимости» [3. Т. 1. С. 143].

Толстому близко платоновское понимание творчества как божественной «одержимости», созвучно восприятие художника как творца, вдохновленного «магнесийским» камнем.

Одно из главных состояний подлинного художника, по мысли Толстого, – способность и потребность жить созданными образами, тотальная поглощенность творчеством. Такая потребность постоянного вживания в мир искусства создает своеобразную надстройку над повседневностью и ставит художника в трудное, порой мучительное положение. Он должен постоянно переходить от быта к вдохновению и от вдохновения к быту, что вносит в душу творца заметный диссонанс, который незнаком дилетанту: «Художник Михайлов, как и всегда, был за работой, когда ему принесли карточки графа Вронского и Голенищева. Утро он работал в студии над большою картиной. Придя к себе, он рассердился на жену за то, что она не умела обойтись с хозяйкой, требовавшею денег <...> Никогда он с таким жаром и успехом не работал, как когда жизнь его шла плохо, и в особенности, когда он ссорился с женой. «Ах! провалиться бы куда-нибудь!» – думал он, продолжая работать. Он делал рисунок для фигуры человека, находящегося в припадке гнева. Рисунок был сделан прежде; но он был недоволен им. «Нет, тот был лучше... Где он?» Он пошел к жене и, насупившись, не глядя на нее, спросил у старшей девочки, где та бумага, которую он дал им. Бумага с брошенным рисунком нашлась, но была испачкана и закапана стеарином. Он все-таки взял рисунок, положил к себе на стол и, отдалившись и прищурившись, стал смотреть на него. Вдруг он улыбнулся и радостно взмахнул руками.

– Так, так! – проговорил он и тотчас же, взяв карандаш, начал быстро рисовать. Пятно стеарина давало человеку новую позу» [1. Т. 9. С. 42].

По словам Толстого, в Михайлове никогда не затихал созидательно-творческий процесс: «<...> его художественное чувство не переставая работало, собирая себе материал <...>» [1. Т. 9. С. 43].

Ожидание вдохновения, особого эмоционально-духовного состояния постоянно сопровождает художника. Творчество для Михайлова возможно только в одном, определенном состоянии души – спокойно-уравновешенном; оно исключено при чрезмерной взволнованности или холодности. По словам Толстого, «окончив ногу (Иоанна. – Г.А.), он хотел взяться за эту фигуру, но почувствовал себя слишком взволнованным для этого. Он одинаково не мог работать, когда был холоден, как и тогда, когда был слишком размягчен и слишком видел все. Была только одна ступень на этом переходе от холодности ко вдохновению, на которой возможна была работа. А нынче он слишком был взволнован» [1. Т. 9. С. 49–50].

Результатом постоянной духовной концентрации становится повышенная впечатлительность, нервность. Так, при первом взгляде на посетителей своей мастерской Михайлов сразу понял дилетантскую сущность Голенищева и Вронского: «<...> знатные и богатые русские, ничего не понимающие в искусстве, но прикидывавшиеся любителями и ценителями <...> Он знал очень хорошо манеру дилетантов (чем умнее они были, тем хуже) осматривать студии современных художников только с той целью, чтоб иметь право сказать, что искусство пало и что чем больше смотришь на новых, тем более видишь, как неподражаемы остались великие древние мастера» [1. Т. 9.

С. 44]. Однако потребность Михайлова в сопереживании своей картине так велика, что даже незначительные замечания посетителей он ловит жадно, взволнованно впитывает их в себя: «<...> в то время как он перевортывал свои этюды, поднимал сторы и снимал простыню, он чувствовал сильное волнение». После замечания Голенищева о фигуре Пилата на евангельской картине «все подвижное лицо Михайлова вдруг просияло: глаза засветились», «Михайлов был в восхищении от этого замечания» [1. Т. 9. С. 46].

Напряженная творческая интенция, сосредоточенность на творении рождает в художнике стремление к одиночеству. В Михайлове это стремление к уединению еще более усилено неприятием живописи Вронского. В роскошном палаццо Вронского, где художник пишет портрет Анны, он выглядит нелюдимым, почти враждебным окружающим: «Он был неприязненно почтителен, как бы боясь сближения с людьми, которых он не уважал <...> На разговоры Вронского о его живописи он упорно молчал и так же упорно молчал, когда ему показали картину Вронского, и, очевидно, тяготился разговорами Голенищева и не возражал ему» [1. Т. 9. С. 51].

Его нелюдимость воспринята Вронским и Голенищевым как проявление зависти плебея к аристократии. На самом деле, творчество требует от Михайлова полной самоотдачи, оттого живопись Вронского воспринимается им как оскорбительно-жалкая подделка, забава наподобие игры с куклой: «Нельзя запретить человеку сделать себе большую куклу из воска и целовать ее. Но если б этот человек с куклой пришел и сел пред влюбленным и принялся бы ласкать свою куклу, как влюбленный ласкает ту, которую он любит, то влюбленному было бы неприятно. Такое же неприятное чувство испытывал Михайлов при виде живописи Вронского; ему было и смешно, и досадно, и жалко, и оскорбительно» [1. Т. 9. С. 46].

Творчество художника показано в романе как всепоглощающий процесс, полный тревог, сомнений и прозрений; «творчество» дилетанта – как приятное времяпрепровождение, дань светской моде, или, как позже скажет Толстой в «Исповеди», «заманка жизни». По словам Толстого, «<...> как голодное животное хватается всякий попадающийся предмет, надеясь найти в нем пищу, так и Вронский совершенно бессознательно хватался то за политику, то за новые книги, то за картины <...> У него была способность понимать искусство и верно, со вкусом подражать искусству, и он подумал, что у него есть то самое, что нужно для художника, и, несколько времени колебавшись, какой он выберет род живописи: религиозный, исторический жанр или реалистический, он принялся писать» [1. Т. 9. С. 37].

Вдохновение Вронский черпает в готовых формах искусства, уже созданных до него. Цель его усилий – овладение техникой знаменитых итальянских мастеров, известными «родами живописи». Единственной проблемой его «на пути становления как художника» был выбор рода живописи, которому он хотел подражать. По словам автора, «<...> он не мог себе представить того, чтобы можно было вовсе не знать, какие есть роды живописи, и вдохновляться непосредственно тем, что есть в душе, не заботясь, будет ли то, что он напишет, принадлежать к какому-нибудь известному роду» [1. Т. 9. С. 38]. Оттого Вронский вдохновлялся «очень быстро и легко». Ирония писателя очевидна.

Толстой осуждает творчество, основанное на подражании искусству, на изображении жизни, «уже воплощенной искусством». Позже в эстетическом трактате он найдет еще более гневные слова для порицания приемов создания поддельного искусства.

Во время посещения мастерской Михайлова Вронский видит его картину на евангельский сюжет, но его исключительное внимание обращено на «технику» художника, которой он завидует, считая живопись ремеслом, набором технических приемов: «“Да, удивительное мастерство!.. Как эти фигуры на заднем плане выделяются! Вот техника!” – сказал он, обращаясь к Голенищеву и этим намекая на бывший между ними разговор о том, что Вронский отчаивался приобрести эту технику» [1. Т. 9. С. 47].

В противоположность традиционному представлению о технике как о положительном качестве, отличающем талант, Толстой подчеркивает отрицательное содержание этого понятия, соседствующее с отсутствием искреннего переживания, а значит – с фальшью. Писатель отвергает привычное понимание мастерства как всё большего овладения техникой.

«Технике» Толстой противопоставляет подлинное искусство как способ «снятия покровов», которые скрывают от художника и зрителя глубинную сущность образа – «открывшееся художнику содержание»: «Но делая эти поправки, он (Михайлов. – Г.А.) не изменял фигуры, а только откидывал то, что скрывало фигуру. Он как бы снимал с нее те покровы, из-за которых она не вся была видна; каждая новая черта только больше выказывала всю фигуру во всей ее энергической силе, такую, какою она явилась ему вдруг от произведенного стеарином пятна» [1. Т. 9. С. 42].

Подобное же выражение «снятие покровов» Толстой употребляет в романе еще раз, описывая роды Кити: «Как ни мало было неестественности и условности в общем характере Кити, Левин был все-таки поражен тем, что обнажилось теперь перед ним, когда вдруг все покровы были сняты и самое ядро ее души светилось в ее глазах. И в этой простоте и обнаженности она, та самая, которую он любил, была еще виднее» [1. Т. 9. С. 298].

По мысли Толстого, искусство призвано обнажить «ядро» души человека, проникнуть сквозь видимые «покровы» в незримый, умопостигаемый мир. Сквозь внешние черты истинный художник прозревает духовный лик, от которого уже недалеко до платоновского мира «идей».

Сопоставление Толстого с Платоном вполне оправданно, несмотря на тысячелетия, отделяющие двух мыслителей. В своем творчестве Толстой нередко глубоко соприкасался с античным философом. В дневниковой записи от 22 ноября 1896 г. Толстой так передал свое впечатление от чтения книги «Федон, разговор Платона», изданной в «Посреднике» в 1896 г.: «Читал Платона: эмбрионы идеализма» [1. Т. 22. С. 57].

Толстой имеет в виду объективный идеализм философии, этики и эстетики Платона. По Платону, наиболее подлинным является мир «идей» («эйдосов»), предельных сущностей человеческого бытия [4]. Реальный мир суть отражение мира «идей», первопричины всего сущего. Искусство, по мысли философа, лишь подражание реальному миру, «тень» мира, который сам является подражанием идеальному миру, его «тенью».

Визуальным воплощением мысли Платона о мире зримом и умопостигаемом является «символ пещеры» – образ темной пещеры с озером внутри нее («Государство», кн. 7). Люди, закованные в кандалы и обращенные спиной к солнцу, видят отражение солнца в виде теней и бликов на поверхности озера. Это солнце аналогично Божественному миру, тенью которого является реальность и тем более искусство. Эта мысль Сократа в передаче Платона звучит так: «– Так вот, дорогой мой Главкон, это уподобление следует применить ко всему, что было сказано ранее: область, охватываемая зрением, подобна тюремному жилищу, а свет от огня уподобляется в ней мощи Солнца. Восхождение и созерцание вещей, находящихся в вышине, – это подъем души в область умопостигаемого <...> идея блага – это предел, и она с трудом различима, но стоит только ее там различить, как отсюда напрашивается вывод, что именно она – причина всего правильного и прекрасного» [3. Т. 3. С. 352–353].

Восприятие прекрасного, по Платону, предполагает «подъем души в область умопостигаемого», в мир «идей». Идеализм Платона, в сущности, созвучен толстовскому пониманию искусства как чувственного воплощения реальности, которая, в свою очередь, сама является отражением идеальной первопричины, абсолютного Блага, Бога. Толстому близко платоновское понимание творчества как отражения идеального мира и эстетического восприятия как постепенного восхождения (анагогии) от чувственно-осязаемого к незримому и «бесконечному».

По мысли Толстого, отличие художника от дилетанта заключается не в том, что один владеет искусством писать (рисовать, ваять), а другой нет, а в том, что одному открывается нечто такое, чего не дано видеть другому. Примером толстовского понимания искусства как проникновения в мир «умопостигаемого» служит живопись Михайлова: его картина на евангельский сюжет и портрет Анны Карениной.

Михайлов – тип религиозного художника, наиболее близкий Толстому. На своей картине «Увещание Пилатом» он воспроизвел евангельский сюжет – Христос перед судом Пилата, известный по живописи итальянских мастеров Возрождения. Так, Голенищев упоминает в романе Тинторетто, автора картины «Христос перед Пилатом»: «Там прекрасный Тинторетто есть. Из его последней эпохи» [1. Т. 9. С. 33].

Под кистью толстовского художника меняется традиционный в европейской религиозной живописи образ Христа. Направление, в котором работает Михайлов, Голенищев осуждает, называя его «фальшивым», а о его картине говорит как о примере «ивановско-штраусовско-ренановского отношения к Христу и религиозной живописи»: «Он (Христос. – Г.А.) у вас человекобог, а не богочеловек» [1. Т. 9. С. 48].

Напротив, на Анну картина производит глубокое впечатление. Со свойственной ей душевной чуткостью, она замечает «центр» полотна – «выражение Христа», которое ей больше всего понравилось: «Как удивительно выражение Христа!.. Видно, что ему жалко Пилата» [1. Т. 9. С. 46]. Анна разглядела в лице Христа сострадание – чувство, в котором нуждается сама.

«Очеловечивая» Христа, Михайлов одновременно «иконизирует» его. Анна чутко постигает замысел художника, придавшего Христу выражение «любви, неземного спокойствия» – лик святого. На полотне Михайлова Хри-

стос представлен просто человеком, исповедующим не принимаемое властью Учение и реальностью своего распятия достигшим святости.

По мысли Толстого, подлинный живописец всегда находит собственные, новые пути в искусстве. Художник Михайлов симпатичен Толстому, ведь он «не думал, чтобы картина его была лучше всех Рафаэлевых, но он знал, что того, что он хотел передать и передал в этой картине, никто никогда не передавал. Это он знал твёрдо и знал уже давно, с тех пор как начал писать ее» [1. Т. 9. С. 42].

Михайлову противопоставлен Вронский, думавший о своей картине «из средневековой жизни», что она «была очень хороша, потому что была гораздо более похожа на знаменитые картины, чем картина Михайлова» [1. Т. 9. С. 52].

Михайлов и Вронский – оба пишут портреты Анны. Вронский давно работает над портретом любимой женщины: «Более всех других родов ему нравился французский, грациозный и эффектный, и в таком роде он начал писать портрет Анны в итальянском костюме» [1. Т. 9. С. 37]. Однако ему никак не удастся завершить этот портрет. Михайлову же достаточно нескольких сеансов, чтобы сразу уловить и передать на полотне «самое милое <...> душевное выражение» Анны. «“Надо было знать и любить ее, как я любил, чтобы найти это самое милое ее душевное выражение”, – думал Вронский, хотя он по этому портрету только узнал это самое милое ее душевное выражение. Но выражение это было так правдиво, что ему и другим казалось, что они давно знали его» [1. Т. 9. С. 50].

Вронскому не дано понять причину своего творческого бессилия, ибо искусство в глазах дилетанта – простое копирование форм, уже воспроизведенных искусством. В этом заблуждении его поддерживает другой дилетант, Голенищев: «Я сколько времени бьюсь и ничего не сделал, – говорил он про свой портрет, – а он посмотрел и написал. Вот что значит техника.

– Это придет, – утешал его Голенищев, в понятии которого Вронский имел и талант и, главное, образование, дающее возвышенный взгляд на искусство» [1. Т. 9. С. 50–51].

После портрета Анны, выполненного Михайловым, Вронский перестал писать свой. Картину же из средневековой жизни он продолжал. Но и этой картине не суждено быть завершённой: «Он смутно чувствовал, что недостатки ее, мало заметные при начале, будут поразительны, если он будет продолжать» [1. Т. 9. С. 52]. Так Толстой тонко подчеркивает отличие набросков любителя от творений настоящего художника. Художник, воплощая сюжет, оформляет первоначальный замысел; дилетант в ходе работы убивает его, обнаруживая свое творческое бессилие.

Создавая образ Михайлова, Толстой рисует сам процесс, «кухню» творческой работы художника. Живописец впитывает в себя впечатления жизни, отбирает подчас самые мелкие, но характерные, сокровенные черты, выражающие сущностное в людях. Так, «<...> мягкое освещение фигуры Анны <...> поразило его. Он и сам не заметил, как он, подходя к ним, схватил и проглотил это впечатление, так же как и подбородок купца, продававшего сигары, и спрятал его куда-то, откуда он вынет его, когда понадобится». И далее: «<...> отметил в своем воображении еще выражение лица Вронского, в особенности его скул» [1. Т. 9. С. 43]. Лицо Голенищева также «отложено» в особый отдел воображения художника: «Это было одно из лиц, отло-

женных в его воображении в огромный отдел фальшиво-значительных и бедных по выражению» [1. Т. 9. С. 44].

Искусство, по Толстому, это тонкие, ювелирные детали, нюансы – «чуть-чуть», доступное видению только истинного художника. Как, например, случайное «пятно стеарина» на рисунке Михайлова, вдруг давшее изображенной на ней фигуре новую, живую позу: «Он рисовал эту новую позу, и вдруг ему вспомнилось с выдающимся подбородком энергическое лицо купца, у которого он брал сигареты, и он это самое лицо, этот подбородок нарисовал человеку. Он засмеялся от радости. Фигура вдруг из мертвой, выдуманной стала живая и такая, которой нельзя уже было изменить. Фигура эта жила и была ясно и несомненно определена» [1. Т. 9. С. 42].

Позже, в трактате «Что такое искусство?», Толстой, касаясь вопроса о технике и содержании в произведении искусства, сошлется на глубокую мысль художника К. Брюллова: «Поправляя этюд ученика, Брюллов в нескольких местах чуть тронул его, и плохой, мертвый этюд вдруг ожил. «Вот, *чуть-чуть* тронули, и все изменилось», сказал один из учеников. «Искусство начинается там, где начинается *чуть-чуть*», сказал Брюллов, выразив этими словами самую характерную черту искусства» [1. Т. 15. С. 143].

По мысли Толстого, искусство достигает своей цели – «заражения» чувствами – в той мере, в какой художник находит бесконечно малые выразительные моменты. Этому «чуть-чуть», по мысли Толстого, не учат в школах, это не «техника», но признак подлинного таланта, умеющего видеть «границы содержания».

Мысль о значении «чуть-чуть» в настоящем искусстве Толстой повторит в своем отзыве о скульпторе П.П. Трубецком. Трубецкой несколько раз бывал в Ясной Поляне, ему принадлежит статуэтка «Л.Н. Толстой верхом». Толстой, при всей своей нелюбви к скульптуре, высоко ценил талант Трубецкого. В. Булгаков передает отзыв о нем Толстого: «Трубецкой удивлял меня, как этим удивляет большой художник и в музыке! Он лепил статуэтку: вот такая рука и такая головка, и он в этой головке кое-что снимет, кое-что прибавит, и получается то, что он хочет» [5. С. 288].

В романе «Анна Каренина» Толстой одновременно подчеркивает духовно-содержательную ценность искусства и важность особых форм, в которых художник видит мир. Эта слитность содержания и техники, добра и красоты дана в яркой формулировке: «<...> технику противоплавали внутреннему достоинству, как будто можно было написать хорошо то, что было дурно» [1. Т. 9. С. 47].

По парадоксальной логике писателя, «техника» только вредит искусству, ибо плодит дилетантов. Мысль эта принципиальна для Толстого, записавшего в дневнике 9 июня 1901 г.: «Одно из самых вредных дел, в особенности для той самой цели, которой хотят достигнуть, есть обучение искусству, то есть тем образцам, которые считаются лучшими, тому вкусу, который царствует. Ничто так не задерживает развитие искусства» [1. Т. 22. С. 137].

Эпизоды романа «Анна Каренина», связанные с художником Михайловым и дилетантом Вронским, органично дополняют теоретические высказывания Толстого об искусстве в его позднем трактате «Что такое искусство?» (1897). В стремлении лучше обосновать свои взгляды на искусство Толстой

приступил в 1882 г. к систематическим занятиям эстетикой, плодом которых стал трактат. Книга эта произвела большое впечатление в русских литературно-общественных кругах резкой постановкой вопросов, касавшихся всех сфер художественной жизни. «Большой переполох вызывает у нас статья Толстого об искусстве – и гениально и дико в одно и то же время», – писал 26 января 1896 г. Чехову Левитан [6. С. 137].

Толстой, упорно размышлявший над проблемой творчества и ремесла, не мог пройти мимо нее в своей главной работе по эстетике. Трактат, писавшийся 15 лет, содержит немало страниц на тему искусства и его имитации.

Гневная характеристика современного «поддельного» искусства в позднем трактате Толстого во многом повторяет страницы романа «Анна Каренина», посвященные любительской живописи Вронского. Если в «Анне Карениной» писатель дает ироническую оценку ремесленного искусства, основанного исключительно на «технике», то через тридцать лет он представит развернутый анализ такого псевдоискусства, усилив резкость отзывов о нем. Сатирическое слово Толстого найдет на страницах его трактата полное выражение.

Так, в двенадцатой главе трактата «Что такое искусство?» писатель вновь глубоко задумывается о «технике» и «школах» в искусстве. Он убежден в том, что произведение искусство «производить» по волевому импульсу невозможно: «надо, чтобы оно само родилось в художнике». Но, поскольку в обеспеченном слое общества все время возрастает потребность в наслаждении искусством и поскольку индустрия развлечений должна развиваться, художники, по мысли Толстого, выработали ряд приемов, посредством которых можно производить произведения, имитирующие искусство.

Писатель дает подробный анализ этих чисто формальных приемов, направленных на усиление экспрессии и активизацию восприятия зрителя, читателя или слушателя. По словам Толстого, «приемы эти следующие: 1) заимствование, 2) подражательность, 3) поразительность и 4) занимательность» [1. Т. 15. С. 128]. Сущность их вполне утилитарна: произвести впечатление «поэтического» произведения искусства при бедности содержания и полном авторском эмоциональном бесстрастии.

Несомненно, что отмеченные формальные приемы создания экспрессии восходят к художественному опыту самого Толстого. Писатель сам нередко использовал эти приемы, но с принципиально иной функциональной целью: вынесения на поверхность важного смысла. Приемы же, описанные в трактате, воспринимаются как сатира на ремесленное, поддельное искусство. Они являются предвестием той безликой литературы, которую в наши дни принято называть массовой, или «паралитературой».

Первый прием, по Толстому, состоит в заимствовании целых сюжетов или их элементов из известных произведений и умении «<...> так переделывать их, чтобы они с некоторыми добавлениями представляли нечто новое» [1. Т. 15. С. 129]. Такие заимствования, сделанные небезостановочными авторами, легко принять за подлинное искусство: «<...> когда за такие заимствования берутся люди начитанные и талантливые, да еще выработавшие технику своего искусства, то выходят те заимствования из греческого, древнего, христианского и мифологического мира, которых так много развелось, и в особен-

ности теперь так много продолжает появляться, и которые принимаются публикой за произведения» [1. Т. 15. С. 129].

Второй прием, подражательность, состоит в натуралистическом копировании жизни. Суть его в том, чтобы «<...> передавать подробности, сопутствующие тому, что описывается или изображается». В литературе этот прием предполагает необходимость «<...> описывать до малейших подробностей внешний вид, лица, одежды, жесты, звуки, помещения действующих лиц со всеми случайностями, которые встречаются в жизни <...>». В драматическом искусстве прием заключается в том, «чтобы, кроме подражательности речи, вся обстановка, все действия лиц были точно такие же, как в настоящей жизни. В живописи прием этот сводит живопись к фотографии и уничтожает разницу между фотографией и живописью. Как ни, казалось бы, странно это, прием этот употребляется и в музыке: музыка старается подражать не только ритмом, но и самыми звуками, теми звуками, которые в жизни сопутствуют тому, что она хочет изображать» [1. Т. 15. С. 130].

Третий прием, поразительность, Толстой определяет как эффект, основанный на контрастах: «ужасного и нежного, прекрасного и безобразного, громкого и тихого, темного и светлого, самого обыкновенного и самого необычайного». Кроме эффекта контрастов в словесном искусстве возможно натуралистическое изображение подробностей, вызывающих половую похоть или чувство ужаса: «так, например, чтобы при описании убийства было протокольное описание разрывов тканей, опухолей, запаха, количества и вида крови» [1. Т. 15. С. 130–131]. Этот прием близок к искусству «болевого эффекта», которым владел сам Толстой, автор таких произведений, как «Смерть Ивана Ильича», «Власть тьмы».

В трактате «Что такое искусство?» Толстой характеризует специфические способы создания эффекта в искусствах разного рода: живописи, драме, музыке. Речь идет о таком важном вопросе эстетики, как различие «языков» искусств.

В живописи, по словам Толстого, выразителен контраст, «<...> состоящий в тщательной отделке одного предмета и небрежности всего остального. Главный же и употребительный в живописи эффект – это эффект света и изображения ужасного. В драме самые обыкновенные эффекты, кроме контрастов, – это бури, громы, лунный свет, действия на море или при море и перемена костюмов, обнажение женского тела, сумасшествие, убийства и вообще смерти, при которых умирающие с подробностью передают все фазисы агонии. В музыке самые употребительные эффекты – это то, чтобы с самых слабых и одинаковых звуков начиналось *crescendo* и усложнение, доходящее до самых сильных и сложных звуков всего оркестра, или чтобы одни и те же звуки повторялись *agreggio* во всех октавах разными инструментами, или то, чтобы гармония, темп и ритм были совершенно не те, которые естественно вытекают из хода музыкальной мысли, а поражали бы своею неожиданностью» [1. Т. 15. С. 131].

К универсальным средствам «поразительности» Толстой относит «общий всем искусствам» прием: «<...> изображение одним искусством того, что свойственно изображать другому, так чтобы музыка «описывала», как это делает вся программная музыка, и вагнеровская, и его последователей, а жи-

вопись, драма и поэзия «производили бы настроение», как это делает все декадентское искусство» [1. Т. 15. С. 131].

В своем эстетическом трактате Толстой вновь возвращается к критике музыкальных идей Рихарда Вагнера, о которых много писал в романе «Анна Каренина». В нем Левин доказывает, что «ошибка Вагнера и всех его последователей в том, что музыка хочет переходить в область чужого искусства». Теперь, в 1897 г., Толстой снова говорит, что «требования одного искусства не дадут возможности исполнения требований другого».

Наконец, четвертый прием создания экспрессии – интригующая занимательность. По словам Толстого, «<...> занимательность стала теперь очень употребительна. Как стихи и прозу, так и картины, и драмы, и музыкальные пьесы пишут так, что их надо угадывать, как ребусы, и этот процесс угадывания тоже доставляет удовольствие и дает подобие впечатления, получаемого от искусства» [1. Т. 15. С. 131–132].

По мысли Толстого, все эти приемы (часто встречающиеся в его собственных сочинениях), могут только имитировать искусство, если нет главного: «чувства, испытанного художником». Любые приемы мертвы без одухотворяющего их авторского начала. В лучшем случае они, в качестве технических навыков, могут служить созданию хорошего ремесленного произведения, но чаще всего – грубой подделки.

В своей эстетике Толстой строго разграничивает искусство и имитацию, художника и ремесленника. «Талант» в понимании писателя граничит с ремеслом и подражательностью. Он предполагает овладение системой приемов без участия в произведении искреннего, пережитого автором чувства. Усвоив определенные правила, талантливый автор может уже «<...> холодным способом, без малейшего чувства» производить «предметы».

В такой интерпретации таланта есть что-то близкое пушкинской дилемме таланта и гения, ремесла и вдохновения. Понятие «талант» для Толстого однозначно ущербно и противоположно другому: художник, творец.

Развивая мысль о подделках и суррогатах, наводнивших современное искусство, Толстой задумывается о дополнительных факторах, содействующих этому процессу. По его мысли, их три: «1) значительное вознаграждение художников за их произведения и потому установившаяся профессиональность художника, 2) художественная критика и 3) художественные школы» [1. Т. 15. С. 138].

Парадоксальным образом писатель осуждает профессионализм в искусстве, угрожающий его драгоценному свойству – искренности. По мысли Толстого, профессионализм означает для художника жизнь за счет гонораров, получаемых от продажи своих произведений.

В начале XIX в. А.С. Пушкин одним из первых стал утверждать право художника на продажу своих сочинений. Для Пушкина творчество перестало быть забавой, развлечением в часы досуга, свободные от службы, каким было прежде. Знаменита двуединая формула поэта, определяющая отношение творца к своему творению, одновременно высокое и прагматичное: «Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать» [7. С. 234]. В конце века Толстой уже готов пересмотреть вторую часть пушкинской формулы. Для

него в оплачиваемой профессиональности заключается главное условие распространения поддельного искусства.

Вторым условием замены искусства подделками является, по мысли Толстого, «ученая» критика, ибо «<...> толковать произведения художника нельзя. Если бы можно было словами растолковать то, что хотел сказать художник, он и сказал бы словами. А он сказал своим искусством, потому что другим способом нельзя было передать то чувство, которое он испытал» [1. Т. 15. С. 139]. Профессиональный критик подобен профессиональному художнику, поскольку оба не способны «заражаться искусством».

Наконец, считает Толстой, едва ли не самое вредное в искусстве – школы, обучающие искусству, ибо «никакая школа не может вызвать в человеке чувство и еще менее может научить человека тому, в чем состоит сущность искусства: проявлять чувство своим особенным, ему одному свойственным, способом» [1. Т. 15. С. 143].

Суждения автора «Что такое искусство?» об искусстве и подделках, школах и профессиональности на первый взгляд кажутся чрезмерно строгими и парадоксальными, но, по размышлению, им трудно отказать в глубине и убедительности. Искусство, соприкасаясь с коммерцией и индустрией развлечений, неизбежно мельчает.

Таким образом, в романе «Анна Каренина» и трактате «Что такое искусство?» Толстой глубоко осмыслил дилемму творца и дилетанта, искусства и имитации. Образ художника Михайлова жизненно достоверен, лишен романтических черт избранника, жреца. В отличие от Вронского, в нем нет ничего эффектного, театрального. Однако скромный художник Михайлов и есть истинный творец, способный к полной творческой самоотдаче, проникновению в мир «умопостигаемого». Создавая картину на сюжет Евангелия или портрет, художник только «снимает покровы», прозревая сквозь внешние черты онтологическое содержание.

По убеждению Толстого, подлинное искусство ювелирно в своей точности и тонкости, оно предполагает выразительные нюансы, мелкие детали – «чуть-чуть», подобное пятну стеарина на рисунке Михайлова. Напротив, ремесленное искусство лишено художественного ясновидения и оригинальности, отсутствие которых хочет возместить «техникой» и «приемами».

Литература

1. Толстой Л.Н. Собрание сочинений: в 22 т. М.: Худож. лит., 1978–1985.
2. Франк С.Л. Памяти Льва Толстого // Л.Н. Толстой: pro et contra: Личность и творчество Льва Толстого в оценке русских мыслителей и исследователей: антология. СПб.: Изд-во Рус. христиан. гуманит. ун-та, 2000. С. 544–555.
3. Платон. Собрание сочинений: в 4 т. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та; Изд-во Олега Абышко, 2006–2007.
4. Лосев А.Ф. Софисты. Сократ. Платон // Лосев А.Ф. История античной эстетики: в 8 т. Т. 2. М.: АСТ, 2000. 846 с.
5. Булгаков В.Л.Н. Толстой в последний год его жизни. М.: Гослитиздат, 1957. 536 с.
6. Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. М., 1980. Т. 17. 430 с.
7. Пушкин А.С. Собрание сочинений: в 10 т. М.: Худож. лит., 1974. Т. 2. 744 с.

Tomsk State University Journal of Philology, 2014, 6 (32), pp. 112–124. DOI 10.17223/19986645/32/8
Akhmetova Guzel' A., Bashkir State University (Ufa, Russian Federation).

E-mail: toha230@rambler.ru

LEO TOLSTOY ON CREATIVITY AND CRAFT (ANNA KARENINA, WHAT IS ART?).

Keywords: art, creativity, Plato, "intelligible", Bryullov, "slightly", artist, amateur, craft, technology, school, professional.

Leo Tolstoy's novel *Anna Karenina* and aesthetic treatise *What is art?* are analyzed in terms of their reflection in the writer's views on art and craft, art and imitation.

Tolstoy conceptualized the artist Mikhailov and the amateur Vronsky as special psychological types. Mikhailov's image is externally prosaic, it is deprived of the romantic traits of the chosen, the "prophet". In contrast, the portrait of Vronsky during his life with Anna in Italy, when he was interested in Italian painting, reproduces the artistic image of a patron, a freelance artist, who devoted himself to art. Theatricality of Vronsky's everyday behavior was intended to convince others and himself in his special mission.

Mikhailov is modest and natural in his life entirely devoted to creativity. Being a wonderful portrait artist, he does not write portraits; a new picture on the Gospel story requires a complete immersion and dedication from him.

It was Plato, "Tolstoy's spiritual brother" (S. Frank) who reflected on the ability of an artist to concentrate spiritually and exceed themselves in an irrational impulse. In the dialogues "Ion" and "Phaedrus" Plato gave an interpretation of the creative process as one of divine inspirations, or "mania". Tolstoy is close to Plato's understanding of creativity as a divine "obsession".

The artist's work is shown in the novel as an all-consuming process, full of anxieties, doubts and insights; the "creativity" of a dilettante – as a pastime, a tribute to the secular fashion. Vronsky finds inspiration in the finished art forms. The purpose of his efforts is the mastery of the technique of famous Italian artists, of the existing "genres of painting".

Tolstoy contrasts "technique" and genuine art as a way of "unveiling" that hide the "limits of content" from the artist and the viewer. Art is to expose the "core" of the human soul, penetrate the visible "covers" of the invisible, "intelligible" world. Through the external features a true artist begins to see the spiritual image, which is already close to Plato's world of "ideas".

In his aesthetics Tolstoy is often close to Plato. According to Plato, the most authentic world is that of "ideas". The real world is only a reflection of the ideal world, the root cause of all things. Art is an imitation of the real world ("shadow" of the world), the latter being an imitation of the world of "ideas" itself. Plato's idealism is part of the aesthetics of Tolstoy. Plato's understanding of creativity as a reflection of the "intelligible" appeals to Tolstoy. An example of Tolstoy's understanding of art as penetration into the world of the invisible and the "infinite" is Mikhailov's paintings: his picture on the Gospel story "Exhortation by Pilate" and the portrait of Anna Karenina.

In the perception of art as an ability to see subtle nuances, small details, Tolstoy is "slightly" close to a Russian painter K. Bryullov, who was quoted in the *What is art?* treatise. The art of nuances ("slightly") is not taught in schools, it is not a "technique", but a sign of a true artist who is able to see the ontological content through the external features.

References

1. Tolstoy L.N. *Sobraniye sochineniy v 22 tomakh* [Collected Works in 22 vols.]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura Publ., 1978-1985.
2. Frank S.L. Pamyati L'va Tolstogo [In memory of Leo Tolstoy]. In: Isupov K.G. *L.N. Tolstoy: pro et contra: Lichnost' i tvorchestvo L'va Tolstogo v otsenke russkikh mysliteley i issledovateley: Antologiya* [Leo Tolstoy: pro et contra: Personality and creativity of Leo Tolstoy in the assessment of Russian thinkers and researchers: An Anthology]. St. Petersburg: Russian Christian Humanitarian University Publ., 2000, pp. 544-555.
3. Plato. *Sobraniye sochineniy v 4 tomakh* [Collected Works in 4 vols.]. St. Petersburg: St. Petersburg University; Izd-vo Olega Abyshko Publ., 2006-2007.
4. Losev A.F. *Istoriya antichnoy estetiki. V 8 tomakh* [History of ancient aesthetics. In 8 volumes]. Moscow: AST Publ., 2000. Vol. 2, 846 p.
5. Bulgakov V. *L.N. Tolstoy v posledniy god ego zhizni* [Tolstoy in the last year of his life]. Moscow: Goslitizdat Publ., 1957. 536 p.
6. Chekhov A.P. *Polnoye sobraniye sochineniy i pisem v 30 tomakh* [Complete Works and Letters in 30 volumes]. Moscow, 1980. Vol. 17, 430 p.
7. Pushkin A.S. *Sobraniye sochineniy v 10 tomakh* [Collected Works in 10 vols.]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura Publ., 1974. Vol. 2, 744 p.

УДК 821.161.1

DOI 10.17223/19986645/32/9

В.С. Киселев, Э.М. Жиликова

«ПЛАН УЧЕНИЯ... НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА» В КОНТЕКСТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ В.А. ЖУКОВСКОГО¹

Статья посвящена истории текста «Плана учения Его Императорского Высочества Государя Великого Князя Наследника Цесаревича Александра Николаевича» и анализу его проблематики. Дается описание рукописей и публикаций «Плана», реконструируется контекст педагогической деятельности и творческих замыслов В.А. Жуковского, важный для понимания документа. Выявляются концептуальные источники образовательной программы (принципы И.Г. Песталоцци), нацеленной на всестороннее обучение и воспитание наследника престола.

Ключевые слова: В.А. Жуковский, И.Г. Песталоцци, история русской литературы, история русской педагогики.

В корпусе педагогической прозы В.А. Жуковского «План учения Его Императорского Высочества Государя Великого Князя Наследника Цесаревича Александра Николаевича» занимает особое место. Это, по сути, единственное концептуальное и последовательное изложение системной воспитательной программы. Другие тексты либо посвящались конкретным аспектам образования, исторического, языкового, литературного и т.п., либо комментировали отдельные положения педагогической методики. Подобной «весомости» документа способствовала, безусловно, важность миссии воспитателя наследника престола. Предельно ответственно относясь к возложенным на него обязанностям, Жуковский старался учесть лучший опыт современных педагогов, но придавал ему очень личное осмысление, исходившее из наблюдений предшествовавшей семейной (обучение Маши и Саши Протасовых, В.И. и А.П. Киреевских в конце 1800-х – середине 1810-х гг.) и придворной педагогической практики (см. о ней в целом [1–5]).

Последняя началась, когда 9 октября 1817 г. Жуковский по рекомендации вдовствующей императрицы Марии Федоровны, при которой он состоял чтецом, был назначен учителем русского языка великой княгини Александры Федоровны, жены Николая Павловича. Эти уроки продолжались по сентябрь 1820 г. и были прерваны отъездом ученицы на лечение минеральными водами за границу. Впрочем, Жуковский состоял и в этот период в свите великой княгини и периодически занимался с ней до 1825 г. Проанализировав подготовительные учебные материалы (общие программы, планы конкретных уроков, пособия), предназначенные для занятий с великой княгиней, Л.Н. Киселева справедливо констатировала, что «Жуковский отнесся к делу преподавания русского языка Александре Федоровне со всей серьезностью, вложив в это дело много времени, сил и того «энтузиазма», о

¹ Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 13-34-01228.

котором он писал А. Тургеневу» [6. С. 221]. И хотя результаты обучения оказались достаточно скромными («Планы Жуковского, включая темпы их проведения в жизнь, явно не соответствовали ни обстоятельствам жизни (придворная и семейная жизнь, светские и представительские функции), ни характеру его ученицы» [6. С. 221]), ему удалось привить воспитаннице любовь к русскому языку и литературе. В 1823 г. Мария Федоровна назначила поэта также учителем русского языка при невесте великого князя Михаила Павловича Фридерике Шарлотте Марии, после крещения Елене Павловне. Эти занятия также продолжались до 1825 г.

Новая должность воспитателя наследника престола, предложенная в июле 1824 г., требовала от Жуковского более широкого и детального подхода к педагогической деятельности, поскольку он должен был вести не один частный курс, а координировать деятельность других учителей и воплощать в жизнь единую универсальную образовательную программу. Первый ее набросок, сложившийся в ходе подготовительных занятий, мы находим в письме к великой княгине Александре Федоровне от 15 (27) ноября 1825 г.: «Я позволю себе представить Вашему Высочеству, сколь смогу, кратко, некоторые общие мысли о ходе обучения, которое мы могли бы избрать для нашего дорогого дитя. Вначале: в воспитании и обучении есть три основных срока, которые нужно с ясностью различать и отделять четкими границами: Ребенок – мужчина – государь. Ребенок должен быть счастлив. Мужчина должен учиться и быть деятельным. Государь должен иметь великие замыслы, прекрасный идеал, возвышенный взгляд на его предназначение, ничего несбыточного, но естественный результат всего, что предшествовало. Нужно относиться к нему, как к ребенку, в детстве, чтобы он мог стать однажды мужчиной и чем более будет он чувствовать себя мужчиной, тем менее усомнится он в том, что он государь, когда еще не настанет пора быть государем, и тем более будет он рад представшей пред ним великой судьбе, когда однажды его поздравят с его титулом <...>. Такова, в нескольких словах, общая характеристика, которой нужно придерживаться в подготовительном обучении, основные его принципы. Не хотеть многого; немного знаний, но полных и ясных; пытаться объять все, но в малой форме; основываться на главных предметах, дабы они могли послужить тем взглядам, которые легко объемлют все целиком; не затуманивать голову тем, что лишь второстепенно, что составляет лишь частности; вдаваться в подробности лишь ради того, чтобы составить четкую мысль о главном; медленно продвигаться от знакомого к незнакомому и оставлять позади лишь то, что уяснено, одним словом, лучше меньше, но хорошо усвоенное, чем много, но плохо усвоенное; ничего ради блеска, все ради прочности» [7. С. 272–273, 275].

Целостное изложение данная программа нашла в «Плане учения», известного нам по черновому автографу (ПД. Онегинское собрание. № 27815. Л. 2–20) и копии (ПД. Ф. 265 (Архив журнала «Русская старина»). Оп. 2. № 1043. Л. 1–36 об.). Копия «Плана учения» представляет собой переплетенную тетрадь большого формата с каллиграфической чистовой рукописью, предназначенной для публикации в журнале «Русская старина» [8]. В рукописи присутствуют карандашные и чернильные корректорские

пометы (деление на абзацы и т.п.) и исправления (орфографические ошибки), внесенные публикаторами, вероятно, М.И. Семеvским. Этот текст, кроме февральского номера «Русской старины» за 1880 г., был одновременно напечатан по той же копии, сообщенной М.И. Семеvским, в 30-м выпуске «Сборника Императорского Русского исторического общества» (февраль 1880 г.) в ряду других учебных материалов, подготовленных разными преподавателями для наследника престола великого князя Александра Николаевича [9].

К сожалению, черновые автографы «Плана учения» пока не были обнаружены, а известная нам рукопись Жуковского из «Онегинского собрания» РО ПД содержит в качестве исходного уровня текст, полностью совпадающий с копией «Русской старины» и печатным вариантом двух публикаций за исключением финального фрагмента с личным обращением к императору Николаю I: «Государь! может быть, прежде я бы не с такою доверенностью к вам употребил сей язык свободный! Но теперь, после того, что случилось, смелая искренность с вами не стоит никакого усилия. Вы познакомили с собою Россию; вы доказали нам, что можете благу общему жертвовать собою; в минуту опасную вы вверились своему народу; вашей неустрашимости обязаны мы сохранением спасительного царского трона; с этой минуты видим деятельность, имеем право надеяться времен прекрасных, порядка, законов, просвещения, всего, что было в душе Александра. При таких надеждах и мне, как верному подданному царя, как верному сыну отечества, усладительнее приступить к священному своему делу. Содействуйте, Государь, его успеху, помогая наставникам в ненарушимом исполнении их плана. Царствуя для блага России, вы будете царствовать и для вашего сына: он будет спокойно возрастать под благотворным влиянием правления мужественного; со временем от вас же научится высшему искусству; а наследием его будет устроенная Россия и люди, образованные вами для поддержания с ним вместе сего устройства» [8. С. 253] или [9. С. 20].

Очевидно, по этому тексту составлялась чистовая копия, предназначенная для утверждения императором Николаем I, сохранившаяся в бумагах Г.П. Павского и позднее послужившая источником для публикаторов¹ (о ее датировке см. ниже). Исправления, внесенные Жуковским в рукопись «Онегинского собрания», являются уже следующим этапом обработки текста и относятся, скорее всего, ко второй половине 1829 г., когда писатель обдумывал замысел педагогического придворного журнала «Собиратель» и включил в него большой заключительный фрагмент «Плана», посвященный истории [8. С. 251–253], под названием «Польза истории для государей» [10].

Исправления можно разделить на несколько групп. Первые сводятся к приведению плана в соответствие с реалиями уже начавшегося процесса обучения: изменение списка учителей для предметов первого периода (л. 14), исключение подробной номенклатуры занятий «talантами» (музыка,

¹ На л. 36 об. копии «Русской старины» есть помета карандашом: «Сообщ<ил> Г<ерасим> А<лександрович> Орлов из бумаг его деда протоиерея Герасима Петровича Павского», перенесенная публикаторами в печатный текст [8. С. 253].

рисование, танцы, гимнастика, ручная работа) (л. 9–10) и детального описания предполагавшихся пособий – библиотеки, карт, эстампов (л. 15–16) и т.п. Вторые представляют собой зачеркивание ряда фрагментов, акцентировавших определенные положения «царской педагогики» Жуковского и адресованных напрямую высочайшему адресату «Плана» Николаю I, как, например, фразы в разделе о ваканциях наследника престола, которые предполагалось посвятить военным упражнениям: «Одно только необходимое условие – чтобы сии военные наставительные игры принадлежали исключительно одной эпохе года и нисколько не вмешивались в остальное ученье, которое в противном случай расстроят совершенно, ибо уничтожат внимание»; «Великому Князю должно быть не простым солдатом, а мужем, достойным престола России. И здесь целью было не одно знание фрунта, механически приобретаемое»; «Такого рода забава не должна быть одна механическая экзерциция солдата, бесплодная, если не убийственная для нравственного человека: с нею во власти наставника весь человек и все его силы» (л. 13) и т.п. Еще несколько подобных зачеркиваний содержалось в разделе «Некоторые примечания» и касалось советов ограничить нарушения учебного календаря из-за разъездов великого князя, связанных с выполнением придворных обязанностей (л. 17). Наконец, Жуковский исключил из текста прямые обращения к императору с изложением своего образа мыслей (л. 18 и приведенный выше финал «Плана»). Можно предположить, что писатель раздумывал над возможностью полной или частичной публикации документа и вносимые сокращения придавали ему необходимую обобщенность, снимали частную адресацию. Но до реализации замысел не был доведен, в отличие от «Введения в историю государства Российского» и «Черт истории государства Российского», напечатанных в придворной типографии соответственно в 1830 и 1834 гг.

Датировать «План учения» позволяют обстоятельства назначения Жуковского воспитателем великого князя Александра Николаевича, а также финал статьи, где упоминаются события 14 (26) декабря 1825 г., причем как недавние: «Но *теперь, после того, что случилось <...>* Вы познакомили с собою Россию <...> в минуту опасную вы вверились своему народу; вашей неустрашимости обязаны мы сохранением спасительного царского трона». (курсив наш. – В.К., Э.Ж.). Это намечает верхнюю хронологическую границу работы над текстом – начало 1826 г., вероятнее всего – январь-февраль 1826 г., поскольку в феврале Жуковский был утвержден в должности наставника наследника престола, для чего план учения должен был быть уже представленным и одобренным. Нижняя граница определяется предложением Николая Павловича, будущего императора, занять эту должность, данным в июле 1824 г. Если учесть, что к занятиям с великим князем Жуковский приступил только в июне 1825 г., а 15 (27) ноября в письме к великой княгине Александре Федоровне [7], будущей императрице, сообщал о неготовности к полному обозрению плана обучения, можно предположить, что время создания рукописи – декабрь 1825 г. – февраль 1826 г.

Положения указанного письма к великой княгине Александре Федоровне нашли развитие в «Плане учения», где сложилась общая образовательная

система. Ее цель Жуковский позднее сформулировал так: «Дело идет о средствах обеспечить успех воспитания великого князя и довести его до предпринятой цели, а именно: образовать в нем монарха великой империи» (письмо к императрице Александре Федоровне от 1 (13) июня 1827 г. [11]). Цель предполагалось достичь в три этапа, выступавших прообразами начального, среднего и высшего образования. Первый – с 8 до 13 лет – включал в себя «приготовительное учение», т.е. изучение общеобразовательных дисциплин. Второй период – с 13 до 18 лет – предусматривал «учение подробное», т.е. систематический курс начал основных наук, и третий период – с 18 до 20 лет – «учение применительное», ориентированное на жизненную практику наследника престола, круг его «профессиональных» обязанностей.

Свою педагогическую систему Жуковский основал на методике, предложенной И.Г. Песталоцци (1746–1827), создателя оригинальной системы образования, базировавшейся на идеях Ж.Ж. Руссо и оказавшей огромное влияние на европейскую педагогическую мысль. Писатель был хорошо знаком с образовательной концепцией известного швейцарского педагога. Еще в период редактирования «Вестника Европы» он публикует статью «Фелленберг и Песталоцци» [12], излагает суть его метода [13]. В библиотеке Жуковского имеется целый ряд произведений, излагающих педагогическую систему Песталоцци (см. указатель имен в [14]), а также собрание сочинений швейцарского педагога [15].

Песталоцци, автор большого числа педагогических трудов, в том числе «Журнала для воспитания», создал систему развивающего «природосообразного» обучения ребенка, включающую развитие познавательных способностей, отказ от механической зубрежки, требование гармонического развития всех сил и способностей человеческой природы. Его система характеризовалась демократизмом: «целью деятельности Песталоцци было всеобщее начальное образование народа» [16]. Песталоцци руководил известными воспитательными заведениями в Швейцарии: «Учреждением для бедных» (1798–1799), средней школой и интернатом в Бургдорфе (1800–1804) и Ивердоне (1805–1825).

Имя Песталоцци стало известно в России при участии Фредерика-Сезара Лагарпа (1754–1838), видного швейцарского государственного деятеля, воспитателя великого князя Александра Павловича в 1784–1795 гг. и рекомендовавшего русскому императору Павлу I некоторые педагогические указания швейцарца [16. С. 20–21]. Известно, что между Песталоцци и ректором Дерптского университета, профессором физики Г.Ф. Парротом в 1804 г. шла переписка по поводу возможного приезда педагога на службу в Россию [17]. Во время обучения в Геттингенском университете Песталоцци посетил в Швейцарии А.С. Кайсаров, друг Ан. И. Тургенева и Жуковского. Ознакомлению с идеями Песталоцци в России способствовали переводы и обсуждения его трудов в журналах. В 1806–1807 гг. Императорской Академией наук была опубликована в переводе «Книга для матерей, или Способ учить дитя наблюдать и говорить» с предисловием переводчика Ф.Г. Покровского, учителя В.А. Жуковского. В «Вестнике Европы» в 1807 г. была помещена статья «О новой методе воспитания, изобретенной Песталоццием, швейцарским пе-

дагогом» [18]. В дерптском и петербургском окружении Жуковского, помимо Г.Ф. Паррота, с Песталоцци был связан Иоганн Мюральт (Муральт, 1780–1850), бывший с 1803 г. (до переселения в Россию в 1810 г.) одним из основных сотрудников учебных заведений Песталоцци в Бургдорфе, Мюнхенбухзее и Ивердоне [17. С. 126], а затем учредителем училища при реформатской церкви в Петербурге, в котором нашли практическое воплощение идеи Песталоцци [16. С. 31–35].

Таким образом, обращение Жуковского к его методике было подготовлено всеобщим и растущим интересом общества к вопросам детского воспитания и педагогическим системам. Для самого Жуковского эти проблемы были предельно важны в связи с личной педагогической практикой в воспитании сестер Протасовых и малолетних, оставшихся без отца детей В.И. и А.П. Киреевских. В записной книжке «Разные замечания. 1807» среди рассуждений на морально-философские темы, представляющих, по мнению А.С. Янушкевича, «опыт примечаний, комментария к моральным статьям из знаменитой французской энциклопедии Дидро и Д'Аламбера» [19. Т. 13. С. 463], важное место занимают записи на тему «первого воспитания ребенка», «отношений матери и дитя» [19. Т. 13. С. 38, 42, 46]. В письме к И.И. Дмитриеву от 10 марта 1810 г. из Москвы Жуковский, рисуя свои планы, включает в их круг знакомство с Песталоцци: «Иногда, вообразив, что счастье в Петербурге, готов уже взять подорожную; то вздумается, что оно на каких-нибудь Швейцарских горах, и я мечтаю о путешествии в Швейцарию, о двух-трех годах, проведенных у Песталоцци, для того чтобы завести что-нибудь подобное его институту в России и быть через то истинно полезным» [20]. Имя Песталоцци как высшего педагогического авторитета называется в письме А.П. Елагиной к В.А. Жуковскому от 15 мая 1815 г. в связи с постоянно обсуждаемым ими вопросом воспитания детей. «<...> Все мне будет весело жить по часам, расположенным вами, – пишет она. – <...> Меня достанет на все <...> я готова быть <...> самим Песталоцци с детьми своими <...>» [21]. Идеи Песталоцци реализовались и в деятельности Жуковского по обучению великой княгини Александры Федоровны русскому языку в 1817–1820 гг., которое педагог старался согласовывать с повседневной жизнью ученицы и строить на «природосообразных» основах, используя в том числе и приемы обучения языку, рекомендованные швейцарцем (см. подробнее [6]).

Заинтересованное внимание к Песталоцци проявится и позже – во время путешествия Жуковского за границу в августе – сентябре 1821 г. Судя по записям в дневнике, писатель из-за недостатка времени не попал «ни в Ивердон, ни в Невшатель» и сокрушался о том, что «это лишило <его> счастья видеть старика Песталоцци» [19. Т. 13. С. 209], но он встретился с К.В. Бонстеттеном (1745–1832), главой швейцарской культуры, говорил с ним о Байроне, мадам де Сталь и Песталоцци и зафиксировал в дневнике как важное услышанное от Бонстеттена о мадам де Сталь – «ее живости с Песталоцци; его candeur [душевной чистоте], его образовании и разговоре; его экономии; опеки от Ивердуна; Песталоцци у M-m Staël» [19. Т. 13. С. 211]. Жуковский также посетил замок Ферней и побывал у Ф.Э. Фелленберга, еще одного известного швейцарского педагога, сторонника соединения детского труда (в основе земледельческого) с обучением и воспитанием, устроителя в 1794 г.

в Гофвиле воспитательных учреждений с разными уровнями образования в зависимости от экономического достатка семьи ученика: сельскую школу – для бедных, пансион и учительскую семинарию для детей благородного сословия. Поэт описал в дневнике эти визиты в подробностях и деталях: «Поездка в Гофвиль. <...> Дом Фелленбергов. Магазин для машин. Погреб. Мастерская. Училище бедных и Верли. Дом пенсионеров. Turnanstalt. Дом приготовления для бедных девочек. Сад пенсионеров. <...> Пенсион: горницы, спальни, кабинеты для двух, цветники. Фелленберг; разговор: важность поповедника; главная мысль. О государе. Наш священник. Школа для бедных: их спальня, учебная горница; собственный минеральный кабинет. Верли. О Песталоцци» [19. Т. 13. С. 213].

В подготовке и реализации плана обучения и воспитания наследника престола Жуковский проявил себя как подлинный педагог-новатор, который успешно адаптировал модель обучения в народной школе, разработанную и проверенную Песталоцци, для элитарного индивидуализированного образования. Так, основой первого, «приготовительного» периода обучения становится у Жуковского «практическая логика», т.е., у Песталоцци, процесс, построенный по принципу «от простого к сложному», который сначала позволяет детям анализировать признаки и свойства предметов, и далее по мере обобщения информации приходиться к чётким понятиям о них. Во главу угла такого способа обучения ставится цель научить детей логическому мышлению, активизировать их ум к постановке задач и их решению. «Практическую логику», однако, Жуковский дополняет «теоретической логикой», основанной на библейской истории и христианской нравственности, подчиняя тем самым обучение моральному воспитанию, главной цели всей своей педагогической программы («Цель *воспитания* вообще и *учения* в особенности есть *образование для добродетели*» [8. С. 231]). Это же соотношение выдерживается и во втором периоде, когда систематическое усвоение начал основных наук становится лишь фундаментом для нравственного самоопределения, ответа на вопрос, «что я быть должен» и «к чему я предназначен» [8. С. 232].

Оригинальную разработку нашли в «Плане» и педагогической деятельности Жуковского и другие воспитательно-образовательные принципы Песталоцци – **порядок и систематичность** («предметы учения должны быть преподаваемы в их естественной *связи*, не совокупно, а *по порядку*, с сохранением надлежащей *постепенности*, переходя от *легкого к трудному*, так, чтобы в голове воспитанника по истечении первого периода могла остаться полная *система приготовительных знаний*» [8. С. 234]); **формирование собственной мотивации и интереса к учению** («*Возбуждение собственной деятельности воспитанника*» [8. С. 237]; «Стараться сделать и предмет учения и самое учение привлекательными, возбуждая любопытство, владея вниманием, питая воображение, говоря сердцу» [8. С. 237–238]); **свобода** («Весь труд должен выполняться теми, кто его окружает; он же должен чувствовать себя свободным, должен идти впереди, не замечая, что его ведут. Свобода – это громкое слово, свобода означает свободно и с удовольствием делать то, что велит долг. Это основной принцип его нравственного воспитания, и

одновременно это же принцип его обучения» [7. С. 273]), а также **наглядность** (наглядным пособиям – картам, эстампам, «гипсам», физическим приборам, минералогическим образцам и пр. – посвящен целый раздел «Плана»), **интерактивность**, **учет индивидуальных качеств воспитанника** и др. (подробнее о педагогической программе Жуковского см. [22]).

Особой заботой воспитателя была также минимизация влияний, обусловленных специфическими обязанностями великого князя – придворными и военными. Они были неизбежны, но, по мысли Жуковского, должны быть введены в приемлемые рамки, согласующиеся со всей системой образования. В этих целях он просил Николая I ограничить переезды воспитанника и его участие в придворных церемониях («Осмелюсь сказать откровенно: частые переезды из места в место кажутся мне весьма вредными для занятий Великого Князя» [8. С. 248]). В рамки каникул должны были помещаться и военные штудии, считавшиеся для наследника престола едва ли не важнейшим элементом с петровских времен: «Все это время могло бы быть посвящено разнообразной военной деятельности, а не одной механической. Великий Князь узнал бы на опыте службу и все ее оттенки. И сие занятие, которое могло бы мешать и вредить его учению, когда бы оно *во всякое время* было соединено с ним, сделалось бы новым, весьма действительным *средством образования*, когда бы совершенно от остального учения *отделилось*, когда бы ему посвящено было только такое время года, в которое всякое другое занятие обременительно» [8. С. 242–243]. Жуковскому удалось изменить традицию, император пошел ему навстречу, более того, личным решением отложил начало практического обучения сына в петергофских лагерях до 1829 г. Однако вместо создания «потешной» роты «под цесаревича» он приказал зачислить в июне 1827 г. девятилетнего великого князя цесаревича Александра Николаевича в списки кадетов Первого кадетского корпуса.

Финал «Плана» Жуковский посвятил излюбленной мысли о значении истории для политической деятельности государя, одному из основных положений своей «царской педагогики», развиваемой в русле идей Иоганна Мюллера (1752–1809). Известный швейцарский историк и публицист был в числе любимых авторов Жуковского, его избранные письма к Виктору Бонстеттену он переводил еще для «Вестника Европы» [23–24] и считал «катехизисом того человека, который хочет посвятить себя наукам» (письмо А.И. Тургеневу от 19 сентября 1810 г. [25]). В исторических воззрениях Мюллера Жуковский наиболее ценил две мысли: об истории как орудии нравственно-политического воспитания, уроке народам и царям и о верховной силе закона, сочетающегося с просвещенным правлением самодержавного монарха, обоснование чему Мюллер находил у Монтескье в «Духе законов».

Эти идеи в дальнейшем Жуковский выделял и у других философов. «Закон есть порядок, направляющий движение», – записал он на полях «Политики» Густава Эверса. «Три истины знать должен каждый: закон, человек, время, Бог» – подчеркнул Жуковский при чтении И.-Я. Энгеля (подробнее см. [26]). В дневнике 1835 г. писатель констатировал: «А что такое справедливость его правителя: охранение прав, законом утвержденных, следственно,

строгая покорность закону без всякого изъятия. <...> Тут всего необходимее для нас и для нашего государя твердая законность: привычка к ней и в царе и в подданных достаточно заменит всякую конституцию» [19. Т. 14. С. 29].

Слова Мюллера выступили лейтмотивом финального отрывка «Плана», позднее изданного в «Собирателе» [10]: «Наконец, в заключение слова Иоанна Мюллера, которыми он оканчивает свою “Всемирную историю”: умеренность – порядок, а смысл их не упускай никогда из глаз своей цели; подвигайся вперед не быстро, но постоянно; строй без спеха, но для веков; исправляй не разрушая, не упреждай своего века, и не отставай от него; не будь его рабом, но свободно с ним соглашайся: будешь владеть им, когда не презришь его совета; будешь его жертвою или окружишь себя жертвами, если хочешь его пересилить”» [8. С. 252–253].

Финальной точкой этой «царской педагогики» можно считать письмо к великому князю Александру Николаевичу от 3 (15) декабря 1848 г. – 19 (31) января 1849 г., где Жуковский в очередной раз ссылается на слова Миллера, спроецированные на события Мартовской революции в Германии: «Надобно повторить здесь правила Иоганна Миллера: умеренность, порядок или (как должно перевести эти слова) Божия правда» [27].

Педагогическая деятельность Жуковского в должности воспитателя наследника престола, продолжавшаяся до 1837 г., нашла свое продолжение в 1840-е гг., в ходе занятий уже с собственными детьми, для которых он хотел разработать такой же полный и систематичный круг образования, переведя тем самым элитарное образование на уровень общедоступного. Подготовленные материалы Жуковский думал издать впоследствии как пособие для родителей и учителей. Плодом этих усилий выступили и заметки о воспитании, вошедшие в цикл «Мыслей и замечаний».

Литература

1. Кирпичников А. В. А. Жуковский как поэт-воспитатель // Вестн. воспитания. 1902. № 4. С. 1–14.
2. Красногородцев А. В. Педагогические взгляды Жуковского (1852–1902): В память пятидесятилетия со дня смерти поэта. СПб., 1902.
3. Михневич А. Жуковский как педагог // Педагогический сборник. 1902. № 12. С. 361–389.
4. Степанов Н. П. В. А. Жуковский как наставник царя-освободителя. СПб., 1902.
5. Костылева С. Е. В. А. Жуковский – педагог // Белевские чтения: Посвящается памяти протоиерея Михаила Федоровича Бурцева. М., 2002. Вып. 2. С. 122–132.
6. Киселева Л. Н. Жуковский – преподаватель русского языка (начало «царской педагогики») // Пушкинские чтения в Тарту 3. Материалы международной конференции, посвященной 220-летию В. А. Жуковского и 200-летию Ф. И. Тютчева. Тарту, 2004. С. 199–228.
7. *Le monde slave*. 1925. № 1. Р. 270–277.
8. Жуковский В. А. Подробный план учения Государя Великого Князя Наследника Цесаревича. 1826. Составил Василий Андреевич Жуковский // Русская старина. 1880. № 2. С. 227–253¹.
9. Жуковский В. А. План учения Его Императорского Высочества Государя Великого Князя Наследника Цесаревича Александра Николаевича // Сборник Императорского Русского исторического общества. Вып. 30. Годы учения Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича Александра Николаевича, ныне благополучно царствующего Государя Императора. 1826–

¹ На с. 229–230 – вступительная заметка М. И. Семевского.

1838. Т. 1. СПб., 1880. С. 1–20¹. Жуковский В.А. Польза истории для государей // Собираатель. 1829. № 1. С. 9–11.
10. Жуковский В.А. Сочинения: в 6 т. / под ред. П.А. Ефремова. 7-е изд., испр. и доп. СПб., 1878. Т. 6. С. 290.
11. Жуковский В.А. Фелленберг и Песталоцци // Вестн. Европы. 1808. Ч. 42, № 23. С. 185–197.
12. О методе Песталоцци. Отрывок Торлицева путешествия в Швейцарию (в 1803) // Вестн. Европы. 1810. Ч. 49, № 1. С. 290–309.
13. Библиотека В.А. Жуковского: описание / сост. В.В. Лобанов. Томск, 1981.
14. Pestalozzi's sämtliche Schriften. Bd. 1–12. Stuttgart u. Tübingen, 1819–1829.
15. Данилевский Р.Ю. Россия и Швейцария: Литературные связи XVIII–XIX вв. Л., 1984. С. 28.
16. Ротенберг В.А., Шаббаева М.Ф. Связи И.-Г. Песталоцци с Россией в первой четверти XIX в. // Сов. педагогика. 1960. № 8. С. 119.
17. О новой методе воспитания, изобретенной Песталоццием, швейцарским педагогом // Вестн. Европы. 1807. Ч. 27, № 11. С. 183–204.
18. Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. М., 1999–2013.
19. Русский архив. 1900. № 9. С. 9.
20. Переписка В.А. Жуковского и А.П. Елагиной. 1813–1852. М., 2009. С. 75.
21. Симиновский П.М., Тебиев Б.К. Образование для добродетели: педагогические взгляды и деятельность В.А. Жуковского. М., 2003.
22. Жуковский В.А. Несколько писем Иоанна Миллера, историка Швейцарии, к Карлу Бонстеттену, другу его // Вестн. Европы. 1810. Ч. 52, № 16. С. 263–285.
23. Жуковский В.А. Отрывки из писем Иоанна Миллера к Карлу Бонстеттену // Вестн. Европы. 1811. Ч. 56, № 6. С. 83–100.
24. Письма В.А. Жуковского к Александру Ивановичу Тургеневу. М., 1895. С. 69.
25. Янушкевич А.С. Круг чтения В.А. Жуковского 1820–1830-х годов как отражение его общественной позиции // Библиотека В.А. Жуковского в Томске. Томск, 1978. Ч. 1. С. 466–521.
26. Русский архив. 1885. № 2. С. 268.

Tomsk State University Journal of Philology, 2014, 6 (32), pp. 125–136. DOI 10.17223/19986645/32/9
 Kiselev Vitaly S., Zhilyakova Emma M., Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).
 E-mail: kv-uliss@mail.ru / emmaluk@yandex.ru

"PLAN OF THE EDUCATION ... OF TSAREVICH ALEXANDER NIKOLAEVICH" IN THE CONTEXT OF V.A. ZHUKOVSKY'S PEDAGOGICAL LEGACY.

Keywords: V.A. Zhukovsky, I.G. Pestalozzi, history of Russian literature, history of Russian pedagogy.

"Plan of the education of His Imperial Highness Grand Duke Tsarevich Alexander Nikolaevich" is a conceptual and consistent presentation of Zhukovsky's systemic educational programs. In it, he tried to take into account the best practices of contemporary educators, giving them a very personal reflection based on the observations of the preceding family (teacher of Masha and Sasha Protassov, V.I. and A.P. Kireevsky in the late 1800s – middle 1810s) and court practice teaching (teacher of Russian Grand Duchesses Alexandra Feodorovna in 1817–1825 and Elena Pavlovna in 1823–1825). The position of the educator of the Heir to the throne, proposed in July 1824, required a broader and more detailed approach to teaching from Zhukovsky, as he was responsible not only for teaching a single course, but also for coordinating the activities of other teachers and implementing a single universal education program.

The "Plan of the education" is a holistic account of the program, known to us from a draft autograph (Pushkin House. Onegin Collection. No. 27815. P. 2–20) and its copy (Pushkin House. Fund 265 (Archive of *Russkaya Starina* journal). List 2. No. 1043. Page 1–36 rev.). The second version of the text dates back to the end of 1825 – beginning of 1826; it is the draft of the fair copy intended for the approval of Emperor Nicholas I. It was preserved in the papers of G.P. Pavsky and later became the source for the publishers of *Russkaya Starina* journal (the first edition of the "Plan"). Corrections Zhukovsky made in the manuscript of the Onegin Collection are already the next stage of text process-

¹ На с. 20 помета: Сообщен М.И. Семевским.

ing and were most likely made in the second half of 1829, when the writer was considering the idea of a pedagogical court journal "The Collector" ("Sobiratel"). Zhukovsky included the great final piece of the "Plan" entitled "The use of history for sovereigns" there.

The purpose of a comprehensive education and training of the Heir to the throne was to be achieved in three phases which were the prototypes of primary, secondary and higher education. The first phase – from 8 to 13 – included "preparatory learning", i.e. the study of general disciplines. The second period – from 13 to 18 – called for "detailed learning", i.e. systematic courses of the basics of sciences, and the third period – from 18 to 20 – "applied learning", focused on the life practice of the Heir to the throne, his "professional" duties. Zhukovsky founded his pedagogical system on the procedure by I.G. Pestalozzi (1746-1827), the creator of an original system of education based on the ideas of Jean Jacques Rousseau. The system had an immense impact on the European educational thought.

The writer was the promoter of this system, popular in Russia since the end of the 18th century, since the period of his editing *The Messenger of Europe* (1808-1811). In the preparation and implementation of the "Plan", Zhukovsky showed himself as a genuine teacher and innovator who successfully adapted the model of teaching in people's school Pestalozzi developed to the individualized education for the elite.

References

1. Kirpichnikov A. V.A. Zhukovskiy kak poet-vospitatel' [Zhukovsky as a poet-educator]. *Vestnik vospitaniya*, 1902, no. 4, pp. 1-14.
2. Krasnogorodtsev A.V. *Pedagogicheskie vzglyady Zhukovskogo (1852- 1902): V pamyat' pyatidesyatiletiya so dnya smerti poeta* [Pedagogical views of Zhukovsky (1852- 1902): In commemoration of the fiftieth anniversary of the death of the poet]. St. Petersburg, 1902.
3. Mikhnevich A. Zhukovskiy kak pedagog [Zhukovsky as a teacher]. *Pedagogicheskii sbornik*, 1902, no. 12, pp. 361-389.
4. Stepanov N.P. *V.A. Zhukovskiy kak nastavnik tsarya-osvoboditelya* [V.A. Zhukovsky as a mentor of Tsar the Liberator]. St. Petersburg, 1902.
5. Kostyleva S.E. [V.A. Zhukovsky as a teacher]. *Belevskie chteniya: Posvyashchaetsya pamyati protoiereya Mikhaila Fedorovicha Burtseva* [Belevsky Readings: Dedicated to the memory of Archpriest Mikhail Fedorovich Burtsev]. Moscow, 2002, issue 2, pp. 122-132. (In Russian).
6. Kiseleva L.N. [Zhukovsky as the Russian language teacher (beginning of the "royal pedagogy")]. *Pushkinskie chteniya v Tartu 3. Materialy mezhdunarodnoy konferentsii, posvyashchennoy 220-letiyu V.A. Zhukovskogo i 200-letiyu F.I. Tyutcheva* [Pushkin Readings in Tartu 3. Proceedings of the international conference on the 220th anniversary of V.A. Zhukovsky and the 200th anniversary of F.I. Tyutchev]. Tartu, 2004, pp. 199-228. (In Russian).
7. *Le monde slave*, 1925, no. 1, pp. 270-277.
8. Zhukovsky V.A. *Podrobnnyy plan ucheniya Gosudarya Velikogo Knyazya Naslednika Tsesarevicha. 1826. Sostavil Vasilii Andreevich Zhukovskiy* [A detailed plan for the education of Grand Duke Tsarevich. 1826. Compiled by Vasily Zhukovsky]. *Russkaya starina*, 1880, no. 2, pp. 227-253.
9. Zhukovsky V.A. *Plan ucheniya Ego Imperatorskogo Vysochestva Gosudarya Velikogo Knyazya Naslednika Tsesarevicha Aleksandra Nikolaevicha* [A Detailed Plan of the Education of His Imperial Highness Grand Duke Tsarevich Alexander Nikolaevich]. *Sbornik Imperatorskogo Russkogo istoricheskogo obshchestva*, 1880, issue 30, pp. 1-20.
10. Zhukovskiy V.A. *Pol'za istorii dlya gosudarey* [The use of history for sovereigns]. *Sobiratel'*, 1829, no. 1, pp. 9-11.
11. Efremov P.A. (ed.) *Sochineniya V.A. Zhukovskogo: V 6 t.* [Works of V.A. Zhukovsky: in 6 vols.]. 7th edition. St. Petersburg, 1878. Vol. 6, p. 290.
12. Zhukovskiy V.A. *Fellenberg i Pestalotsti* [Fellenberg and Pestalozzi]. *Vestnik Evropy – The Messenger of Europe*, 1808, pt. 42, no. 23, pp. 185-197.
13. *O metode Pestalotsiya. Otryvok Torlitseva puteshestviya v Shveysariyu (v 1803)* [The method of Pestalozzi. Excerpt of Torlitsev's travel to Switzerland (in 1803)]. *Vestnik Evropy – The Messenger of Europe*, 1810, pt. 49, no. 1, pp. 290-309.
14. Lobanov V.V. *Biblioteka V.A. Zhukovskogo: Opisanie* [The library of V.A. Zhukovsky: Description]. Tomsk: Tomsk State University Publ., 1981.
15. *Pestalozzi's sämtliche Schriften*. Stuttgart u. Tübingen, 1819-1829. Bd. 1-12.
16. Danilevskiy R.Yu. *Rossiya i Shveysariya. Literaturnye svyazi XVIII-XIX vv.* [Russia and

Switzerland. Literary connections in the 18th-19th centuries]. Leningrad: Nauka Publ., 1984. 276 p.

17. Rotenberg V.A., Shabaeva M.F. Svyazi I.-G. Pestalotstsi s Rossiey v pervoy chetverti XIX v. [Connections of Pestalozzi with Russia in the first quarter of the 19th century]. *Sovetskaya pedagogika*, 1960, no. 8.

18. O novoy metode vospitaniya, izobretennoy Pestalottsiem, shveytsarskim pedagogom [On a new method of education invented by Pestalozzi, a Swiss teacher]. *Vestnik Evropy – The Messenger of Europe*, 1807, pt. 27, no. 11, pp. 183-204.

19. Zhukovskiy V.A. *Polnoe sobranie sochineniy i pisem: V 20 t.* [Complete Works and Letters: In 20 vols.]. Moscow, 1999-2013.

20. *Russkiy arkhiv*, 1900, no. 9, p. 9.

21. Zhilyakova E.M. (ed.) *Perepiska V.A. Zhukovskogo i A.P. Elaginoy. 1813-1852* [Correspondence of V.A. Zhukovsky and A.P. Elagina. 1813-1852]. Moscow: Znak Publ., 2009. 728 p.

22. Siminovskiy P.M., Tebiev B.K. *Obrazovanie dlya dobrodeteli: pedagogicheskie vzglyady i deyatel'nost' V.A. Zhukovskogo* [Education for virtue: pedagogical views and activities of V.A. Zhukovsky]. Moscow: International Pedagogical Academy Publ., 2003. 160 p.

23. Zhukovskiy V.A. Neskol'ko pisem Ioanna Millera, istorika Shveytsarii, k Karlu Bonstettenu, drugu ego [Several letters of John Miller, a historian from Switzerland, to Karl Bonstetten, his friend]. *Vestnik Evropy – The Messenger of Europe*, 1810, pt. 52, no. 16, pp. 263-285.

24. Zhukovskiy V.A. Otryvki iz pisem Ioanna Millera k Karlu Bonstettenu [Excerpts from the letters of John Miller to Karl Bonstetten]. *Vestnik Evropy – The Messenger of Europe*, 1811, pt. 56, no. 6, pp. 83-100.

25. *Pis'ma V.A. Zhukovskogo k Aleksandru Ivanovichu Turgenevu* [Letters of V.A. Zhukovsky to Alexander Ivanovich Turgenev]. Moscow, 1895. 322 p.

26. Yanushkevich A.S. *Krug chteniya V. A. Zhukovskogo 1820-1830-kh godov kak otrazhenie ego obshchestvennoy pozitsii* [The reading circle of V.A. Zhukovsky in the 1820-1830s as a reflection of his social position]. In: Kanunova F.Z. (ed.) *Biblioteka V.A. Zhukovskogo v Tomske* [The library of V.A. Zhukovsky in Tomsk]. Tomsk: Tomsk State University Publ., 1978. Pt. 1, pp. 466-521.

27. *Russkiy arkhiv*, 1885, no. 2, p. 268.

УДК 821.161.1

DOI 10.17223/19986645/32/10

Т.Г. Прохорова

МЕТАРЕФЛЕКСИВНЫЙ ДИАЛОГ С Ф.М. ДОСТОЕВСКИМ В МАЛОЙ ПРОЗЕ ЮРИЯ БУЙДЫ

В статье исследуются формы метарефлексивного диалога с Ф.М. Достоевским в двух рассказах, завершающих цикл Ю. Буйды «Осорьинские хроники» (2014). Прослеживается, как этот диалог проявляется через метатекст, «чужую речь», интертекстуальные связи, цитаты, жанрово-композиционные и стилистические особенности произведений Буйды. В рассказах выражена рефлексия героев над творчеством Достоевского, авторская рефлексия над интерпретацией его прозы в работах Н. Бердяева и М.М. Бахтина, над явлениями действительности, предсказанными словом писателя.

Ключевые слова: Ф.М. Достоевский, Ю. Буйда, Н. Бердяев, Ставрогин, рефлексивный диалог, метатекст, интертекст, «чужая речь».

Метатекстуальность, предполагающая рефлекссию над собственным текстом, над чужим текстом, над текстом, включенным в текст, – явление в литературе не новое. В литературоведении накоплен богатый опыт его осмысления (см., в частности: [1, 2, 3, 4, 5, 6]). Творчество писателей постмодернистской эпохи, начиная с «Пушкинского дома» А. Битова, стоявшего у ее истоков, особенно показательным в этом плане. Для них характерны панзнаковый подход к реальности, восприятие мира как текста и, как следствие, гипертекстуальная поэтика. В ряду современных авторов, в творчестве которых метатекстуальность является своеобразным «фирменным знаком», Юрий Буйда занимает особое место. В докторской диссертации М.А. Бологовой, посвященной поэтике современной русской прозы, дается следующая его оценка: «...автор обладает знаниями и мудростью всемирной библиотеки и сверх того пониманием божественных порядков миро-устройства» [7]. В своей прозе Буйда часто соединяет метатекстовые и нарративные способы диалога с мировой литературой, использует прием маски, создавая мистифицированный образ автора, как это было сделано, в частности, в принесшем ему известность романе «Ермо» (см: [8]).

Предметом исследования в данной работе является метарефлексивный диалог Ю. Буйды с Ф.М. Достоевским – художником, обладающим пророческим даром, чьи идеи чрезвычайно значимы для понимания проблем современности, судеб человека и человечества.

Основным материалом анализа являются рассказы «Повесть о князе Алешеньке» и «Века Авраама и стад его» из цикла Буйды «Осорьинские хроники» (2014). Хотя диалогические связи с творческим наследием великого классика прослеживаются практически во всех произведениях цикла, но в двух рассказах, завершающих «Осорьинские хроники», они особенно значимы. Об этом свидетельствуют и сами заглавия, содержащие установку на диалог с Достоевским, и то, что герои этих рассказов читают его романы,

размышляют о них, профессионально изучают его творчество, наконец, сам писатель предстает здесь как действующее лицо.

Задача исследования – выяснить, как через «чужое слово», через «мысли о мыслях», «слово о словах», через интертекст и аллюзии, отсылающие к произведениям Достоевского, проявляется авторская позиция Ю. Буйды, его понимание явлений действительности, которые были предсказаны словом великого классика.

Заглавие «Осорьинские хроники» предполагает актуализацию темы времени, движения истории. Временной охват в цикле, действительно, огромен: в девяти рассказах автор прослеживает судьбы князей Осорьиных, начиная с эпохи Киевской Руси и до семидесятых годов XX в. Но на первом плане у Буйды все же находится судьба человека, которая вписывается в контекст философских размышлений писателя о вечных проблемах в их связи с современностью.

Имя Достоевского в «Осорьинских хрониках» впервые упоминается в рассказе «Добела, но не дочиста». Рефлексия по поводу его произведений направляет ход размышлений главного героя – князя Алексея Алексеевича Осорьина. Знакомя читателя с ним и определяя время действия, Буйда передоверяет своему герою некоторые мысли Достоевского из «Дневника писателя» за 1877 г., в котором он, откликаясь на события Русско-турецкой войны, скептически высказался по поводу славянского вопроса [9], а далее в уста героя автор вкладывает оценки его романов «Подросток» и «Преступление и наказание». Так, прочитанный наполовину, с закладками «новый роман Достоевского “Подросток”» получает следующий комментарий Осорьина: «Алексей Алексеевич подозревал, что чрезмерная религиозность рано или поздно доведет писателя до какого-нибудь протестантизма, ставящего личность выше мира, и считал, что православное чувство не может приноситься в жертву христианским идеям. Но при этом, однако, он высоко ценил автора “Преступления и наказания”, описавшего случай идейного, умственного убийства, у которого – в этом Осорьин был убежден – большое будущее в России» [10. С. 189].

Стилистика приведенного фрагмента уже наглядно свидетельствует об использовании Буйдой «чужой речи» в бахтинском понимании данного термина как «речи в речи, высказывании в высказывании, но в то же время это речь о речи, высказывание о высказывании» [2. С. 125]. Слово героя в данном случае становится и предметом изображения, и его отражением, и отражением этого отражения (см.: [6. С. 206]). Как известно, именно этот аспект поэтики выделяет М.М. Бахтин при анализе прозы Достоевского (см.: 11. С. 210–312). Ю. Буйда, затрагивая поднятые Достоевским философские вопросы, заимствует и характерные для него стилистические приемы.

Тема «умственного убийства» и тип личности, ставящей себя «выше мира», наиболее полно раскрывается в «Повести о князе Алешеньке». Она занимает особое место в «Осорьинских хрониках», поскольку именно здесь, помимо разнообразных диалогических связей с творчеством Достоевского, помимо рефлексии по поводу его героев, сам писатель предстает как действующее лицо. В этом рассказе использованы элементы детективной интриги, столь характерные для произведений Достоевского, а также форма диалога,

являющаяся важной особенностью его романов. Напомним, что М.М. Бахтин в своей монографии «Проблемы поэтики Достоевского» уделил диалогу особое внимание. Он подчеркивал, что «<...> человек у Достоевского есть субъект обращения. О нем нельзя говорить, – можно лишь обращаться к нему. <...>. Только в общении, во взаимодействии человека с человеком раскрывается и "человек в человеке" как для других, так и для себя самого.

Вполне понятно, что в центре художественного мира Достоевского должен находиться диалог, притом диалог не как средство, а как самоцель. Диалог здесь не преддверие к действию, а само действие» [11. С. 293].

В рассказе Буйды оба участника диалога – тайный советник Николай Николаевич Полуталов и Евгений Николаевич Осорьин – хорошо знают произведения великого классика и, аргументируя свои мысли, часто ссылаются на них, так что можно сказать, что третьим участником диалога становится сам Достоевский, тем более что в дальнейшем он уже в качестве одного из героев «заговорит» от своего лица, будет комментировать и прояснять философскую проблематику своей прозы. При этом все участники этого диалога, включая Достоевского, предстают в рассказе в роли своеобразных авторских двойников или заместителей в тексте.

Потудалова «газеты называли <...> главным экспертом по русскому бунту». По просьбе Осорьина он рассказывает ему об одном ранее не предававшемся огласке эпизоде своей богатой биографии. Главным предметом разговора становятся жизнь и судьба Алексея Осорьина-Туровского, или князя Алешеньки, как многие его называли.

«Ключом» к этой истории, на наш взгляд, служит выражение «личный интерес», с которого начинается рассказ Полуталова. В данном случае это словосочетание воспринимается не просто как узнаваемая цитата из романа «Преступление и наказание», но как маркирующий знак, указывающий на тех героев Достоевского, которые убеждены, что «все на свете на личном интересе основано», кто следует принципу: «возлюби прежде всех одного себя». Речь идет не просто об эгоизме, но о болезненных формах проявления «самости», своеволия. К числу таких героев и относится князь Осорьин-Туровский, который, по предположению Евгения Николаевича, является «настоящим прототипом Ставрогина из романа Достоевского “Бесы” <...>, а вовсе не Спешнев или Бакунин, как предполагают многие критики» [10. С. 221].

Имя главного героя «Повести о князе Алешеньке», казалось бы, аллюзивно связано с Алешей Карамазовым – одним из «хриstopодобных», по определению исследователя П.К. Фокина, героев Достоевского, кто был готов «простить всех и за все», кто молил бога не о себе, а «за все и за вся», кого отличают нравственная чистота и целомудрие, мудрость не ума, а сердца, общение с которым очищает всех, кто оказывается рядом с ним (см.: [12]). Но Буйда награждает своего князя Алешеньку всеми характерными чертами, присущими Ставрогину, – герою, воплощающему в себе скорее антихристово начало, выступающего в роли духовного растлителя. Очевидно, парадоксальное сочетание знакового имени и сущности героя понадобилось писателю, чтобы акцентировать внимание на теме противоборства ангельского и дьявольского в душе человека, столь значимой в творчестве Достоевского и являющейся одной из сквозных в «Осорьинских хрониках». Эта тема важна и

для понимания трагедии Ставрогина. По утверждению Н. Бердяева, «в духе Ставрогина жило и знание Богочеловека, и от Христа он не хотел отказаться в безмерности своих стремлений. Но утверждать разом и Христа и антихриста – значит все утратить, стать бедным, ничего уже не иметь» [13. С. 180].

Буйда, безусловно, был знаком с различными трактовками образа этого героя Достоевского. Но его интерпретация, на наш взгляд, является, прежде всего, реакцией на статью Н. Бердяева «Ставрогин» (1914). Примечательно, что и время действия в рассказе Буйды – 1914 г. Разговор Потуталова с Евгением Николаевичем Осорьбиным о князе Алешеньке закончился ровно в тот день и час, когда в России было объявлено о начале Первой мировой войны, проявившей последствия идеи сверхчеловека. Бердяев видит трагедию Ставрогина в «истощении от безмерности» [13. С. 178]. Он выделяет два этапа жизни героя и две его ипостаси: «<...> красавец, аристократ, гордый, безмерно сильный, “Иван Царевич”, “принц Гарри”, “Сокол”; все ждут от него чего-то необыкновенного и великого <...>. И тот же Ставрогин – человек <...> истощенный до гибели всего человеческого <...>» [13. С. 176–177]. По мысли философа, «трагедия “Бесов” есть трагедия одержания, беснования», когда личность «иссякла в бесновании хаоса, бесновании идей, бесновании страстей, революционных, эротических и просто мерзости человеческой» [13. С. 181].

Ю. Буйда, вторя Бердяеву, цитируя его, подчиняет тему распыления личности в «бесновании хаоса» своей задаче. Если Бердяев смотрит на Ставрогина из начала XX в., то Буйда – из XXI, когда последствия бесовской одержимости стали более очевидны. Закономерен гротеск, который использует автор «Повести о князе Алешеньке» при создании образа своего героя. Бесовское проявилось в нем в физиологической аномалии – в третьей руке. Повитуха, принимавшая роды, «не скрывая неприязни, сказала, что у мальчика рядом с правой рукой “болтается какое-то черт его знает что”» [10. С. 223]. Третья рука, которая со временем обрела силу и ни в чем не уступала двум другим, становится гротескным знаком исключительности. Устами Евгения Николаевича Осорьбина Буйда комментирует этот свой ход: «Достоевский, конечно, ни за что бы не позволил бы себе унижать роман таким чудом – его интересовали чудеса, так сказать, внутренние, утробные...» [10. С. 240]. Однако в «Осорьбинских хрониках» «чудо и чудовище» часто сопрягаются, поэтому очевидный ставрогинский подтекст образа князя Алешеньки намеренно утрируется автором.

Присущие герою Достоевского исключительные красота, физическая сила, отличают и героя Буйды, однако автор «Осорьбинских хроник» наделяет Алешеньку «красотой божественной, пленительной, страшной» и обаянием «именно дьявольским» [10. С. 224]. Отец решил, «раз уж сын родился таким особенным <...> воспитать из него гения, человека исключительного во всех отношениях» [10. С. 223]. Мальчику легко давалось все – языки, науки, поэзия, живопись, музыка, фехтование, словом, все, за что бы он ни брался. Но уже с детства в нем проявляется бесовская одержимость, не признающая меры, границы, «порога», которая составляет, по наблюдению Бердяева, сущность характера Ставрогина. «Vesania, неистовство, какая-то оголтелость – вот что пугало в нем. <...> Он ни в чем не знал меры, но ничем не мог и ув-

лечься по-настоящему; <...> до поры до времени это уберегало юношу от бед. Может быть, уже тогда он знал, что станет не великим ученым или великим музыкантом, но великим обольстителем» [10. С. 225]. Как мы увидим в дальнейшем, понятие «обольщение» трактуется Буйдой широко, оно связано далеко не только с обольщением женщины, но предполагает игровое начало, определяющее сущность его героя.

Первое преступление Алешеньки было совершено из-за «безудержного эротизма», как определил это качество Бердяев по отношению к Ставрогину. Подростком князь сблизился с пятнадцатилетней племянницей своего учителя немецкого и однажды, подчиняясь «темному неистовству», изнасиловал и задушил ее. Анализируя произошедшее, доктор Вагнер сказал его отцу: «Всякий человек, считающий себя исключением из правил, опасен, ибо не знает границ и меры. <...> А главная беда <...> коренится в его убеждении в том, что если он наказан самим Богом, то никто другой наказывать его не смеет, что он – вне представлений человеческих о преступлении и наказании» [10. С. 227–228].

В свое время Бердяев дал Николаю Ставрогину следующую характеристику: «<...> это личность, потерявшая границы, от безмерного утверждения себя, потерявшая себя» [13. С. 180]. Разврат Ставрогина его «жуткое сладострастие, скрытое под маской бесстрастия, спокойствия, холодности» философ рассматривает как «глубокую метафизическую проблему. <...> одно из выражений трагедии истощения от безмерности» [13. С. 181]. Обратим особое внимание на слово «маска». Героя Буйды тоже сопровождает мотив маски. Писатель показывает, к чему приводит вытеснение из жизни естественности, поглощенность игрой, которая приобретает тотальный характер. Эта мысль выражена в размышлениях Потудалова: «<...> цивилизации гибнут, когда в их жизни побеждает театральное начало. Все больше масок, все больше фальши. <...> люди забывают о своем месте, когда маски становятся лицами» [10. С. 228, 229].

В характере князя Алешеньки Потудалов выделяет актерство как главную черту. Он называет ложь, игру, «вдохновенную и неистовую», «самой сильной стороной его природы». Примечателен литературный комментарий, который дает Николай Николаевич: «Помните ли, князь, одну особенность Федора Павловича Карамазова? Он часто лгал и знал, что лжет, но иногда лгал с таким вдохновением, так входил в роль, что и сам в свою ложь начинал верить... » [10. С. 229].

Итак, в этом образе Буйды проступает карамазовщина. Параллели со Ставрогиным не мешают этому, а напротив, придают образу князя Алешеньки дополнительные краски. Игра, даже неистовая, предполагает расчет, неудивительно, что «холодность была чуть ли не главной его чертой – поклонники даже называли его Ледяным принцем, и это его качество вызывало у них оргиастический восторг... Ну и темное облако тайны, которое окутывало его, – что еще нужно для легенды? Третья рука, избранничество, исключительность, убийство...» [10. С. 231–232]. За этой характеристикой следует комментарий Полуталова: «Легенды легко поработают мечтателей, превращая их в жестоких животных, а уж темные легенды и подавно» [10. С. 232].

Юношей Алешеньку «тянуло к людям, которые жили на границе света и тьмы, к бунтовщикам, революционерам, к опасным мечтателям. И вскоре он стал среди них своим <...>» [10. С. 230]. Но тогда же у него возникли связи с тайной полицией, и он стал играть две роли одновременно: для одних он был «нигилист, душа революционного кружка, новый Дантон, а для других – расчетливый шпион, холодно наблюдающий за товарищами, чтобы ночью составить отчет для полиции об их настроениях» [10. С. 231].

Актерство проявилось и при встрече князя Алешеньки с Достоевским. В этом спектакле он выразил себя как режиссер и как актер, хорошо знающий произведения писателя, предлагающий свою их версию, рефлексирующий над его излюбленной проблематикой. Режиссерскому замыслу героя способствовал и соответствующий антураж этой сцены – желтый снег. Рассказ о том, как и когда произошла встреча Осорьина-Туровского с Достоевским, сопровождается следующими литературоведческими сентенциями Потудалова по поводу цветовой символики:

– Кажется мне, что Достоевский недолюбливал желтый цвет. <...> Вот у Державина желтый торжествует, желтый у него – праздник, слава, жизнь и упоение жизнью, а у Достоевского – тусклятина, тоска и тошнота бытия. Он даже желтый снег придумал для своего подпольного человека. Желтый снег, надо ж додуматься! Но тем вечером, когда князь Алешенька направился к Достоевскому, в Петербурге шел желтый снег, воистину желтый, это я готов утверждать под присягой... [10. С. 235].

Этой встрече предшествовала завязка, разыгранная, чтобы задать ключевую тему спектакля – бесовского своеволия. Демонстрируется то, что Бердяев называл «беснованием страстей, революционных, эротических и просто мерзости человеческой». За полчаса до того, как явиться в квартиру писателя, Осорьин-Туровский «в Радуловских банях изнасиловал и убил девушку Варю, служанку Достоевских, которая сопровождала хозяина с корзинкой белья» [10. С. 235]. Во время следствия он не скрывал, что убийство было частью его игры: «Была поначалу мысль – представить дело таким образом, будто это Федор Михайлович ее изнасиловал и убил, чтобы скомпрометировать его, известного сладострастника... но когда *насытился*, решил, что это глупости, что действовать нужно прямым образом...» [10. С. 236].

Но действовать «прямым образом» не позволяло князю Алешеньке его актерство. Во время следствия он так и не признался, зачем явился к Достоевскому: то ли хотел убить писателя, то ли «ради разговора по душам о романе “Преступление и наказание”, в главном герое которого – Раскольникове – якобы усмотрел свой портрет, но портрет искаженный, психологически недостоверный, поскольку он, Осорьин-Туровский, ни за что бы не явился в полицию с повинной, а если бы был пойман, не искал бы путей к новой жизни в Евангелии <...>» [10. С. 236].

Во время разговора с писателем проявляется литературная игра, которая начинается с выбора формы, характерной для произведений Достоевского, – «разговора, напоминающего исповедь» [10. С. 237]. У Буйды исповедь князя Алешеньки получает двойную адресацию: Потудалов рассказывает Евгению

Николаевичу то, что ему поведал Достоевский, к которому и были обращены откровения Осорьина-Туровского.

Исповедь героя содержит, помимо очевидной отсылки к «Исповеди» Ставрогина, аллюзии и к поэме Ивана Карамазова о Великом инквизиторе, и к роману булгаковского Мастера о Пилате и Иешуа. Обосновывая свои жизненные принципы, герой Буйды тоже обращается к евангельскому сюжету, к образам Пилата и Иисуса Христа. Но, подобно Ставрогину, он вкладывает в исповедальную форму противоположное этому жанру содержание. Исповедь в христианском понимании предполагает покаяние. «Евангелие понимает покаяние не просто как раскаяние, но и как возрождение, полное изменение (metanoia) существа» [14. С. 18–19]. Вместо этого в исповеди героя Буйды выражены даже не «гордое самоутверждение, красивая защитная поза», как у Ставрогина (см.: [7]), а циничное обоснование права на преступление. Для этого Осорьин-Туровский по-своему трактует заповедь Христа, видя ее смысл «в том, чтобы быть собой». Вся жизнь Христа была, по его словам, «путем к себе, к себе подлинному. Он был <...> многоликим, с умными – умным, со святыми – святым, с развратниками – гнуснейшим из них <...> и все это совершенно естественно уживалось в нем, в его душе, не вызывая никаких мучений, угрызений совести, ибо он был свободен, а свобода вне морали <...> Он стал дьявольским Ничто, в котором находил Все <...>» [10. С. 237]. Князь Алешенька утверждал, что идет путем Христа, который хотел «стать злом, чтобы изжить его навсегда ради <...> всеобщего счастья...» [10. С. 238].

Примечательно, что в рассказе Буйды ответ Достоевского на эти сентенции героя содержит почти цитату из статьи Бердяева «Ставрогин».

У Буйды:

Достоевский подхватил разговор, заметив, что *зло есть путь*, а не состояние, и *Голгофа – не конец пути, но начало нового* <...> однако свобода не самоценна, она лишь средство к достижению идеала, а потому не может быть вне морали <...>» [10. С. 238] (курсив мой. – Т.П.).

У Бердяева:

У Достоевского было в глубочайшем смысле антиномическое отношение ко злу. Зло есть зло, оно должно быть побеждено. И зло должно быть изжито и испытано, через зло что-то открывается, оно *тоже путь* <...> *Голгофа не последний этап пути* [13. С. 185, 186] (курсив мой. – Т.П.).

В рассказе «путь зла» героя был оборван его самоубийством, как и путь Ставрогина. Но жизнь Осорьина-Туровского была бы неполной, если бы автор не провел его через испытание любовью. В рассказе Буйды есть две любовные истории, через которые раскрывается образ князя Алешеньки. Обе они обнаруживают игровую диалогическую связь с «Бесами», но позволяют увидеть не себялюбца, вознесшегося в своей гордыне до Бога, а человека, стремящегося обрести дом, страдающего от одиночества и проживающего не свою жизнь. Эти сюжетные линии соотносятся друг с другом по принципу

пародии. Трагедия оборачивается фарсом. Оба женских образа у Буйды связаны с образом Хромоножки – Марии Тимофеевны Лебядкиной, ставшей формальной женой Ставрогина. В первом случае отсылка именно к этой героине Достоевского прозрачна и воспринимается как указующий знак: первой женой князя Алешеньки стала «хромоножка» Арина. Правда, в отличие от героини Достоевского, она «вовсе не относилась к типу ущербных созданий <...> была темноглазой, веселой и очень красивой» [10. С. 233]. Заметим, что характеристика «веселая» («радостный взгляд») является важной и в портрете юрливой Хромоножки-Лебядкиной.

Но если Ставрогин женился на Марье Тимофеевне из желания «исклечить какую-нибудь жизнь, но как можно противнее», Алешенька был счастлив в браке, хотя и очень недолго: спустя четыре месяца после рождения их дочери Манечки Арина вместе с матерью погибли в железнодорожной катастрофе. Переживая эту потерю, «князь Алешенька словно обуглился от горя» [10. С. 234], и после этого его «поступки приобрели пугающую безоглядность» и жестокость.

Второй брак Осорьина-Туровского, как и ставрогинский брак с Лебядкиной, был тайным. Он венчался с Анной Терентьевной Куфайкиной – хозяйкой гробовой лавки, «гильдейской купчихой, особой корпулентной и краснолицей». Впервые увидев ее лавку с гробами, князь Алешенька произнес: «Что ж, это именно то, что мне нужно, мое место, и поделом» [10. С. 241]. В этом эпизоде вновь просматривается аллюзивная отсылка к известной сцене из «Бесов», когда Марья Тимофеевна Лебядкина, интуитивно чувствуя двуличие Ставрогина и словно желая обнаружить множественность его масок, называет его то «князь» и «сокол», то «сыч и купчишка», то «самозванец», «Гришка От-репёв-ев <...>» [15. С. 270, 271].

Князь Осорьин-Туровский тоже примерил на себя эти маски. «Ледяной принц» стал играть роль «мелкого пошлого дельца, купчишки Куфайкина». Он энергично взялся за дело, обнаружив настоящую купеческую жилку в торговле гробами, и «клиент в лавку пошел жирный, солидный» [10. С. 242]. «По воскресеньям супруги Осорьины с дочерью гуляли в общественных садах, пили лимонад или портер в приличных заведениях, на ночь читали Евангелие – “все чин чином”» [10. С. 242]. Лишь изредка театральность поведения нарушалась игрой совсем другого плана: князь «любил улечься в гроб и изобразить покойника, отчего его супруга хохотала до колик, тогда как хозяин оставался серьезным, как февраль» [10. С. 242].

«Идиллическая» жизнь князя Алешеньки в роли Куфайкина тоже длилась недолго. Её прервала смерть, реальная, а не шутовски изображаемая, его дочери Манечки. Как известно, в христианском сознании с именем Мария связана память о матери Христа. Но, подобно Достоевскому, который, как отмечают исследователи, «избегая даже намека на прямые параллели, <...> ни одну из своих героинь – обладательницу имени – не называет полным именем – Мария» [15. С. 13], Буйда называет девочку Манечкой. Примечательно, что именно с ее смертью тема отпадения героя от Бога получает в рассказе свое завершение. «Неделю он вставал затемно, садился на стул и просиживал в углу не шевелясь, не откликаясь, весь черный и страшный <...> но однажды схватил револьверы, поцеловал жену в щеку и быстро вышел» [10. С. 243].

Герой еще делает попытку вновь перейти с одной сцены на другую, сменить амплуа, вернуть себе роль судьи и вершителя судеб человеческих, но то, что Бердяев назвал «распылением» личности, уже произошло.

Буйда заставляет Потудалова подвести печальный итог своему рассказу и поставить диагноз болезни целого поколения: «<...> третья рука <...> стала <...> неким символом или метафорой <...> это всеобщая болезнь. <...> Быть может, эпоха безбожия неизбежна и в каком-то смысле необходима. Иногда я даже думаю, что Богу и самому надоело водить нас на помочах. Выросли – шагайте сами. И пошагали, еще как пошагали. Идея Воплощения стала слишком трудна, не по плечу, не по уму и не сердцу, а вот Обоожествление и проще, и легче. <...> Потом поклонение Богу подменяется поклонением героям, а там и до поклонения тирану рукой подать, причем зачастую – до самого либерального поклонения самому жестокому тирану. <...> Никакая Церковь не устоит перед историей, которая движется по пути наименьшего сопротивления <...> И к власти придет Ничто, в котором не будет ничего, а только третья рука. Не правая, не левая <...> но третья <...>. Она и станет властью. И это будет не золотая середина, но именно последняя крайность – Ничто. <...> Вот вам и русский выбор – между героем и гробовщиком» [10. С. 244–245].

В последнем рассказе цикла Буйда обращается к тому этапу истории, когда поклонение Богу сменилось поклонением тиранам, когда к власти пришло Ничто. В название произведения, завершающего «Осорьинские хроники», вынесена цитата из эпилога «Преступления и наказания» – «Века Авраама и стад его». У Достоевского с ним связана идея обновления, освобождения героя от власти бесчеловечной теории. В конце романа Раскольников видит облитую солнцем необозримую степь, где «была свобода и жили другие люди, непохожие на здешних», где «самое время остановилось» [17. С. 531]. У Буйды образ вечности скорее обращает читателя к вечной болезни, к мысли о неподвластной времени болезни страсти, способной «уничтожить разум, воспитание <...> умение отличать добро от зла <...>» [10. С. 277].

В рассказе «Века Авраама...» сходятся темы и мотивы, образующие внутренний сюжет цикла: свободы и своеволия, преступления и наказания, вины и ответственности, любви-страсти, заставляющей переступать «порог», и любви к Богу, без которой мир превращается в «мир мертвецов» [10. С. 271]. Герой – Александр Иванович Осорьин – выдающийся славист, автор двухтомника об эволюции языка и стиля Достоевского – сам участвует в диалоге с великим писателем. Ему Буйда доверяет дать оценку обезбоженному миру: «Александр Иванович считал, что массовые войны нового времени с особенной остротой ставят проблему личной ответственности, проблему человеческого в человеке. <...> Нынешняя война <...> отменив чувство вины en masse, отменила тем самым и покаяние, и преображение, и оправдание человека перед лицом Бога и истории, в конце концов, отменила Бога, вселив в людей мысль о том, что *платить не надо*. <...> Люди утратили главную потребность – потребность в стыде, чувстве вины, которое и отличает человека от животного. <...> Таковы реалии обезбоженного мира, в котором личная вина подменяется фикцией коллективной ответственности, в котором и преступление, и наказание оказываются такими же бескровными фикциями.

Этот новый мир <...> nihil-мир, и сохранить человеческое достоинство и остаться в живых в нем можно только одним способом – взять на себя вину за то, чего ты не совершал. <...> Бог-для всех сегодня может быть только Богом для меня: аз есмь Иисус, воскресающий Лазаря, и аз есмь Лазарь, воскресающий Господу моему Иисусу... » [10. С. 271–272].

Таким образом, здесь дается трактовка человекобога, преступления и наказания, близкая экзистенциалистской философии. Герой Буйды – знаток Достоевского, который, как доказано исследователями, являлся предтечей экзистенциализма (см., в частности: [18; 19; 20]). После приведенных выше философских рассуждений Осорьина в рассказе представлены записи из дневника его друга Германа Винтера, в которых делается акцент на недоверии к разуму, иррациональности духовной жизни человека: «<...> разговор естественным образом обращался к <...> «Преступлению и наказанию», финал которого потряс Запад <...> ибо поступок Раскольникова – его признание в убийстве – с точки зрения европейца может трактоваться только как сознательный отказ от ума, от последнего шанса, от борьбы, от победы, что для Достоевского равнозначно спасению, а для европейца – поражению...» [10. С. 272].

В лекции о «Преступлении и наказании», которую Александр Иванович Осорьин читал в апреле 1945-го в Нидденбурге перед семнадцатью немецкими студентами под грохот русской артиллерии и авиации, рассказывая о последнем сне Раскольникова, «о моровой язве разделения человечества, о мистических трихинах», он говорил и о том, что можно противопоставить расколу и разобщенности людей, делился своей мечтой «о том дне, когда миллионы сольются в братском объятии, в пламени божественной любви...» [10. С. 273]. Ключом к этой лекции служило немецкое слово *Neil*, которое в его древних значениях Осорьин трактовал как «цель, исцеление, целостность». Студенты, «пораженные в самое сердце словами полубезумного профессора, его экстатической верой, особенно впечатляющей в разгар Апокалипсиса» [10. С. 274], в ответ на его возглас «Neil!» ответили ему троекратным «Neil!». Но это было не приветствие тирана, а приветствие утопической мечты об обретении целостности.

Следует отметить, что устремленность к идеалу Целого определяет идейно-эстетическую направленность многих произведений Ю. Буйды. Она выражена и в его книгах новеллистики («Прусская невеста», «Все проплывающие»), и в его романах («Синяя кровь», «Вор, шпион и убийца» и др.). Включенные в текст цитаты, реминисценции, аллюзии раздвигают границы в мир Целого. Тех, кому близок этот идеал, Буйда обретает в пространстве культуры, среди них Шекспир, Шиллер, Рильке, Г. Бенн, Н.В. Гоголь и многие другие. Через диалог с Достоевским Буйда вновь возвращается к столь значимой для него идее.

Однако герой рассказа «Века Авраама и стад его» не просто выражает близкие автору идеи, но и предстает «в роли» героя-идеолога Достоевского. «Теория» Осорьина, родившаяся на основе осмысления произведений классика, казалось бы, противоположна «теории» Раскольникова. Тем не менее Буйда ставит его в ситуацию героя «Преступления и наказания», совершившего убийство для «пробы» и затем донесшего на себя в полицию: «18 де-

кабря 1963 года в Лондоне был казнен сэр Алекс Осорьин, князь Александр Иванович Осорьин, профессор Оксфорда, славист с мировым именем, который изнасиловал и жестоко убил Фанни Браун, сироту, калеку и дурочку, известную под прозвищем Блаженная Фанни (SavouryFanny). <...>

Во время следствия выяснилось, что на его счету еще два убийства – Ингрид Домингес, студентки из колледжа Святой Анны, и Эллен Джонс, порتلандской проститутки» [10. С. 267].

Все три преступления имели первоисточком еще одно. В апреле 1945 г., «незадолго до того, как советские танки ворвались на улицы Нидденбурга», Александр Иванович встретил Анну Леви, юную еврейку, которую его друг Винтер прятал от гестапо. «Она поздоровалась и прошла мимо, и этого оказалось достаточно, чтобы погиб мир». «Запах корицы, влажный взгляд, маленькое круглое ушко», и он понял, «что готов на все, чтобы завладеть этой девушкой...». Он «был как горящий дом, дом с рушащимися перекрытиями, в глубине которого, среди дыма и пламени, мечутся обреченные люди» [10. С. 278–279]. Это был огонь, бушующий в его «погибающей душе». В бредовом состоянии Александр Иванович написал донос в гестапо на своего друга. Но ему помешала (или его спасла) бомба, сброшенная английским самолетом и попавшая в дом Германа Винтера.

Ключевым образом рассказа «Века Авраама и стад его» является любимая картина Александра Ивановича Осорьина «Ночная охота», принадлежащая кисти Паоло Уччелло. Для главного героя размышление над ее загадкой – это одновременно и погружение в глубины собственного подсознания, и рефлексия над загадкой губительной страсти, над тем, что происходит, когда человек пересекает порог, отделяющий свободу от своеволия/несвободы. Размышление над символическими смыслами картины Уччелло может быть воспринято и как саморефлексия Буйды над собственным творчеством, в котором каждая деталь становится «неотменимой частью целого». Подруга Александра Ивановича Кьяра Панич говорила, что эта картина – аллегория любовной охоты. Продолжая ее мысль и рассматривая это полотно сквозь призму собственного опыта, Осорьин в предсмертном письме к ней писал: «Страсть – это не любовь <...> страсть убивает любовь, и только случай спас меня тогда от гибели полной и окончательной... <...> моя душа, помимо моей воли продолжала охоту за незримой и неведомой целью, стремясь перейти черту и оказаться во тьме, откуда нет возврата, а я об этом и не догадывался» [10. С. 278].

Осорьин перечитывал Достоевского, писал о нем, читал лекции, но вновь и вновь возвращался мыслями и чувствами к Анне Леви, к тому, «как писал донос, как сам отнес его в гестапо <...> все это стало его тьмой, его адом на долгие годы, и оставалось только одно – устремиться в эту тьму вслед за охотниками, загонщиками и гончими, настигнуть добычу, стать другим, пройти через преображение и получить прощение, в пламени которого горят только тела, но не души <...>» [10. С. 280]. Этот ад души и подтолкнул его к новым преступлениям: он убил Ингрид Домингес, потом – Эллен Джонс. После каждого убийства ему не хватало душевных сил набрать номер и позвонить в полицию. И только когда он убил калеку и дурочку Блаженную Фан-

ни, «существо чистое и священное», его рука, крутившая диск телефона, не дрогнула.

Вынесенный ему смертный приговор он воспринял как «гармоничное совпадение законов человеческих, законов государственных и законов Божьих». Это позволило Осорьину наконец почувствовать себя свободным, поэтому он завершил свое письмо-исповедь, адресованное Панич, цитатой из эпилога «Преступления и наказания», в которой выражены чувства Раскольникова, сбросившего наконец с души груз преступной теории. Однако цена такого освобождения – несколько человеческих жизней. Если Достоевский ведет своего героя к воскрешению души, то в обезбоженном мире, в котором живет герой Буйды, места для подобного духовного преображения просто не осталось.

Литература

1. Лотман Ю.М. Роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин»: спецкурс: вводные лекции в изучение текста. Тарту, 1975. URL: <http://www.ruthenia.ru/document/532837.html> (дата обращения: 02.11.2014).
2. Волошинов В.Н. [Бахтин М.М.] Марксизм и философия языка. М.: Лабиринт, 1993. 188 с.
3. Абашева М.П. Литература в поисках лица: русская проза в конце XX века: становление авторской идентичности. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2001. 320 с.
4. Бак Д.П. История и теория литературного самосознания: Творческая рефлексия в литературном произведении. Кемерово: Изд-во Кемер. гос. ун-та, 1992. 82 с.
5. Русская литература в XX веке: имена, проблемы, культурный диалог. Вып. 6: Формы саморефлексии литературы XX века: метатекст и метатекстовые структуры / ред. Т.Л. Рыбальченко. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004.
6. Ким Хён Ён. Теория метатекста и формы ее проявления в поэтике // Acta Slavica Iaponica. 2004/ № 21. С. 202–213.
7. Бологова М.А. Поэтика русской прозы 1990–2000-х годов: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Новосибирск, 2013 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.dissercat.com/content/poetika-russkoi-prozy-1990-2000-kh-godov>
8. Гулиус Н.С. Художественная мистификация как прием текстопорождения в русской прозе 1980–1990-х гг.: А. Битов, М. Харитонов, Ю. Буйда: дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2006. 204 с.
9. Достоевский Ф.М. Дневник писателя (1877, сентябрь – декабрь) [Электронный ресурс]. URL: http://bookz.ru/authors/dostoevskii-fedor/dostoevskij_dn4/1-dostoevskij_dn4.html (дата обращения 15.10. 2014)
10. Буйда Ю.В. Яд и мед: повесть и рассказы. М.: Эксмо, 2014. 288 с.
11. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. 4-е изд. М.: Сов. Россия, 1979. 320 с.
12. Фокин П.Е. Алеша Карамазов.[Электронный ресурс]. URL: <http://dic.academic.ru/dic.nsf/litheroes/86/%D0%90%D0%9B%D0%81%D0%A8%D0%90> (дата обращения: 05.09. 2014).
13. Бердяев Н. Ставрогин. // Бердяев Н. Философия творчества, культуры, искусства: в 2 т. Т. 2. М.: Искусство, 1994. 510 с.
14. Уваров М. Архитектоника исповедального слова. СПб.: Алетейя, 1998. 256 с.
15. Достоевский Ф.М. Бесы. // Достоевский Ф.М. Собр. соч.: в 12 т. Т. 8. М.: Правда, 1982. 461 с.
16. Дубеник Е.А. Литературные ассоциации в образе Марьи Тимофеевны Лебядкиной. // Русская речь. 2010. №5. С. 12–17.
17. Достоевский Ф.М. Преступление и наказание. // Собр. соч.: в 12 т. Т. 5. М., 1982. 544 с.
18. Ерофеев В. Найти в человеке человека. М.: Зебра: Эксмо, 2003. 287 с.
19. Николаевская Т.Е. Достоевский как предтеча европейского экзистенциализма (опыт проблемного исследования): автореф. дис. ... канд. филос. наук. М., 1999. 18 с.
20. Лесевицкий А.В. Конфликт индивидуального и социального в экзистенциалистской философии Достоевского [Электронный ресурс]. URL: <http://politika.snauka.ru/2013/08/876> (дата обращения: 10.10. 2014).

Tomsk State University Journal of Philology, 2014, 6 (32), pp. 137-150. DOI 10.17223/19986645/32/10
Prokhorova Tatiana G., Kazan Federal University (Kazan, Russian Federation). E-mail: tatprohorova@yandex.ru

METAREFLEXIVE DIALOGUE WITH F.M. DOSTOEVSKY IN THE SMALL PROSE OF YURI BUYDA.

Keywords: F.M. Dostoevsky, Yu. Buyda, Stavrogin, N. Berdyayev, reflexive dialogue, metatext, intertext, "other speech".

This article analyzes the forms of a metareflexive dialogue with F.M. Dostoevsky in the stories of the contemporary Russian writer Yuri Buyda "The Story about the Prince Aleshenka" and "The Age of Abraham and His Flocks" from the cycle "Osoryinski Chronicles" (2014).

Although dialogical relationships with the creative heritage of the great classic can be traced in almost all the works of the cycle, in these two stories finalizing "Osoryinski Chronicles", they are particularly clear. This is evidenced by the very title that contains a reference to the dialogue with Dostoevsky, and the fact that the heroes of these stories read his novels, think about them, professionally study his work. Eventually, even the writer appears there as one of the characters.

The objective of this essay is to show how through "another's word", through "thoughts about thoughts", through intertext, quotations, allusive connections with Dostoevsky we see Buyda's position, his evaluation of the phenomena that were predicted by the great classic.

The paper discusses the types of characters created by Dostoevsky (in particular, the Stavrogin type), the phenomenon of demonism and "karamazovship", the topic of the "mental murder", the conflict of the angelic and the devilish in a human soul in the functional aspect.

The philosophical issues of Buyda's stories are associated with the reflection on the eternal questions that were raised by Dostoevsky: the freedom and lack of freedom, self-will, guilt and responsibility, love-passion which makes one cross the "threshold", the love of God, without which the world is transformed into "the world of the dead."

In the course of the analysis of Buyda's stories we identified dialogical links with Dostoevsky's *The Demons*, *The Brothers Karamazov* and *Crime and Punishment*. In the study of the peculiarities of Buyda's dialogue with Dostoevsky we also found connections with texts-intermediaries – critical essays of Berdyayev and M.M. Bakhtin on Dostoevsky's works, as evidenced by the explicit and implicit quotations. The dialogue with Dostoevsky is also complemented by a dialogical relationship with the philosophy of existentialism which is reflected in the author's interpretation of the theme of crime and punishment and the image of "man-God".

A conclusion was made that engaging in the dialogue with Dostoevsky Buyda uses the stylistic, genre and compositional techniques – various forms of dialogue, confession, the situation of recent revelations – characteristic of the novels of his great predecessor.

The dialogue of the modern writer with Dostoevsky is associated with a literary game, a parody, but it is not a postmodern game for game's sake. The works of Buyda are characterized by an inherent anti-utopian pathos. The author warns against the dangers of the spread of the total game, theatricality, acting that lead to the displacement of naturalness and to the triumph of the mask over the face; against the dangers of the triumph of Nothing. And while Dostoevsky leads his hero to the resurrection of the soul, there is no place for such a spiritual transformation in the Godless world where Buyda's characters live.

References

1. Lotman YuM. *Roman v stikhakh Pushkina "Evgeniy Onegin": Spetskurs: Vvodnye lektzii v izuchenie teksta* [Pushkin's novel in verse "Eugene Onegin": Special course: Introductory lectures to the study of the text]. Tartu, 1975. Available at: <http://www.ruthenia.ru/document/532837.html>. (Accessed: 2nd November 2014).
2. Voloshinov V.N. [Bakhtin M.M.] *Marksizm i filosofiya yazyka* [Marxism and the philosophy of language]. Moscow: Labirint Publ., 1993. 188 p.
3. Abasheva M.P. *Literatura v poiskakh litsa: russkaya proza v kontse XX veka: stanovlenie avtorskoy identichnosti* [Literature in search of a person: Russian prose at the end of the 20th century: the emergence of the author's identity]. Perm: Perm State University Publ., 2001. 320 p.
4. Bak D.P. *Istoriya i teoriya literaturnogo samosoznaniya: Tvorcheskaya refleksiya v literaturnom proizvedenii* [History and theory of literary self-consciousness: creative reflection in a literary work]. Kemerovo: Kemerovo State University Publ., 1992. 82 p.

5. Rybal'chenko T.L. (ed.) *Russkaya literatura v XX veke: imena, problemy, kul'turnyy dialog* [Russian literature in the 20th century: names, problems, cultural dialog]. Tomsk: Tomsk State University Publ., 2004. Issue 6.
6. Kim Khen En. Teoriya metateksta i formy ee proyavleniya v poetike [Theory of metatext and forms of its manifestation in poetics]. *Acta Slavica Iaponica*, 2004, no. 21, pp. 202-213.
7. Bologova M.A.. *Poetika russkoy prozy 1990-2000-kh godov*. Avtoref. dis. dok. filol. nauk [The poetics of the Russian prose of the 1990-2000s. Abstract of Philology Dr. Diss.]. Novosibirsk, 2013. Available at: <http://www.dissercat.com/content/poetika-russkoi-prozy-1990-2000-kh-godov>.
8. Gulius N.S. *Khudozhestvennaya mistifikatsiya kak priem tekstoporozhdeniya v russkoy proze 1980-1990-kh gg.*: A. Bitov, M. Kharitonov, Yu. Buyda. Dis. kand. filol. nauk [Art hoax as a text generating device in the Russian prose of the 1980-1990s: A. Bits, M. Kharitonov, Yu Buida. Philology Cand. Diss.]. Tomsk, 2006. 204 p.
9. Dostoevsky F.M. *Dnevnik pisatelya (1877, sentyabr' – dekabr')* [Diary of a Writer (1877, September – December)]. Available at: http://bookz.ru/authors/dostoevskii-fedor/dostoevskij_dn4/1-dostoevskij_dn4.html. (Accessed: 15th October 2014).
10. Buyda Yu.V. *Yad i med: povest' i rasskazy* [Poison and honey: novellas and stories]. Moscow: Eksmo Publ., 2014. 288 p.
11. Bakhtin M.M. *Problemy poetiki Dostoevskogo* [Problems of Dostoevsky's poetics]. 4th edition. Moscow: Sovetskaya Rossiya Publ., 1979. 320 p.
12. Fokin P.E. *Alesha Karamazov* [Alyosha Karamazov]. Available at: <http://dic.academic.ru/dic.nsf/litheroes/86/%D0%90%D0%9B%D0%81%D0%A8%D0%90>. (Accessed: 5th September 2014).
13. Berdyaev N. *Filosofiya tvorchestva, kul'tury, iskusstva: v 2-kh t.* [Philosophy of creativity, culture and art: in 2 vols.]. Moscow: Iskusstvo Publ., 1994. Vol. 2, 510 p.
14. Uvarov M. *Arkhitektonika ispovedal'nogo slova* [The architectonics of a confessional word]. St. Petersburg: Aleteyya Publ., 1998. 256 p.
15. Dostoevsky F.M. *Sobraniye sochineniy v 12 tomakh* [Collected Works in 12 volumes]. Moscow: Pravda Publ., 1982. Vol. 8, 461 p.
16. Dubenik E.A. Literaturnye assotsiatsii v obraze Mar'i Timofeevny Lebyadkinoy [Literary associations in the image of Mary Timofeyevna Lebyadkina]. *Russkaya rech'*, 2010, no. 5, pp. 12-17.
17. Dostoevsky F.M. *Sobraniye sochineniy v 12 tomakh* [Collected Works in 12 volumes]. Moscow: Pravda Publ., 1982. Vol. 5, 544 p.
18. Erofeev V. *Nayti v cheloveke cheloveka* [Finding a person in a person]. Moscow: Zebra, Eksmo Publ., 2003. 287 p.
19. Nikolaevskaya T.E. *Dostoevskiy kak predtecha evropeyskogo ekzistentsializma (opyt problemnogo issledovaniya)*. Avtoref. diss. kand. filos. nauk [Dostoevsky as a forerunner of European existentialism (the experience of research). Abstract of Philosophy Cand. Diss.]. Moscow, 1999. 18 p.
20. Lesevitskiy A.V. *Konflikt individual'nogo i sotsial'nogo v ekzistentsialistkoy filosofii Dostoevskogo* [The conflict of the individual and the social in Dostoevsky's existential philosophy]. Available at: <http://politika.snauka.ru/2013/08/876>. (Accessed: 10th October 2014).

УДК 82.14
DOI 10.17223/19986645/32/11

В.Т. Фаритов

ПОЭЗИЯ КАК ВОЛЯ К ВЕЧНОМУ ВОЗВРАЩЕНИЮ: ПУШКИН И ТЮТЧЕВ

Статья посвящена экспликации идеи вечного возвращения Ф. Ницше в поэтическом творчестве А.С. Пушкина и Ф.И. Тютчева и концептуализации этой «последней мысли западной метафизики» в качестве центрального мотива лирики Пушкина и Тютчева. Задача экспликации идеи вечного возвращения Ф. Ницше в поэтическом творчестве Пушкина и Тютчева ставится впервые, что обуславливает новизну исследования. Решение поставленных задач позволяет выявить новые, еще не изученные аспекты творческого наследия Пушкина и Тютчева, связать их образ мыслей с контекстом коренных метафизических преобразований в западноевропейской философии, инициатором которых является Ф. Ницше.

Ключевые слова: вечное возвращение, время, Пушкин, Тютчев, Ницше.

Существуют моменты когда, настоящее становится полновластным, а прошлое и будущее выступают лишь в качестве его фона – незначашего и исчезающего. Другие состояния предполагают приоритет будущего, в то время как прошлое и настоящее выступают лишь в качестве фона будущего. Меланхолия раскрывает настоящее в качестве фона прошлого, которое одно обладает полновластностью, а будущее полностью утрачивает свое значение. Наконец, существуют мгновения, когда прошлое, настоящее и будущее переплетаются в затейливый узор, их изолированность и ограниченность друг от друга снимаются. Вечность начинает играть тысячью бликов и оттенков в каждом миге. Нужно ли говорить, что это весьма редкие мгновения... Вечное возвращение, когда вечность и мгновение становятся равны друг другу, просвечивают сквозь друг друга. Эта фундаментальная идея Ницше, разработанная им в «Так говорил Заратустра» и в черновых набросках, выступает в качестве одного из центральных мотивов пушкинской лирики. Случается, что озарения поэта предвосхищают соответствующие открытия в области философии, получают философское выражение лишь позднее, через несколько десятилетий. Так, на наш взгляд, обстоит дело с Пушкиным. Но и Заратустра – поэт.

В настоящей статье мы рассмотрим, как воля к вечному возвращению, воплотившаяся в стихах Пушкина, проявляется в лирике Тютчева. В учении о вечном возвращении речь идет о кардинальном перевороте в осмыслении времени, становления и существования. Многие представители современной философской мысли посвятили этой идее фундаментальные исследования, предложили оригинальные интерпретации. Так или иначе, разные авторы (К. Ясперс, М. Хайдеггер, Ф. Юнгер, Ж. Делез и др.) сходятся в том, что философское значение учения о вечном возвращении заключается в стремлении сохранить вечность при условии полного отказа от трансценденции, перенести вечное в имманентное, временное и становящееся, связать вечное и ми-

молетное. Тот миг, когда раскрывается присутствие вечности во мгновении, когда само мгновение избавляется от гнета противостояния вечности, становится равным вечности, когда потустороннее и посюстороннее, божественное и человеческое, небесное и земное празднуют свое примирение, свой брачный союз, – этот миг и есть великий полдень, вечное возвращение. Нет необходимости указывать, что эта идея проходит красной нитью сквозь знаковые философские концепции XX столетия. Но и в русской литературе XIX в. есть поэты, чье творчество и существование насквозь пронизаны и пропитаны волей к вечному возвращению. Пушкин и Тютчев являются провозвестниками великого полдня, по силе и глубине не уступающими своим северным собратьям.

Мы попытаемся доказать это на основе анализа стихотворных текстов поэтов, в которых мотив памяти и возвращения проявился в наиболее яркой и четкой форме. При этом предлагаемое прочтение выходит за пределы сложившейся традиции восприятия творчества названных авторов в рамках идей романтизма и метафизической философской теории двух миров. Наша задача – выявить в текстах Пушкина и Тютчева потенции мирозерцания, эксплицитно проявившиеся в неклассической философской мысли, начиная с учения Ф. Ницше. Метафизический горизонт трансценденции в русской поэзии наиболее полное воплощение нашел в творчестве А. Жуковского. В поэзии же Пушкина в большей степени преобладает установка на посюстороннее, земное. Имманентное у Пушкина получает явный перевес над трансцендентным. Сходные тенденции можно обнаружить и у Тютчева – по крайней мере в стихах, по духу родственных пушкинским.

Вот один из хрестоматийных пушкинских текстов, который дает недвусмысленный ответ на основной вопрос Ницше (предвосхищая постановку самого вопроса): «Хочешь ли ты этого еще раз, и еще бесчисленное количество раз?» [1. С. 657]: стихотворение «Кто видел край, где роскошью природы».

Как известно, литературными прототипами этого стихотворения выступают «Песня Миньон» Гете («Kennst du das Land, wo die Zitronen blüh'n») и начало «Абидосской невесты» Байрона («Know ye the land where cypress and myrtle»). В свою очередь, текст Гете восходит к монологу Оберона из шекспировской драмы «Сон в летнюю ночь»: «I know a bank where the wild thyme blows» [2]. Таким образом, можно дать ответ на вопрос, открывающий все три текста (Гете, Байрона и Пушкина) – «Кто видел (знает) край?». Его видел/знает Оберон, король эльфов. Только у Шекспира дана утвердительная, а не вопросительная форма: «I know». Доступен ли этот волшебный край взору смертных? Оберон знает, герои Гете и Байрона спрашивают, кто знает. В особенности у Гете этот край выступает в качестве далекой и в настоящий момент недоступной области. В «Песни Миньон» ключевое слово – *Dahin* (туда), повторяющееся 6 раз. Из текста стихотворения нельзя точно установить, видела ли этот край сама Миньон. Край – предмет стремлений, желаний, тоски («*Dahin // Möcht ich mit dir*»).

У Пушкина в последнем стихе первой строфы появляется существенная отличительная черта: «Где **я** любил, изгнанник неизвестный». На вопрос («Кто видел край?») в самом тексте дан определенный ответ: его видел герой стихотворения, изгнанник неизвестный, поэт. Во второй строфе этот момент

подчеркивается дважды: «**Я помню** скал прибрежные стремнины, // **Я помню** вод веселые струи». Герой уже не просто стремится уйти в некий иной край, он хочет *вернуться* туда, где уже был. Воспоминание обращено к прошлому, к тому, чего уже нет: глаголы прошедшего времени – «видел» и «любил» – открывают и завершают строфу. Но это воспоминание разворачивается в настоящем, оно присутствует здесь и сейчас: во второй и третьей строфе все глаголы даны только в форме настоящего времени. Наконец, в четвертой строфе появляется будущее (соответственно, глаголы в форме будущего времени). Воспоминание становится ориентированным на будущее. Ключевое слово здесь – «вновь», повторенное дважды: «Увижу ль **вновь** сквозь темные леса», «Приду ли **вновь** под сладостные тени». Это же слово дважды повторено в заключительных стихах «Бахчисарайского фонтана»:

Поклонник муз, поклонник мира,
Забыв и славу и любовь,
О, скоро ль вас увижу **вновь**,
Брега веселые Салгира!
Приду на склон приморских гор,
Воспоминаний тайных полный, –
И **вновь** таврические волны
Обрадуют мой жадный взор.
Волшебный край! Очей отрада!
Все живо там: холмы, леса,
Янтарь и яхонт винограда,
Долин приятная краса,
И струй и тополей прохлада...

Картины прошлого оживают в настоящем благодаря поэтическому воспоминанию. Активное воспоминание освобождает прошлое от изолированности, переводит его в настоящее и ориентирует на будущее. Прошрое, настоящее и будущее сливаются в мгновение поэтического творчества, пронизывающего вечность. И это не просто «литература». Это акт созидания прошлого, настоящего и будущего, акт созидания вечности, присутствующей в прошлом, настоящем и будущем. Как говорит об этом Ницше устами Заратустры:

Я научил их всем *моим* помыслам и желаниям: собрать воедино и вместе нести все, что есть в человеке осколок, загадка и ужасный случай, –
– как поэт, отгадчик и избавитель от случая, я научил их созидать будущее и все, что *было*, – спасти, созидая.

Спасти прошлое в человеке и преобразовать все, что «было», пока воля не скажет: «Но так хотела я! Так захочу я». –

Это назвал я им избавлением, одно лишь это учил я их называть избавлением [3. С. 203].

Прошлое, настоящее и будущее сами по себе, не пронизанные творческим велением, – это лишь осколки, случайности, отданные на произвол случайностям. По воле случая Пушкин оказался в Юрзуфе, по воле случайных обстоятельств он туда не попал еще раз в течение своей жизни. Всего этого могло бы и не быть, могло бы быть что-то другое, и все, что было, уходит с течением времени. Но созидаящая воля, воля к власти, собирает все осколки

воедино, придает случайному его смысл, преходящему – характер вечного. «Вновь» Пушкина в этом плане соответствует «Еще раз» Ницше: «Так *это* была жизнь? Ну что ж! Еще раз!» [3. С. 162]. Это высшее утверждение – воля к вечному возвращению – нашло воплощение во многих произведениях поэта, в том числе и в рассмотренном выше стихотворении.

Пушкин оставил подробное описание того, как происходит это творческое преобразование прошлого, избавление от случая и созидание вечного в преходящем. Из письма: «Вошед в дворец, увидел я испорченный фонтан; из заржавой железной трубки по каплям падала вода. Я обошел дворец с большой досадою на небрежение, в котором он истлевает, и на полуевропейские переделки некоторых комнат. NN почти насильно повел меня по ветхой лестнице в развалины гарема и на ханское кладбище» [4. С. 387]. Везде видна беспощадная работа времени и случая. Но созидаящая воля поэта спасает прошлое, преобразуя его:

Я видел ханское кладбище,
Владык последнее жилище.
Сии надгробные столбы,
Венчанны мраморной чалмою,
Казалось мне, завет судьбы
Гласили внятную молвою.
Где скрылись ханы? Где гарем?
Кругом все тихо, все уныло,
Все изменилось... но не тем
В то время сердце полно было:
Дыханье роз, фонтанов шум
Влекли к невольному забвению,
Невольно предавался ум
Неизъяснимому волнению,
И по дворцу летучей тенью
Мелькала дева предо мной!

Изолированное настоящее, для которого прошлое лишь мертвый груз, подвергается творческой негации, забвению. Прошлое оживает в настоящем, пронизывает его, расширяет текущий момент до горизонта вечности, придает становлению характер вечности. Мир раскрывается как вечная игра света и тени, как бьющий через край поток жизни. Источник этого преобразования был хорошо известен Ницше: «Я хочу сказать, что мир преисполнен прекрасных вещей, но, несмотря на это, беден, очень беден прекрасными мгновениями и обнаружениями этих вещей. Но, может статься, это-то и есть сильнейшее очарование жизни: на ней лежит златотканый покров прекрасных возможностей, обещая, сопротивляясь, стыдливо, насмешливо, сострадательно, соблазнительно. Да, жизнь – это женщина!» [1. С. 656].

Воля к вечному возвращению, переполнявшая жизнь и творчество Пушкина, была известна и Тютчеву. Пушкинский мотив возвращения находит свое воплощение в стихотворении 1837 г. «Давно ль, давно ль, о Юг блаженный».

Стихотворение открывается временным наречием, в первом стихе повторенным дважды: «Давно ль, давно ль». Так вводится тема времени и прошлого. Как и у Гете и Пушкина, стихотворение начинается вопросом, точнее двумя вопросами, составляющими содержание всей первой строфы. Но это уже другой вопрос. Уже не спрашивается о том, кто видел край, так как сразу же говорится: «Я зрел тебя лицом к лицу». Как и Пушкин, Тютчев обладает тем поэтическим зрением, которое позволяет видеть волшебный край, изначально доступный лишь мифическому существу, Оберону. У Тютчева вопрошается о времени, о том прошлом, когда мир был доступен и открыт в своей божественной красоте: «И ты, как бог разоблаченный, // Доступен был мне пришлецу?».

Что означает образ разоблаченного бога? Бог, который снял с себя туманный покров, отделяющий и скрывающий его от мира, который оказался самим миром, зримым и осязаемым, божественным миром. Этот образ юга и разоблаченного божества мы находим у Ницше в «Так говорил Заратустра»: «В далекое будущее, в более южные страны, о каких не мечтал еще ни один художник: туда, где боги стыдятся всяких одежд!» [3. С. 151]. И в третьей части этот образ повторяется вновь: «...прочь, в далекое будущее, которого не видела еще ни одна мечта, на юг более жаркий, чем когда-либо грезили художники: туда, где боги, танцую, стыдятся всяких одежд» [3. С. 202].

У Ницше говорится о будущем, у Тютчева – о прошлом. Как давно это было? В прошедшие годы жизни? Если иметь в виду пребывание Тютчева в Италии, то это не так уж и давно, скорее недавно – в 1837 г., когда и было написано стихотворение. Однако нет никакой необходимости ограничиваться биографическим временем и сравнивать текст с фактами из жизни автора. Тематически стихотворение отсылает к текстам Пушкина и Гете, хотя и не повторяет языковой формулы «Кто видел край, где...». Вопрос «Давно ль» может быть отнесен и ко времени литературы, культуры: к тому времени, когда были написаны стихи Пушкина «Кто видел край, где роскошью природы...» и «Кто знает край, где небо блещет...». Эти стихи отсылают к еще более давнему времени, когда была написана «Песня Миньон» Гете, перевод которой Тютчев выполнит в 1851 г. Эту отсылку подтверждают последние стихи первой строфы: «И я заслушивался пенья // Великих Средиземных волн!». «И я» – это я и: Пушкин, Жуковский, Байрон, Гете. Эти времена, эти мгновения, возведенные в вечность в поэтическом творчестве названных авторов, повторяются вновь и вновь, проходят сквозь жизнь других поэтов, чтобы бесконечное число раз возвращаться к существованию. Пережил ли бы Тютчев подобные мгновения разоблаченности божества и наготы мира на морском берегу Генуи (позднее – одно из любимых мест Ницше), не будь он знаком с текстами Гете, Байрона, Жуковского, Пушкина? Эти мгновения можно пережить и без физического присутствия на берегу моря благодаря одной поэзии – подобно Пушкину, который был знаком с Италией по «гордой лире Альбиона».

В следующей строфе временной (и одновременно литературный) горизонт наречия «давно» претерпевает еще более значительное расширение:

И песнь их, как *во время оно*,
Полна гармонии была,
Когда из их родного лона
Киприда светлая всплыла...

Теперь «давно» – это «время оно», время рождения богини, точную датировку которого уже невозможно установить. В литературном плане упоминание о рождении Киприды отсылает нас к текстам Гесиода и Гомера. Речь идет об очень далеких временах. Однако следующие стихи второй строфы обнаруживают присутствие этого удаленного на сотни лет времени в настоящем:

Они всё те же и поныне –
Всё так же блещут и звучат –
По их лазоревой равнине
Святые призраки скользят.

Меняется все, кроме моря. И одновременно море – это перманентное движение, преобразование, трансгрессия. Вечное становление, становление как вечность – вот что такое море. «Вид на море – вот с чем связано возникновение «Заратустры». Первая часть была задумана на улице Дзоали, в бухте Санта Маргерита. Вскоре после этого Ницше уехал в Рим, и характерно то, что в Риме работа остановилась. Рим – совершенно чужой и враждебный Ницше город, каким он его сразу и почувствовал. Применительно к себе и своему пребыванию там он называет его «неприличнейшим местом на земле». Рим – не город дионисийского становления, а город монументального порядка бытия и вытекающих из него форм господства, существующих аега регенниус. Горациева ода – похожее выражение монументального порядка бытия, из которого она вырастает как совершенный кристалл. Ни один настоящий римлянин никогда не имел настоящего отношения к морю, глубокой с ним связи. Однако море – стихия Диониса. О нем говорится, что он, скрываясь, погрузился в море и из моря же вернулся с победой. Изображения на греческих вазах представляют нам Диониса как морского путешественника. Из палубы корабля вырастает обвитая виноградной лозой мачта; с алкионийским блаженством он плывет по чудесно тихому и ровному потоку. В Риме работа над «Заратустрой» не ладилась, она застряла. Вторая часть была задумана в том же месте, где и первая, третья – под «алкионийским» небом Ницше; четвертая дописывается в Ницше» [5. С. 64–65].

«По их лазоревой равнине // Святые призраки скользят». Святые призраки – это образы, создаваемые поэзией на протяжении веков, от Гомера до Пушкина. Они не существуют вечно, подобно трансцендентным сущностям, но вечно возвращаются, вновь приходят к существованию вместе с тем, кто способен к творческому волеию, к созиданию мира, прошлого, настоящего и будущего – вместе с поэтом.

Третья строфа дает антитезу к двум предыдущим:

Но я, я с вами распростился –
Я вновь на Север увлечен...

Эта антитеза была представлена уже у Пушкина в рассмотренном выше стихотворении: «Где на холмы под лавровые своды // Не смеют лечь угрюмые снега». Тютчев разворачивает пушкинский образ в детализированный пейзаж:

Вновь надо мною опустился
Его свинцовый небосклон...
Здесь воздух колет. Снег обильный
На высотах и в глубине –
И холод, чародей всесильный,
Один здесь царствует вполне.

Пушкинское «вновь» здесь употребляется в отрицательном значении. Возвращаются не только мгновения поэтического созидания и упоения, но и неразрывно связанные с ними боль и страдание, тоска и утрата. Становление утверждается во всей своей полноте. «Все идет, все возвращается, вечно вращается колесо бытия. Все умирает, все вновь расцветает, вечно бежит год бытия. Все погибает, все вновь складывается; вечно строится тот же дом бытия. Все разлучается, все снова друг друга приветствует; вечно остается верным себе кольцо бытия» [3. С. 220].

И Тютчев знает об этом. Последняя строфа возвращает нас к утверждению, осуществляемому не вопреки, но благодаря разрыву:

Но там, за этим царством вьюги,
Там, там, на рубеже земли,
На золотом, на светлом Юге
Еще я вижу вас вдали:
Вы блещете еще прекрасней,
Еще лазурней и свежей –
И говор ваш еще согласней
Доходит до души моей!

Удаленное на расстояние, удаленное во времени возвращается. Эта строфа дает ответ на вопрос, поставленный Пушкиным в заключительной (также четвертой) строфе стихотворения «Кто видел край...»: «Минувших лет воскреснет ли краса?». Тютчев отвечает: да, и она воскресает уже сейчас в любое мгновение, поскольку созидаящая воля поэта властна преобразовывать «там» в «здесь», «тогда» в «сейчас» и «вдали» делать равным «вблизи». «О душа моя, я научил тебя говорить «Сегодня» так же, как «Когда-то» и «Прежде», и водить свои хороводы над всеми Здесь, Тут и Там» [3. С. 226].

С еще большей силой это утверждение представлено в другом, еще более «пушкинском» стихотворении, написанном спустя десятилетие после рассмотренного текста: «Вновь твои я вижу очи».

Снова стихотворение открывается временным наречием – пушкинским «вновь», которое здесь употребляется в утвердительном значении. И снова вопрос – о каком «вновь» здесь говорится? Прежде всего, какой «Киммерийской грустной ночи» рассеяло сонный хлад это «вновь»? Киммерия – это поэтический образ страны мрака, представленный у Гомера:

Там киммериян печальная область, покрытая вечно
Влажным туманом и мглой облаков; никогда не являет

Оку людей там лица лучезарного Гелиос, землю ль
 Он покидает, всходя на звездами обильное небо,
 С неба ль, звездами обильного, сходит, к земле обращаясь;
 Ночь безотрадная там искони окружает живущих.
 «Одиссея». Перевод В. Жуковского

Максимилиан Волошин дает следующую характеристику этому топониму: «Киммерией я называю восточную область Крыма от древнего Сурожа (Судака) до Босфора Киммерийского (Керченского пролива), в отличие от Тавриды, западной его части (южного берега и Херсонеса Таврического). Филологически имя Крым обычно производят от татарского Кермен (крепость). Но вероятнее, что Крым есть искаженное татарами имя Киммерии. Самое имя Киммерии происходит от древнееврейского корня KMR, обозначающего «мрак», употребляемого в Библии во множественной форме «Kimeriri» (затмение). Гомеровская «Ночь киммерийская» – в сущности тавтология» [6. С. 315].

Насколько известно, в киммерийских областях Тютчев никогда не бывал, употребление этого топонима носит сугубо литературный, поэтический характер. Географически и поэтически Киммерия представляет собой часть Крыма, отличную от столь дорогой сердцу Пушкина Тавриды. География и поэзия находятся здесь в теснейшем переплетении. Соответственно, «южный взгляд», рассеявший мрак («сонный хлад») этой мифо-поэтической ночи, – это одновременно и впечатливший Тютчева «роскошный Генуи залив», и пушкинский «полуденный берег» Тавриды (что особо отчетливо проявится в последней строфе рассматриваемого стихотворения). Обратим внимание на первый стих: «Вновь твои я вижу **очи**». У Пушкина: «Всё живо там, все там **очей** отрада». И снова ответ на пушкинский вопрос «Минувших лет **воскреснет** ли краса?». У Тютчева: «**Воскресает** предо мною // Край иной – родимый край».

Вторая строфа целиком представляет собой вариацию на тему гетевской «Песни Миньон» и пушкинских «Кто видел край...» и «Кто знает край». Тютчев: «**Лавров** стройных колыханье // Зыблет **воздух голубой**». Гете: «Ein sanfter Wind vom **blauen Himmel** weht, // Die Myrte still und hoch der **Lorbeer** steht». Пушкин: «Где вечный **лавр** и кипарис // На воле гордо разрослись». Тютчев: «**Моря тихое** дыханье // **Провевает** летний зной». Гете: «Ein **sanfter Wind** vom **blauen Himmel weht**». Пушкин: «Где **море** теплою волной // Вокруг развалин **тихо** плещет». Тютчев: «Целый день на солнце зреет // **Золотистый виноград**». Пушкин: «**Янтарь** висит на лозах **винограда**». Тютчев: «Басновсловной былью веет // Из-под **мраморных аркад**...». Гете: «Es **glänzt der Saal**, es schimmert das Gemach, // Und **Marmorbilder** stehn und seh'n mich an». Пушкин: «Вокруг **развалин** тихо плещет».

Так синтетический образ юга (Италии, Тавриды), созданный Гете и Пушкиным (а также Байроном, Жуковским и др.), вновь *возвращается* в поэзии Тютчева.

В последней строфе это утверждение достигает своего пика: «**Снова жадными очами** // Свет живительный я пью». У Пушкина в завершении «Бахчисарайского фонтана»: «И **вновь** таврические волны // Обрадуют мой **жадный взор**». Тютчев: «И под чистыми лучами // Край волшебный узнаю».

Последнее сочетание у Пушкина применяется как по отношению к Тавриде («Волшебный край! Очей отрада!»), так и по отношению к Италии («Волшебный край, волшебный край, // Страна высоких вдохновений»).

Можно сделать предположение, что все стихотворение Тютчева представляет собой поэтическую реализацию «любимой надежды» Пушкина «увидеть опять полуденный берег». Лирический герой Тютчева – это лирический герой Пушкина, осуществивший свои желания («О, скоро ль вас увижу **вновь**, // Брега веселые Салгира!»): вот он и пришел «на скат приморских гор, воспоминаний тайных полный», и таврические волны **вновь** обрадовали его жадный взор.

Таким образом, именно поэзия дает нам самый ясный прототип вечного возвращения, она формирует волю, способную спасти прошлое и созидать будущее. «Создать хотите вы мир, перед которым могли бы преклонить колена, – такова ваша последняя надежда и опьянение» [3. С. 118]. Но эта задача созидания мира уже выходит за пределы поэзии как литературы и искусства. Следует научиться «быть поэтами нашей жизни», к чему призывал Ницше [1. С. 634]. Последнее означает требование превзойти поэта, открыть «юг более жаркий, чем когда-либо грезили художники» [3. С. 202]. Задача, решить которую предстоит сверхчеловеку, тому, кто сможет то, что еще не под силу Ницше и Заратустре, – преодолеть поэта в себе. Только в свете этой перспективы сверхчеловека, в горизонте этого будущего Ницше может воскликнуть: «Ах, как устал я от поэтов!» [3. С. 134]. Но и Заратустра – поэт. И о себе Ницше еще может сказать: «Nur Narr, nur Dichter» – «Лишь шут, поэт, и только!» [3. С. 302].

Литература

1. *Ницше Ф.* Сочинения: в 2 т. М.: РИПОЛ КЛАССИК, 1998. Т. 1. 832 с.
2. *Тарлинская М.* Через Гете и Байрона – к Пушкину: история одной межъязыковой формулы // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. 2002. Т. 61, № 2. С. 26–33.
3. *Ницше Ф.* Полное собрание сочинений: в 13 т. Т. 4: Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого. М.: Культурная революция, 2007. 432 с.
4. *Переписка А.С. Пушкина: в 2 т.: М.: Худож. лит., 1982. Т. 1. 494 с.*
5. *Юнгер Ф.* Ницше. М.: Практикс, 2001. 256 с.
6. *Волошин М.А.* Константин Богаевский // Лики творчества. Л.: Наука, 1988. С. 312–324.

Tomsk State University Journal of Philology, 2014, 6 (32), pp. 151–160. DOI 10.17223/19986645/32/11
Faritov Vyacheslav T., Ulyanovsk State Technical University (Ulyanovsk, Russian Federation).
 E-mail: vfar@mail.ru

POETRY AS WILL TO ETERNAL RETURN: PUSHKIN AND TYUTCHEV.

Keywords: eternal return, time, Pushkin, Tyutchev, Nietzsche.

The article involves the explication of F. Nietzsche's idea of eternal recurrence in A.S. Pushkin's and F.I. Tyutchev's poetry.

This article discusses the poems of Pushkin and Tyutchev which contain the motif of memories and return. There are moments when the past, present and future are interwoven in an intricate pattern, their isolation from each other is removed. Eternity begins to play a thousand reflections and colors in every moment. This is the eternal return, when eternity and the moment become equal to each other, are seen through each other. This fundamental idea of Nietzsche which he developed in "Thus Spoke Zarathustra" and the rough drafts stands as one of the central motifs of the lyrics of Pushkin and Tyutchev. Sometimes, inspirations of the poet anticipate relevant discoveries in the field of philosophy. They get philosophical expression only a few decades later. This, in the author's view, is the case

with Pushkin and Tyutchev. Pictures of the past come to life in the present because of the poetic recollection. Active memory frees the past from isolation, places it in the present and focuses on the future. Past, present and future merge in the moment of poetic creation which pervades eternity. And it is not just "literature". It is an act of creation of the past, present and future, the act of creation of eternity existing in the past, present and future. Past, present and future themselves not imbued with creative dictates are only fragments and chances. But the creating will, the will to power collects all the pieces together, gives sense to the random, gives the transient the nature of the eternal. The isolated present, for which the past is just dead weight, undergoes a creative denial. The past comes to life in the present, penetrates it, expands the current moment to the horizon of eternity, gives becoming the nature of eternity. The world is revealed as an eternal play of light and shadow, as the overflowing stream of life. There is a return of not only the moment of poetic creation and ecstasy, but also pain and suffering, grief and loss inextricably connected with them. Formation is approved in its entirety. One can make an assumption that the entire poem of Tyutchev "Vnov' tvoi ya vizhu ochi" ("Once again I see your eyes") is a poetic realization of Pushkin's "dear hope" to "see again the midday shore". Tyutchev's lyrical hero is the lyrical hero of Pushkin who has carried out their wishes. Thus, it is poetry that gives us the clearest prototype of the eternal return; it generates will capable of saving the past and building the future.

References

1. Nietzsche F. *Sochineniya. V dvukh tomakh* [Works. In two volumes]. Moscow: RIPOL KLASSIK Publ., 1998. Vol. 1, 832 p.
2. Tarlinskaya M. Cherez Gete i Bayrona – k Pushkinu: istoriya odnoy mezh"yazykovoy formuly [From Goethe and Byron to Pushkin: the story of a cross-language formula]. *Izvestiya RAN. Seriya literatury i yazyka*, 2002, vol. 61, no. 2, pp. 26-33.
3. Nietzsche F. *Polnoe sobranie sochineniy: V 13 tomakh* [Complete Works. In 13 volumes]. Moscow: Kul'turnaya revolyutsiya Publ., 2007. Vol. 4, 432 p.
4. Vatsuro V.E. (ed.) *Perepiska A. S. Pushkina. V dvukh tomakh* [Correspondence of Alexander Pushkin. In two volumes]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura Publ., 1982. Vol. 1, 494 p.
5. Junger F. *Nitsshe* [Nietzsche]. Translated from German. Moscow: Praksis Publ., 2001. 256 p.
6. Voloshin M.A. *Liki tvorchestva* [Faces of creativity]. Leningrad: Nauka Publ., 1988, pp. 312-324.

ЖУРНАЛИСТИКА

УДК 82–7–92 (477)" 1900/1950" (045)
DOI 10.17223/19986645/32/12

Н.И. Зыкун

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ САТИРИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ В НАДДНЕПРЯНСКОЙ УКРАИНЕ XIX – НАЧАЛА XX в.

В статье рассмотрены исторические предпосылки и обстоятельства формирования украинской сатирической публицистики в XIX – начале XX в. Эти процессы в изданиях Надднепрянской Украины помещены в общий контекст развития журналистики в Российской империи. Прослежена национальная специфика использования приемов сатиры на страницах как общеполитической, так и специальной, сатирической, периодики. Описаны типологические особенности сатирического журнала на Украине, формирование которого связывают с журналами «Шершень», «Гедз», «Будяк» и «Реп'яхи».

Ключевые слова: сатирическая журналистика, пресса Надднепрянской Украины, сатирический журнал.

Сатирическая публицистика, играя заметную роль в общественной жизни, формируется в ответ на потребности общества, является свидетельством определенного уровня развития его гражданского сознания. Богатый материал для осмысления социального значения, творческих возможностей сатиры в печати, влияния на нее культурных и исторических условий дает изучение национальных традиций сатирической публицистики. Целью данной статьи является рассмотрение предпосылок и условий возникновения сатирической публицистики в Надднепрянской Украине XIX – начала XX в., выявление ее национально-культурного своеобразия.

Надднепрянская Украина (Надднепрянщина) – историко-географическая часть Украины, в которую сначала входили лишь центральные и северные ее области с центром в Киеве. Распределение украинских земель между Российской и Австрийской (а с 1867 г. – Австро-Венгерской) империями в конце XVIII в. обусловило разделение Украины на Западную и Надднепрянскую (около 80 процентов всех украинских территорий). С этого времени название «Надднепрянская Украина» (или «Надднепрянщина») стало употребляться для обозначения всех украинских земель в составе Российской империи (кроме Крыма и Кубани). В состав Надднепрянской Украины входили Юго-Западный край (Правобережье), объединяющий Киевскую, Волынскую, Подольскую губернии; Малороссия (Левобережье), Слобожанщина, представленная Черниговской, Полтавской, Харьковской губерниями, и Новороссия (Юг) – Катеринославская, Таврийская и Херсонская губернии. Во владении Австро-Венгерской империи находились западноукраинские земли (Закарпатье, Галичина и Буковина) [1]. Общественно-политические условия, в которых пребывали разные регионы Украины, относившиеся в то время к разным

странам, способствовали формированию различий в развитии системы периодических изданий, а также литературно-публицистических и культурных традиций. Фактически мы можем говорить о двух разных информационных системах, которые тем не менее время от времени чувствовали взаимное влияние.

Сатирическая публицистика имеет богатые традиции, которые уходят своими корнями в историческое прошлое и, как журналистика в целом, «стоит на плечах» своих предтеч – прежде всего, устного народного творчества и литературы, на что указывали в своих исследованиях ученые. Добавим, что проводником и катализатором сатирической струи в украинской культуре можно считать и народный театр.

Потребности общества в сатире длительное время удовлетворялись за счет фольклора [2. С. 67]. В конце XVI – начале XVII в. на украинских землях в условиях антиклерикальных и антифеодальных движений сатирические тенденции народной культуры, проявившиеся в творчестве отдельных авторов (в частности, И. Вышенского), предшествовали возникновению сатирической публицистики. Б. Минчин подчеркивал, что на рассвете политической сатиры, в XVI–XVIII вв., когда зарождалась полемическая форма литературы, украинской литературе не приходилось быть исключительно художественным искусством, она была сразу всем: политической трибуной, публицистикой, философией, криком, плачем, стоном подневольной народной массы [3. С. 138].

В конце XIX в. общественная борьба перемещается на страницы периодических изданий, которые, по сравнению с книжными источниками, сокращают путь массовой информации к читателю, обеспечивают широту читательской аудитории, используют все возможности оперативной коммуникации, которыми располагают.

Ученые традиционно выделяют три периода в более чем двухсотлетней истории развития русской сатирической публицистики до начала XX в.: 1769–1774, 1857–1864, 1905–1907 гг. [4. С. 5–6]. Хотя украинская журналистика и территориально, и хронологически являлась в это время частью общероссийской системы журналистики, ситуация с выходом печатных изданий в Надднепрянской Украине, существовавшей на условиях внутренней колонии Российской империи, безнадежно (почти на сто лет) отставала от аналогичных процессов на других ее территориях, что можно объяснить тотальным противодействием властей общественно-культурному и национальному развитию стратегического региона с более чем 20-миллионным населением.

Украинская сатирическая публицистика зарождается практически одновременно с периодической прессой, являясь ее важной частью, влияющей на формирование тенденций и особенностей прессы в целом. А. Животко указывал, что на этапе рождения украинской журналистики четко обозначились два основных течения: научно-литературное (представленное историей, этнографией, художественной литературой) и сатирически-литературное. Оба своим основным содержанием служили пробуждению в украинском обществе национальной мысли и чувства, что способствовало организации нацио-

нально-общественных сил и формированию предпосылок для их развития [5. С. 40].

Историю украинской сатирической публицистики можно отсчитывать с 1816 г. – времени выхода журнала «Харьковский Демокрит», цензурное разрешение на издание которого было получено 7 января 1816 г. Название журнала, выходившего раз в месяц, засвидетельствовало ориентацию авторов, местных литераторов-сатириков Г. Квитки, А. Нахимова, В. Масловича, Д. Ярославского, О. Сомова, на сатирический журнал, издаваемый А.Ф. Кропотовым в 1815 г. в Санкт-Петербурге, – «Демокрит». Программные принципы издателей обоих изданий отражались уже в названии, поскольку древнегреческий философ Демокрит, по свидетельству биографических источников, был наделен глубоким сатирическим восприятием действительности [6. С. 34]. «Харьковский Демокрит» был похож на журнал А.Ф. Кропотова лишь внешне, по оформлению (имел такой же формат и объем), по идейной направленности он продолжал традиции российской сатирической прессы конца XVIII в. – журналов Н.И. Новикова «Трутень», «Живописец», «Кошелек» [7. С. 84].

Хотя «Харьковский Демокрит» не выходил за рамки моральной проблематики, в его эволюции отчетливо прослеживалась тенденция к усилению социальной остроты материалов. Несмотря на то, что вышло лишь шесть номеров, он стал первой попыткой разбудить общество, привлечь внимание к отрицательным общественным явлениям. В течение почти целого столетия журнал оставался единственным сатирически-юмористическим изданием Восточной Украины. Потом длительное время она оставалась не только без сатирических изданий, но и вообще без периодики – с 1825 г. перестали выходить почти все украинские газеты и журналы. Такое положение сохранялось вплоть до 1861 г., когда в Санкт-Петербурге начали издавать журнал «Основа» на украинском и русском языках. Причем, как указывают исследователи, в нем веско зазвучали сатирические произведения [8. С. 5].

В целом же период 1848–1904 гг. на Надднепрянщине обозначен жестокими цензурными запретами украинской национальной периодики, как, собственно, и других национальных газет и журналов. Однако украинская журналистика искала путь к читателю – через альманахи, сборники и рукописные нелегальные журналы, в том числе и сатирического направления. Оригинальным образцом рукописной журналистики сатирически-юмористического характера, одним из первых сатирических изданий на восточно-украинских землях был журнал «Помийниця» («Помойница»), издававшийся благодаря деятельности членов полулегальной организации украинской интеллигенции «Громада» в 1863–1864 гг. при участии студентов и выпускников Киевского университета [5. С. 96–97].

В это время на Западной Украине издавались юмористические листки «Клепайло», «Гомін», «Фірман», «Жельман», некоторые рукописные сатирические издания – «Відьма», «Бовван». На Буковине выходит сатирический листок «Лопата», в Закарпатье – сатирическая газета «Сова» [9. С. 33].

В условиях запрета украинского языка и любой печатной продукции на нем информационный вакуум на восточно-украинских землях в определенной степени преодолевался благодаря журналам, выходившим на русском

языке. Не стоит приуменьшать и роль «Губернских ведомостей», издававшихся с 1838 г. во всех губернских центрах Украины. Они были органом губернской власти, отражали официальную точку зрения на текущие события. Их преимущество перед другими изданиями заключалось, в частности, в том, что они не подлежали цензуре (за исключением 1863–1881 гг.) [10. С. 44]. Хотя «Губернские ведомости» печатались на русском языке, однако раньше других, с середины 50-х гг. XIX в., в своей «неофициальной части» они начали отводить место и для украинских произведений [11. С. 8].

Ученые признают, что конец XIX – начало XX в. ознаменовали собой начало нового интенсивного периода развития украинской литературы, усиление ее роли в общественной жизни. Вместе с назреванием революционной ситуации, ходом Первой русской революции 1905–1907 гг. это обусловило выделение идейно-художественных направлений и стилевых течений, активизировало поиски новых путей развития, глубокие изменения в словесно-образном искусстве [12].

Годы Первой русской революции стали определяющими для украинской журналистики. Именно тогда украинское общество получило надежду на создание национальной прессы. Царский манифест 17 октября 1905 г. вместе с другими свободами провозглашал и свободу печати. Путь для украинских изданий открывали и «Временные правила относительно печати» от 24 ноября 1905 г., отменявшие предварительную цензуру для периодических изданий, и от 20 апреля 1906 г. – для непериодических изданий. Среди особенностей этого информационного периода в Российской империи, частью которой, напомним, была и Украина, можно выделить такие: 1) послабление цензурных условий; 2) массовое привлечение образованных прослоек общества к информационному взаимодействию; 3) изменение информационных вкусов аудитории под воздействием общественных событий и процессов, предопределявших потребность в оперативном доведении информации о быстрых общественных преобразованиях; 4) экстенсивное распространение прессы в регионах; 5) новационные процессы типобразования периодических изданий; 5) рост значения текстовой и визуальной сатиры на врага [13. С. 30–32].

Осень 1905 г. дала Украине одно за другим три печатных издания на украинском языке: газету «Хлібороб» (г. Лубны), еженедельник «Рідний Край» (Полтава), ежедневную газету «Громадська думка» (Киев). Украинские газеты появились в Харькове, Одессе, Екатеринославе, Полтаве и других городах. К началу 1906 г. на территории Надднепрянской Украины их насчитывалось 18.

На основе анализа содержания украинских периодических изданий конца XIX – начала XX в. и особенностей их бытования И. Михайлин делает вывод о том, что украинская журналистика возникает не из информационных потребностей интеллигенции, которая удовлетворяла их при помощи газет и журналов на других языках (французском, польском, немецком, русском), а из-за необходимости удовлетворения «инстинктивного шара сознания», что было возможным лишь за счет эмоционального художественного слова [14. С. 684]. Мы же хотим уточнить, что необходимость в удовлетворении информационных потребностей в это время возникла у так называемого «сред-

него класса читателей», которому иноязычная информация была недоступной. То есть расширялась потенциальная читательская аудитория, постепенно формировался информационный и публицистический дискурс. На общественную арену вышло новое поколение украинцев, которое, как указывает И. Крупский, уже не ограничивалось лишь культурной деятельностью, оно созрело к созданию политических партий [11. С. 17]. Нужна была украинская журналистика, способная удовлетворять не только литературные и научные, но и информационные, публицистические, политические потребности украинского общества [14. С. 684].

Однако на пути к ней пришлось преодолеть много препятствий – накануне 1905 г. были отклонены 22 ходатайства о разрешении украиноязычных изданий [15. С. 6], не были реализованы проекты даже двуязычных журналов и специальных изданий. Поэтому опять актуализировалась потребность прибегнуть к нелегальным журналам, возобновляются традиции рукописной, так называемой «малой» прессы, над которой по большей части работала ученическая и студенческая молодежь. Среди таких изданий следует назвать следующие: «Плахта» (Полтава, 1895), «Вісник української київської студентської громади» (Киев, 1903), «Мысль» (Житомир, 1904), «Бонза» и «Проба сил» (Каменец-Подольский, 1901–1902) [11. С. 20–21; 16. С. 4].

В этих изданиях много места отводилось острым критическим материалам, характерным в целом для рукописной журналистики, что объясняется меньшей регламентированностью и подконтрольностью деятельности их организаторов и творчества авторов. Научные источники указывают на существование среди них и собственно сатирических рукописных журналов – например, «Бонза» в Каменце-Подольском. Вышел лишь один его номер, который, однако, засвидетельствовал стремление к развитию сатирической публицистической традиции. Ее укреплению способствовали сатирические материалы в изданиях общего содержания. А. Бабышкин назвал существовавшие в некоторых газетах юмористические уголки, воскресные дополнения, преимущественно в виде фельетонов, предысторией сатирической прессы [17. С. 82].

Хотя сатирическое направление было представлено уже на этапе зарождения украинской прессы, мы существенно обеднили бы сатирическую журналистику, если бы, исследуя ее достижения, особенности выразительных средств и тенденции развития, ориентировались лишь на собственно сатирические издания, обходя вниманием сатирические и комические элементы, мотивы и темы, представленные на страницах общеполитических СМИ. Сатирическая публицистика, особенно на начальных этапах, не ограничивалась специальными типами изданий, а все активнее «проникала на страницы общеполитических, литературных и других журналов, отвоевывала место в газетах» [18. С. 11]. Именно такая «активность» и «открытость», по нашему мнению, и определила незаурядное значение сатирической публицистики в истории прессы. Несмотря на то, что сатирические материалы, задевавшие важные вопросы жизни украинского общества, появлялись и на страницах западноукраинской периодики, «основной вес в деле развития сатиры имеют издания, которые выходили в Надднепрянской Украине» [19. С. 16]. Как отмечают ученые, для сатирических материалов выделялось особое место, газе-

тные площади, занятые сатирическими материалами, со временем становились все больше. Иногда публикации в неспециализированных изданиях представляли собой перепечатки из сатирических журналов. Однако во многих газетных редакциях были и свои авторы, которые работали в сатирических жанрах. Со временем юмор уступал место сатире [18. С. 20].

Нарастание недовольства политикой правительства предопределяло усиление критических настроений на страницах периодических изданий, в сатирических и юмористических публикациях. Заметное место в молодой украинской многоязычной журналистике, соответственно, отводится в это время критическим публикациям, которые основываются на сатирическом отражении действительности, а со временем и формированию особенного типа печатного издания – сатирического. Несмотря на то, что Временные правила о печати от 24 ноября 1905 г. снимали запрет на украинскую прессу, последняя оставалась в очень неуверенном состоянии. Поэтому редакционные коллективы почти каждой газеты осознавали очевидную роль меткого сатирического слова в деле формирования национального сознания, большие надежды возлагали именно на сатирическую публицистику, использовали сатирические методы отражения действительности в виде разных сатирических жанров [20. С. 428].

А. Животко о «небольшой, на две карточки, газетке «Хлібороб» говорил, что с ее страниц «пылало смелым и острым словом, выразительной национально-революционной мыслью». Это предопределяло популярность – она расходилась в количестве пяти тысяч экземпляров, а на улицах каждый номер просто вырывался из рук продавцов [5. С. 192].

Еженедельник «Рідний край» стал первым украинским легальным печатным органом – пришел к украинскому читателю месяц спустя после принятия «Временных правил». За острые и бескомпромиссные публикации, основным лейтмотивом которых было освобождение и объединение украинского народа, развитие его культуры, языка, по подсчетам И.В. Крупского, против газеты было открыто больше десяти судебных дел, наложены десятки штрафов [21]. Журнал давал полную картину украинской действительности, вовсе не ограничиваясь лишь местными событиями, благодаря хорошо выписанной системе разделов и рубрик. Среди других выделялась рубрика «Рассказы, стихи, фельетоны». Уже по ее существованию можно судить, что издание подтверждало общую тенденцию к сатирическому отражению действительности, которая давала богатейший материал для критического высмеивания. А поскольку прямая критика была невозможной в условиях жесткой цензуры, авторы прибегали к художественно-публицистическому, в своей основе – сатирическому изображению того, что нуждалось в изменении. Ряд мастерски выписанных, острых сатирических фельетонов, объединенных общим названием «Болтовня», в которых поднимался и комментировался целый комплекс острых вопросов общественной и национально-культурной жизни украинского народа, принадлежит Ольге Косач, матери Леси Украинки, которая здесь творила под псевдонимом «Кто-то» [16. С. 378].

Особая роль издания «Громадська думка» заключалась в том, что это была первая ежедневная газета Надднепрянщины. Благодаря мощному авторскому коллективу ей удалось стать выразителем интересов широких слоев

читателей, коснуться самых актуальных общественно-политических проблем. Публицистика ежедневника отмечается полемичностью, остротой и критичностью, что и неудивительно, учитывая авторский состав, представленный 6–8 десятками корреспондентов, среди которых были М. Грушевский, В. Винниченко, М. Коцюбинский, Д. Дорошенко, И. Огиенко, Е. Чикаленко, Б. Гринченко, В. Самийленко, А. Тесленко, А. Крымский, В. Доманицкий, В. Антонович, В. Перетц и др. Уровень газеты определялся писательским мастерством, опытом авторов, владеющих всеми жанрами, – от информационных до художественно-публицистических, в том числе и юмористически-сатирических. Издание было площадкой для формирования отдельных сатирических жанров и становления сатирического направления как такового в украинской публицистике.

Сатирическая публицистика ежедневника получила высокую оценку как современников, так и исследователей: на ее страницах фактически происходило становление базового для тогдашней украинской прессы жанра с мощным разоблачительным потенциалом – фельетона. Газета засвидетельствовала (или обеспечила? – благодаря блестящему составу авторов) его большое влияние на общество, которое способствовало росту авторитета издания в народе. Сатирические элементы прослеживались и в материалах других рубрик. Целый ряд опытных фельетонистов среди авторов (С. Ефремов, М. Гехтер, М. Левицкий, В. Самийленко, С. Черкасенко и др.) зафиксировал, во-первых, жизненность и своевременность жанра фельетона, его соответствие эпохе и, во-вторых, оправданность и уместность его именно на газетных страницах – он их оживлял, добавлял свежую струю, способствовал расширению аудитории, поскольку сочетал серьезность материала, глубину анализа с легкостью и доступностью языковой формы.

После того как выпуск газеты «Громадська думка» был приостановлен, в Киеве целый месяц не было украинской газеты, и лишь 15 сентября в 1906 г. начала выходить ежедневная газета «Рада» при участии тех же сотрудников. Она просуществовала дольше всех украинских газет – до июля 1914 г. [22. С. 58]. Общую картину публицистической сатиры издания дополняли публикации С. Ефремова. Его произведения, названные маленькими фельетонами, были по своим жанровым особенностям наиболее близки к памфлету [11. С. 42].

Журнал «Нова громада», имеющий литературно-научный характер, также реагировал на общеукраинские тенденции развития прессы, давая возможность на своих страницах печататься авторам, имеющим яркий сатирический талант: В. Самийленко, П. Капельгородскому, М. Чернявскому, С. Черкасенко, С. Ефремову [22. С. 61].

В конце же 1906 г. в Надднепрянской Украине остались только «Рада» в Киеве, «Рідний Край» в Полтаве и «Світова Зірниця» в Могилеве-Подольском. На страницах именно этих изданий часто печатались художественные произведения с острым социальным звучанием, в том числе и сатирические [19. С. 11].

Сформированные перечисленными изданиями традиции сатирической публицистики нашли развитие и концентрированное проявление в сатирической прессе. Украинский исследователь сатиры периода революции

1905–1907 гг. Е. Демченко под сатирической прессой понимает периодические издания трех видов: собственно сатирические журналы, в которых явно господствовали различные жанры литературной и графической сатиры; журналы и сборники, включавшие только обличительную поэзию и публицистику; издания, которые совмещали в себе документальные, публицистические, литературно-художественные материалы с изобразительной и литературной сатирой (иллюстрированные приложения к газетам) [23. С. 7].

Результатом трансформационных процессов во всех сферах общественной жизни в период Первой русской революции стало возникновение нового элемента в типологической структуре прессы – тонкого сатирического журнала с карикатурами [13. С. 11]. Исследователи признают непреходящее значение сатирических журналов – именно благодаря появлению специального типа изданий сатира достигла не только наивысшего идейно-художественного подъема, но и определенной легализации в период революции 1905–1907 гг. [24. С. 142–143].

Следует отметить, что типологические особенности украинского сатирического издания закладывались русскоязычными сатирическими журналами на территории Надднепрянщины, которые в анализируемый период отличались массовостью и разнообразием. Так, в Киеве, Одессе, Харькове, Николаеве и других городах Украины вышло более 40 журналов и иллюстрированных приложений к газетам [25. С. 245]. Оформленные оригинальными карикатурами и рисунками чрезвычайно широкого тематического диапазона, они были особенно интересным явлением начала XX в. и в Надднепрянской Украине. С 1902 до 1917 г. в Киеве выходило 28 сатирическо-юмористических изданий [26. С. 686–690]. Лишь четыре из них были украиноязычными – «Шершень» (1906); «Хрін» (1908); «Гедз» (1917); «Будяк» (1917). С 1918 г. начал выходить журнал «Реп'яхи».

Юмористически-сатирические издания как особый тип, который удовлетворял ожидания аудитории, стали промежуточным звеном тогдашней украинской журналистской публицистики на пути от русскоязычной к украиноязычной, в частности, благодаря удачному и органическому сочетанию на их страницах двух типов текста – вербального и невербального (в виде рисунка и карикатуры). При низком уровне грамотности населения в России вплоть до начала XX в. визуальные образы не могли не занимать доминирующего положения в прессе, как и вообще в культурной коммуникации. На украинских же территориях ситуация осложнялась и тем, что украинский язык из-за длительного гонения и запретов не был готов к обслуживанию публицистического дискурса. Он находился на этапе выработки не только стилистических, но и орфографических норм. Именно иллюстрации, сопровождавшиеся емкими лаконичными подписями, а также короткие сатирические тексты (миниатюры, пародии, анекдоты, шутки) в условиях несформированности речевых и стилистических средств сатирической публицистики, как, собственно, и украинской публицистики вообще, неготовности читателей к восприятию сложных текстов на украинском языке, становились важным средством передачи информации.

В сатирических журналах периода революции 1905 г. все заметнее оформляются собственно журналистские особенности: ориентированность на кон-

кретный факт; привязка к конкретной дате и месту события; использование статистических данных, заимствованных из других газет; ссылки на программы политических партий; обличение конкретных государственных и политических деятелей, хорошо известных читателям, усиление аналитического начала.

Журналы «Шершень», «Гедз», «Будяк», «Репяхи», сатирический листок «Хрін» практически засвидетельствовали формирование на территории Надднепрянской Украины сатирического журнала с рядом таких признаков, как: 1) объем (украинские сатирические и юмористически-сатирические журналы тонкие – 8–16 страниц, что отображает ориентирование на европейскую традицию, а не на практику так называемых «толстых журналов»); 2) периодичность (преимущественно еженедельники или двухнедельники); 3) оформление, или графические признаки (анализируемые издания иллюстрированные, причем с самостоятельным значением разных видов иллюстраций); 4) сочетание сатиры и «гражданской лирики», публицистических произведений, особенно с использованием аллегории; 5) преобладание небольших по объему жанровых форм; 6) наличие в составе авторского коллектива профессиональных художников (нередко играющих основную роль в разработке концепции издания).

Хотя большинство украинских журналов, независимо от их тематики и целей, существовали недолго, они внесли ощутимый вклад в национально-культурное возрождение украинского общества, способствовали его консолидации.

Таким образом, украинская сатирическая публицистика, возникая вместе с зарождением украинской журналистики как таковой, засвидетельствовала потребность общества в определенном виде информации и способе ее подачи. Активному развитию публицистической сатиры в конце XIX – начале XX вв. предшествовало использование сатирических образов, приемов в фольклоре и художественной литературе. Хотя украинская журналистика, в том числе и сатирическая, ощутимо отставала от аналогичных процессов в других регионах Российской империи, в сжатые сроки на украинских землях сформировались предпосылки для создания информационного дискурса, требовательный читатель, система украинского языка, готового удовлетворять информационные запросы аудитории. В информационном пространстве одновременно происходило множество определяющих процессов: и формирование цеха профессиональных журналистов, и становление типологического разнообразия печатных изданий, и оформление жанровых характеристик текстов.

Сатирическая публицистика развивается волнообразно. Ее подъемы всегда совпадают с периодами общественных трансформаций и общественной активности. Для каждой волны сатирической журналистики характерны определенные черты, предопределенные новым жизненным материалом, уровнем развития самой сатирической журналистики, запросами и ожиданиями читательской аудитории. Пик украинской сатирической журналистики приходится на 1906/07 г. Период реакции, который последовал за поражением Первой русской революции, характеризовался тем, что время нуждалось в гневной сатире, жизнь давала богатый материал для сатирического обыгры-

вания и высмеивания, однако на пути к этому становились проявления реакционного режима, в первую очередь преследование свободного слова и отпор любой критике существующих порядков. Когда-то зубастые сатирические журналы перерождались в юмористические развлекательные издания, лишённые не только остроты и критики, но и эстетического вкуса. Интересными для исследователя в будущем будут пути развития сатирической публицистики и формирование ее жанровой системы в новых общественно-политических условиях.

Литература

1. *Адміністративно-територіальний поділ Наддніпрянської України*. [Електронний ресурс]. Режим доступа: izno.com.ua/istoriya-ukrayini-tema-21-ukrayinski-zemli-u-s (дата обращения: 10.01.2014).
2. *Лихачев Д.С.* Исследования по древнерусской литературе. Л., 1986. 406 с.
3. *Мінчин Б.* Сатира в естетиці соціалістичного реалізму. Київ, 1967. 288 с.
4. *Нинев А.* Русская сатирическая поэзия 1905–1907 гг. // Стихотворная сатира первой русской революции (1905–1907 гг.). Л., 1969. С. 1–75.
5. *Животко А.* Історія української преси. Київ, 1999. 368 с.
6. *Історія української дожовтневої журналістики*. Львів, 1983. 512 с.
7. *Леценко П.Я.* Харьковский Демокрит // Радянське літературознавство. 1957. № 4. С. 84–96.
8. *Ярмиш Ю.Ф.* Жанри сатиричної публіцистики. Київ, 2003. 155 с.
9. *Стадник В.* Сатиричний дискурс газетно-журнальної публіцистики Наддніпрянської України 1905–1920 рр. у викритті теорії і практики антиукраїнства і становленні Української держави: дис. ... канд. наук із соц. комунікацій. Львів, 2008. 210 с.
10. *Клименко І.* Періодичні видання першої половини XIX – початку XX ст. в Україні. Загальний огляд // Бібліотечний вісник. 2009. № 4. С. 44–48.
11. *Крупський І.В.* Національно-патріотична журналістика України (друга половина XIX – перша чверть XX ст.). Львів, 1995. 184 с.
12. *История всемирной литературы*: в 9 т. Т. 8. М., 1994 [Электронный ресурс] // Режим доступа: www.alexandria.org.ua/component/option,com_docman/task,doc
13. *Лепилкина О.И.* Структурно-типологическая трансформация системы русской провинциальной прессы в XVIII – начале XX вв.: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Ростов-н/Д., 2011. 42 с.
14. *Михайлин І.* Історія української журналістики XIX століття. Київ, 2003. 720 с.
15. *Сидоренко О., Шуря Н.М.* Нездійснені проекти українських періодичних видань II пол. XIX – початку XX ст. // Вісник Київ. держ. ун-ту. 1991. Вип. 23. С. 4–12.
16. *Українська преса в Україні та світі: Історико-бібліографічне дослідження*. Т. 2: 1891–1905 рр. Львів, 2009. 480 с.
17. *Бабишкін О.* Сатиричний журнал «Шершень» // Радянське літературознавство. 1959. № 4. С. 82–90.
18. *Бережной А.Ф.* Сатирическая журналистика. СПб., 2004. 39 с.
19. *Гончарук М.Л.* Українська сатира періоду революції 1905–1907 рр. Київ, 1966. 156 с.
20. *Почапская О.* Особенности восприятия человека и его роли в обществе украинской сатирической публицистикой 1917–1921 гг. С. 428–434 [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.leidykla.eu/fileadmin/Zmogus_kalbos_erdveje/.../428-434.pdf
21. *Крупський І.В.* Російська революція 1905 р.: передумови виникнення, її вплив на становлення української преси [Електронний ресурс]. Режим доступа: journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article...
22. *Погребенник Ф.П.* Критика і журналістика // Історія української літератури: у 8 т. Т. 5: Література початку XX ст. Київ, 1968. С. 33–73.
23. *Демченко Е.П.* Сатирическая пресса Украины 1905–1907 гг. Київ, 1980. 148 с.
24. *Козловська І.* Спектр жанрів сатири та їх індивідуальне наповнення в творчості Модеста Левицького // Сатира і гумор в українській літературній традиції: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції 11–12 травня 1994 р., Чернівці, 1994. С. 142–145.

25. Демченко Є.П. Революційна боротьба трудящих України в 1905–1907 рр. Київ, 1980. 285 с.

26. Волобуєва А. Жанрова і тематична спрямованість сатирично-гумористичної преси Києва початку ХХ століття // Українська періодика: історія і сучасність. Львів, 2003. С. 686–690.

Tomsk State University Journal of Philology, 2014, 6 (32), pp. 161–172. DOI 10.17223/19986645/32/12
Zykyun Natalia I., Kiev International University (Kiev, Ukraine). E-mail: nzykun@ukr.net

THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF SATIRICAL JOURNALISM IN THE DNIEPER UKRAINE IN THE 19TH – EARLY 20TH CENTURIES.

Keywords: satirical journalism, press of the Dnieper Ukraine, satirical magazine.

The purpose of this article is to review the prerequisites and conditions of Ukrainian satirical journalism, features of using satirical techniques of reality reflection on the pages of the general political and specialized satirical periodicals in the 19th – early 20th centuries in the Dnieper Ukraine.

Formation of satirical journalism was preceded by the use of satirical techniques, images and elements in oral folklore and literature which can be considered its "forerunners".

Ukrainian satirical journalism is born almost simultaneously with the periodical press as an important part of it. Its history can be counted from 1816 – the time the magazine *Kharkovsky Demokrit* (1816) was established. It remained the only humorous satire publication in the Dnieper Ukraine for nearly a century.

In the context of the prohibition of the Ukrainian language and any printed materials in it the information vacuum in the Ukrainian land was overcome by the journals published in Russian.

Satirical journalism was not limited to specific types of publications, especially in the initial stages, and increasingly permeated the pages of general political, literary and other magazines, and newspapers. It was publications of general content (*Khliborob*, *Ridnyi kray*, *Gromadska Dumka*, *Rada*, etc.) that formed the tradition of Ukrainian satirical journalism. It was developed and concentrated in the satirical press.

The result of the transformation processes in the information space during the first Russian revolution was the emergence of satirical cartoon magazines.

Magazines *Shershen'*, *Gedz*, *Budyak*, *Rep'yakhy* and the satirical leaflet *Hrin* witnessed the formation of such features of the satirical magazine as: 1) volume (8–16 pages); 2) periodicity (mostly weeklies or biweeklies); 3) design, or graphic signs (independent value of different types of illustrations); 4) combination of satire and "civil lyric", non-fiction; 5) prevalence of short genre forms; 6) professional artists as part of the Authors (often playing the major role in developing the concept of the edition).

The peak of Ukrainian satirical journalism is in 1906–1907. The period of the reaction that followed the defeat of the first Russian revolution promoted transformation of the satirical magazine into humorous entertainment publications deprived not only of acuteness and criticism, but also of aesthetic taste.

References

1. Administratyvno-terytorial'nyj podil Naddniprojans'koi' Ukraïny. Available at: izno.com.ua/istoriya-ukrayini-tema-21-ukrayinski-zemli-u-s. (Accessed: 10th January 2014). (In Ukrainian).
2. Likhachev D.S. *Issledovaniya po drevnerusskoy literature* [Research in Ancient Russian literature]. Leningrad: Nauka Publ., 1986. 406 p.
3. Minchyn B. *Satyra v estetyci socialistychnogo realizmu*. Kyiv: Rad. Shkola Publ., 1967. 288 p. (In Ukrainian).
4. Ninov A. *Russkaya satiricheskaya poeziya 1905 – 1907 gg.* [Russian satirical poetry of 1905 – 1907]. In: *Stikhotvornaya satira pervoy russkoy revolyutsii (1905–1907 gg.)* [Poetic satire of the first Russian revolution]. Leningrad: Sovetskiy pisatel' Publ., 1969, pp. 1–75.
5. Zhyvotko A. *Istoriya ukrai'ns'koi' presy*. Kyiv: Nasha kul'tura i nauka Publ., 1999. 368 p. (In Ukrainian).
6. Dey O.I. et al. *Istoriya ukrai'ns'koi' dozhovtnevoi' zhurnalistyky*. Lviv: Vyshcha shkola Publ., 1983. 512 p. (In Ukrainian).
7. Leshchenko P.Ja. "Har'kovskiy Demokryt". *Radjans'ke literaturoznavstvo*, 1957, no. 4, pp. 84–96. (In Ukrainian).

8. Jarmysh Ju.F. *Zhanry satyrychnoi' publicystyky*. Kyiv: Kyiv National University Publ., 2003. 155 p. (In Ukrainian).
9. Stadnyk V. *Satyrychnyj dyskurs gazetno-zhurnal'noi' publicystyky Naddniprojans'koi' Ukraïny 1905–1920 rr. u vykrytti teorii' i praktyky antyukrai'nstva i stanovlenni Ukraïns'koi' derzhavy*: Dys. kand. nauk iz soc. komunikacij. Lviv, 2008. 210 p. (In Ukrainian).
10. Klymenko I. Periodychni vydannja pershoi' polovyny HH – pochatku HH st. v Ukraïni. *Zagal'nyj ogljad. Bibliotechnyj visnyk*, 2009, no. 4, pp. 44–48. (In Ukrainian).
11. Krups'kyj I.V. *Nacional'no-patriotychna zhurnalistyka Ukraïny (druga polovyna HH – persha chvert' XX st.)*. Lviv: Svit Publ., 1995. 184 p. (In Ukrainian).
12. *Istoriya vsemirnoy literatury*. V 9 t. [History of the world literature]. Moscow: Nauka Publ., 1994. Vol. 8, 848 p. Available at: www.alexandria.org.ua/component/option,com_docman/task,doc.
13. Lepilkina O.I. *Strukturno-tipologicheskaya transformatsiya sistemy russkoy provintsial'noy pressy v XVIII – nachale XX vv.* Avtoref. dis. d-ra filol. nauk [Structural and typological transformation of the Ryussian provincial press in the 18th – early 20th centuries. Abstract of Philology Dr. Diss.]. Rostov-on-Don, 2011. 42 p.
14. Myhajlyn I. *Istoriya ukrai'ns'koi' zhurnalistyky XIX stolittja*. Kyiv: CNU Publ., 2003. 720 p. (In Ukrainian).
15. Sydorenko O., Shudrja N.M. Nezdijnseni proekty ukrai'ns'kyh periodychnyh vydan' II pol. XIX – pochatku XX st. *Visnyk Kyiv. derzh. un-tu*, 1991, issue 23, pp. 4–12. (In Ukrainian).
16. *Ukraïns'ka presa v Ukraïni ta sviti: Istoryko-bibliografichne doslidzhennja*. Lviv, 2009. Vol. 2, 480 p. (In Ukrainian).
17. Babyshkin O. *Satyrychnyj zhurnal "Shershen"*. *Radjans'ke literaturoznavstvo*, 1959, no. 4, pp. 82–90. (In Ukrainian).
18. Berezhnnyy A.F. *Satiricheskaya zhurnalistika* [Satirical journalism]. St. Petersburg: St. Petersburg State University Publ., 2004. 39 p.
19. Goncharuk M.L. *Ukraïns'ka satyra periodu revoliucii' 1905 – 1907 rr.* Kyiv, 1966. 156 p. (In Ukrainian).
20. Pochapskaya O. *Osobennosti vospriyatiya cheloveka i ego roli v obshchestve ukrainskoy satiricheskoy publitsistikoy 1917–1921 gg.* [Perception of man and their role in the society in Ukrainian satirical journalism of 1917–1921] Available at: www.leidykla.eu/fileadmin/Zmogus_kalbos_erdveje/.../428-434.pdf.
21. Krups'kyj I.V. *Rosijs'ka revoliucija 1905 r.: peredumovy vynyknennja, i'i' vplyv na stanovlennja ukrai'ns'koi' presy*. Available at: <http://journalib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1620>. (In Ukrainian).
22. Pogrebennyk F.P. *Krytyka i zhurnalistyka*. In: *Istoriya ukrai'ns'koi' literatury: U 8 t.* Kyiv, 1968. Vol. 5, pp. 33–73. (In Ukrainian).
23. Demchenko E.P. *Satyrycheskaja pressa Ukrainy 1905–1907 gg.* Kyiv, 1980. 148 p. (In Ukrainian).
24. Kozlov's'ka I. *Spektr zhanriv satyry ta i'h indyvidual'ne napovnennja v tvorchoosti Modesta Levyc'kogo. Satyra i gumor v ukrai'ns'kij literaturnij tradyicii'*: *Materialy Vseukrai'ns'koi' naukovoï konferencii' (11–12 travnja 1994 r.)*. Chernivci, 1994, pp. 142–145. (In Ukrainian).
25. Demchenko Je.P. *Revoliucijna borot'ba trudjashchyh Ukraïny v 1905–1907 rr.* Kyiv, 1980. 285 p. (In Ukrainian).
26. Volobujeva A. *Zhanrova i tematychna sprjamovanist' satyrychno-gumorystychnoi' presy Kyjeva pochatku XX stolittja*. In: *Ukraïns'ka periodyka: istorija i suchasnist'*. Lviv, 2003, pp. 686–690. (In Ukrainian).

УДК 82–4

DOI 10.17223/19986645/32/13

П.П. Каминский

«ЕГО ХАРАКТЕР, ЕГО ДЕЛА И СТРАСТИ, ЕГО ПОИСК СМЫСЛА ЖИЗНИ»: ЧЕЛОВЕК И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ В ПУБЛИЦИСТИКЕ ВИКТОРА АСТАФЬЕВА 1960-х – НАЧАЛА 1980-х гг.

В статье проанализирована концепция человека в публицистике В. Астафьева 1960-х – начала 1980-х гг. Прослежены отправные точки и логика ее формирования, когда писатель исходит из идеи об уникальности каждого человека, который не может быть редуцирован к универсальным законам и схемам, и одновременно выделяет в многообразии феноменальных проявлений человека общие, типические начала, свойственные всем людям. Тривиальность некоторых идей, высказанных в публицистике, объясняется ее риторической природой, а усложнение авторской концепции человека связывается с усилением эссеистического начала.

Ключевые слова: Виктор Астафьев, публицистика, мировоззрение, проблема человека.

«Человек» – фундаментальный концепт культуры, центральная проблема в истории философии и смысловой центр любой мировоззренческой системы. Сущность человека и его бытие в мире, постигаемые в художественной литературе, всегда образуют свой план и в писательской публицистике. Представления художника здесь выражены напрямую и необходимы для целостного понимания его эстетики.

Концепция человека в публицистике В. Астафьева основывается на идее о том, что «...каждый человек неповторим на земле» [1. С. 132]. Одновременно осознается и наша всеобщая похожесть¹. Как рассуждает писатель в 1967 г., оценивая достижения русской новеллистики в познании человека, каждого конкретного человека раскрывают «...его характер, его дела и страсти, его поиск смысла жизни» [2. С. 21].

Характер дан человеку от природы – как свойство уникальности: «...все живое, в особенности человек, имеет или назначено ему природой иметь свой характер» [1. С. 132]. При этом если сама возможность иметь неповторимый характер предусмотрена филогенетически, то закономерности его формирования – специфически человеческие. Во-первых, он развивается в ходе социализации, «...под влиянием среды, родителей, школы, общества и друзей...» [1. С. 132]. Во-вторых, под влиянием социально-исторических условий: «...есть какие-то закономерности в движении общества на том или ином этапе жизни, продолжающие себя и в отдельной личности, потому что, как

¹ «Нет, алмазы на дороге не валяются» (1962), «О любимом жанре» (1967), «Доброе слово» (1971), «Самородок» (1974), «Как тот заречный огонек», «Наши большие заботы» (1975), «Песня добра и света» (1976), «Строителям БАМа» (1977), «Вглядываясь вглубь. О повести Валентина Распутина “Живи и помни”», «Жизнь – великое движение вперед», «Под тихую струну. Из неоконченной статьи о творчестве Ю. Нагибина» (1978), «Чувство звука и слова. О стихах Романа Солнцева», «Боль. О повести Василия Быкова “Пойти и не вернуться”» (1979), «И все цветы живые» (1983), «Ответ в “Пионерскую правду”», «Сюжеты и судьбы. Монолог о времени и о себе» (1984) и т.д.

давно известно, никому еще не удавалось жить от общества отдельно» [3. С. 29]. В-третьих, в ходе активного саморазвития человека. Последний фактор – определяющий для формирования цельного характера. Этот процесс не самопроизвольный, требует от человека, с одной стороны, «непрестанного поиска и движения» – постоянного познания и самопознания, с другой – «приложения сил его и знаний», поступков [1. С. 135].

В основе «дел» человека, его этических поступков, лежит «душевная необходимость» в помощи ближнему. Ее мотивирует жажда гармонии, которой лишено узкоиндивидуальное существование – ограниченное, неполное, но требующее восполнения: «...помогающий человеку добром, сам становится добрее душой, и ему открывается прекрасный мир, полный добрых людей, яркого солнца, дивной поэзии, чудесной природы» [4. С. 223]. Принципиально, что потребность в сотрудничестве, альтруизме также природная – бессознательная, проявляется на уровне «страстей», сильных, устойчивых чувств и эмоциональных состояний. Наконец, четвертый атрибут человека, выделяемый В. Астафьевым, – «поиск смысла жизни». Понимание конечной цели индивидуального существования, своего места и предназначения в мире – главное содержание сознания и самосознания, в которых формируются идеалы и ценности, а нравственные и волевые качества характера приобретают осмысленность.

Таким образом, индивидуальность, в представлении писателя, составляет единство рационального и эмоционального, сознательного и бессознательного, которое образует в целом «сложнейший внутренний мир» человека и выражается в его поступках. Она рождается во взаимодействии природного и социального начал и воплощает в себе как феноменально неповторимое, так и социально типическое.

Понимая всю сложность человека, его характера и личности, В. Астафьев выделяет в качестве главного родового признака человеческого существа чувства. Это первичная форма отношения к миру, которая определяет все остальные, направляет человеческие мысли и поступки: «Может быть, всем, что есть вокруг нас и в нас, и прежде всего мыслью, движет чувство» [5. С. 182].

Природа чувств осмысливается еще в 1962 г., в эссе «Нет, алмазы на дороге не валяются», когда писатель обозначает их понятием «нежность». Составляя «истинное содержание души человеческой», нежность имплицитно присуща каждому человеку, заложена в нем от рождения и не определяется внешними, преходящими условиями.

В представлении писателя, «...чуткость, доброта, умение быть ласковым – это лишь продукт затаенной в нас нежности» [6. С. 43]. Именно это «неоценимое человеческое качество» лежит в основе широкого спектра жизнеутверждающих чувств и эмоциональных состояний – любви, дружбы, привязанности, сострадания и т.д. Проявления нежности обеспечивают бессознательный механизм, который способствует установлению гармонических отношений между людьми, их сосуществованию. Нежность обуславливает и эстетические чувства – чувства прекрасного (как гармонии), составляя исток любого искусства: писатель убежден, что без «нежности» «...мы не имели бы

трепетной музыки, прекрасной живописи, книг, стихов, поэм, при чтении которых закипают в горле слезы» [6. С. 43].

При этом нежность – качество, которое, как правило, тщательно скрывается людьми: «...сверху <...> только оболочка, самое же ценное глубоко упрятано, и его мы почему-то стыдимся и показываем лишь своим детям, да и то пока они ничего понимать не умеют» [6. С. 43]. Человек не решается на проявление нежных чувств, поскольку стыдится их. Стыд – социально обусловленная эмоция. Она формируется в процессе онтогенеза, в ходе сознательного усвоения им норм и правил поведения, принятых в данном социуме. Поступая в несоответствии с ними, человек испытывает страх социального неодобрения, потери уважения со стороны окружающих. Эти негативные переживания, в которых акцентирован момент самосознания, свидетельствуют о повышенной чувствительности каждого к оценкам других людей. Стремление избежать переживаний стыда становится одним из мотивов социального поведения.

Писатель констатирует предосудительность демонстрации чувств в современном обществе, которое требует от человека иного – твердости. Нежность, напротив, подразумевает душевную мягкость. Следовательно, выражение тонких чувств делает его внутренне уязвимым, заставляя скрывать их за показной, внешней грубостью. Нежность подавляется рассудком, и свои чувства человек открывает только детям, которые еще не усвоили социальных норм и от которых не исходит угрозы осуждения.

Условие, при котором потенциальное, т.е. способность человека к проявлению чувств, переходит в актуальное, определяя его действительные состояния, – в доверии: «...нет большей награды, коли показываешь дорогое тебе сокровище человеку и чувствуешь душу отзывчивую, понимающую...» [7. С. 154]. «Награда» – дар сочувственности, понимания, который человек получает, открываясь другому, доверяя ему самое сокровенное, запрятанное глубоко в душе. Другой открывается ему в ответ, обнажает собственную душу. Добровольные и бескорыстные, эти отношения взаимно обогащают души обоих. Так же актуализирует чувства в душе человека, выводит их из потаенности искусство: «Прекрасное, оно способно воскресить человека, оно проникает в самое сердце, где и хранятся настоящие чувства...» [6. С. 43].

Очевидно, что В. Астафьев идеализирует человеческие чувства, негативные эмоциональные состояния пока не входят в поле его зрения. Одновременно уже в размышлениях начала 1960-х гг. устанавливается оппозиция чувства и разума, эмоции и сознания, фиксируется драматическая нецеленность человека, которая препятствует его гармоничному существованию в мире.

К концу 1970-х гг. эти представления усложняются, когда писатель впервые говорит о слабости и беспомощности человека в мире: «Увы, земля рождает людей вообще маленькими и беспомощными» [8. С. 486]. Даже взрослея, человек остается беззащитным перед обстоятельствами жизни: «...она (жизнь. – П.К.) задает загадки, пробует на прочность... <...> она в любой миг любого человека может испытать на излом» [9. С. 181]. В свете этой идеи уточняется иное значение понятия страстей в приведенной цитате 1967 г. – страдания. Они составляют горький удел человека, неотъемлемо присущи его

жизни, поскольку он подвержен болезням, старению и смерти, испытывает состояния боли, горя, страха и т.д.

Претерпевая собственное страдание, человек выступает один на один с ним – сущностно одинок. Компенсировать это одиночество он может только со-страданием, соучастием в страданиях другого, такого же одинокого и беспомощного человека. Поддерживая друг друга в страдании, двое не преодолевают его, но обретают опору, чтобы жить с ним. Для писателя это иллюстрирует близкая ему биографически ситуация смерти ребенка в романе Ю. Бондарева «Берег», когда родители, «сильные современные люди», «...в горе остаются вдвоем на свете, становятся вдвойне необходимыми друг другу...» [10. С. 14]. Конечный смысл индивидуального бытия человека теперь определяется как преодоление и преуменьшение страданий других людей – от простого соучастия и поддержки до полного самоотречения, самопожертвования: «...она, личность, на то и существует, чтобы облегчить страдания другим людям, отдать им все свое, вплоть до жизни» [1. С. 135].

Если есть страдания, физические и душевные, объективной природы, связанные с непреодолимыми жизненными обстоятельствами, то есть и такие страдания, природа которых имманентна, отражает субъективную сущность человека. Эти душевные страдания открывают его внутреннюю противоречивость, когда порывы и убеждения, желания и ценности вступают в конфликт друг с другом. В этом контексте в публицистике В. Астафьева с конца 1970-х гг. развиваются представления о природе мышления.

Как размышляет писатель в ключевой работе 1978 г. – «незаконченной статье» о творчестве Ю. Нагибина «Под тихую струну», жизнь человека наполнена множеством противоречий: «Глянь, вокруг и сплошь и рядом обнаружишь странное отношение к своим детям, к миру, к искусству – все состоит из видимых и невидимых противоречий, все и вся живет вечным усилием одолеть эти противоречия» [11. С. 467].

Речь – о противоречиях субъективной реальности сознания, которые, охватывая разнообразные отношения человека с миром, препятствуют достижению гармонии. На их преодоление направлено мышление, его природа раскрывается через функцию: «Только мысль человеческая пытается объять необъятное, постигнуть глубину произошедшего и бездонность будущего, только мысль способна защитить человека от беспомощности перед окружающим его миром, перед страшным смыслом бытия, только память дает ему радость и горечь воспоминаний» [11. С. 467].

«Необъятное», которое стремится «объять» мысль, – характеристика пространства человеческого присутствия, огромный мир. Поскольку объять необъятное нельзя, это стремление разума – незавершенное. Значимым оказывается не результат мышления, а сам его процесс.

«Произошедшее» и «будущее» – категории, характеризующие существование человека во времени. «Глубина» («произошедшего») – пространственная метафора, выражающая сложность событий прошлого, их внутреннее содержание, скрытый смысл, недоступный непосредственно. Постигание этого смысла предполагает погружение, преодоление поверхностного взгляда. При этом «глубина» – конкретная величина. Эту переменную характеризует наличие дна, определенного предела – как обладает опреде-

ленностью само «произошедшее», события, которые завершились к моменту настоящего.

«Бездонность» (будущего), напротив, величина абстрактная. Выражая отсутствие предела (дна), она фиксирует неопределенность, открытость грядущих событий, бесконечное множество возможных сценариев их развития. Писатель отрицает идею судьбы, предопределенности будущего. «Постижение» смысла прошлого, причин и корней уже свершившихся событий служит не предвидению будущего, а его подготовке, когда человек сам, своими поступками определяет грядущее.

Все это позволяет характеризовать мышление, высшую форму отношения к миру, как «...вечное, неостановимое, не имеющее границ и не знающее пространств явление» [10. С. 10]. Способность мыслить – постоянная и неизменная, она расширяет пределы существования, преодолевает локальность присутствия человека в пространстве и времени бытия, обеспечивая осмысленность его существования.

«Страшный смысл бытия», составляющий главное противоречие сознания, – конечность человеческого присутствия в мире: «В одном из рассказов Юрий Нагибин удивится, казалось бы, близко лежащему открытию: человек знает о своем конце, животное – нет. И в этом знании самое страшное человеческое противоречие...» [11. С. 467]. Однако, продолжает писатель, «...в этом же знании его спасение от тьмы, безвестности, от покорности и забвения» [11. С. 467]. Так же беспомощный перед окружающим его бытием, как и животное, человек отличается от него тем, что способен противостоять смерти: «Человек сопротивляется, ищет спасения от смерти, стремится к бессмертию, животное – лишь предчувствует смерть, но неспособно осмыслить его и, следовательно, и бороться за него» [11. С. 467–468].

Осознавая неизбежность своего ухода, человек непокорен – сопротивляется этому фатальному обстоятельству, не принимает «тьму» – небытие, борется против забвения. Речь не о физическом выживании во внешних обстоятельствах, угрожающих жизни, поскольку они лишь приближают неизбежный конец, а о стремлении к духовному бессмертию. Противостоять смерти, исчезновению позволяет память. В. Астафьев говорит о возможностях и индивидуальной, и коллективной памяти людей. Индивидуальная память – феномен сознания, дающий «радость и горечь воспоминаний», в которых человек сохраняет ушедшее для себя. Сам же человек, уходя, сохраняется в памяти других людей.

В свете этих представлений уточняется понимание «дел», деятельностно-конструктивной природы человека, чей труд выступает одним из способов преодоления конечности существования, предотвращения забвения в ситуации неминуемого ухода. В творении человек воплощает самого себя, оставляет след в пространстве, который сохраняет его присутствие в мире: «...дома, построенные своими руками, всегда были похожи на “созидателя”» [12. С. 130].

Если импульс созидательного труда, как и любых проявлений человека, мотивированных чувством, – бессознательный, то мышление наполняет его осознанным смыслом – создание условий для последующей жизни людей. Так, возвращаясь в Чусовой, писатель с удовлетворением видит, что в доме,

построенном им когда-то, продолжается жизнь: «Давно я не живу в этом городке. Давно хозяйствует в моей избушке другой человек, но ни о чем так сладко не печалится мое сердце, как о домике, построенном своими руками, и, когда я бываю на Урале, непременно уж пройду мимо “своего домика”, подивлюсь, как выросли посаженные мною деревья, порадуюсь тому, что в домике, совершенно уже перестроенном, на “мой” почти непохожем, живет обиходный, заботливый хозяин, говорят, знатный сталевар» [12. С. 130].

Несмотря на усилия мысли, противоречия сознания фатально непреодолимы и только множатся в необратимом потоке жизни: «Порой глыбы противоречий как бы дробятся на мелкий камешник, и лежит он, омытый водою по берегам реки жизни, приманивая разноцветьем, пугая холодностью, тяжестью и множественностью своей» [11. С. 467]. Непреодолимый характер противоречий связан как с текучестью, изменчивостью бытия, так и с изменчивостью, подвижностью самого человека, вступающего во взаимодействие с ним. Жизнь человека определяется как процесс (становления, изменения), когда, даже обладая сознанием и чувствами, он не может достигнуть гармонии, внутреннее единство и равновесие личности во взаимодействии с миром – не совершенен, т.е. не завершен.

В 1960-х – начале 1980-х гг. В. Астафьев выражает гуманистическую веру в человека, в его способность «возвыситься до идеала», «поступательное движение» к внутреннему совершенству и гармонии с миром. Функция мышления – «познание мира и себя» – выступает как функция развития, движения к идеалу: «Один путь у человека, во все времена открытый к самоусовершенствованию, – это неустанное пополнение знаний, расширение жизненных интересов» [1. С. 134]. «Поиск и познание себя и мира окружающего» составляет глубокую внутреннюю «потребность» человека, которую мотивирует «жажда о вечном мире на земле» [10. С. 18] – сильное стремление к гармонии, согласию между людьми и их общностями. Социальное согласие при этом выступает и как следствие, и как главное условие реализации всех задатков человека, его свободного, всестороннего развития.

О противоположном модусе существования человека, его деструктивных проявлениях В. Астафьев начинает говорить еще с начала 1970-х гг., в ходе анализа произведений художественной литературы: «Убийство, насильственная смерть противоестественны человеку. <...> Человек не создан для того, чтобы убивать и проливать кровь», – говорит В. Астафьев, рассуждая о повестях А. Якубовского в рецензии 1971 г. [13. С. 230]. Убийство, уничтожение жизни, как и вообще любое насилие, осмысляются как «противоестественные», поскольку деструктивность противоречит существу человека, нацеленному на утверждение жизни, ее сохранение и воспроизводство. Деструктивность, направленная вовне, на Другого, всегда проявляется и как саморазрушение, что иллюстрирует судьба героини повести «Дом»: «Убившая живого человека хозяйка “Дома” и сама погибает в страхе, пьянстве, полной опустошенности» [13. С. 230–231].

О природе деструктивности, происхождении ее импульса пока не говорится прямо, но представления о ней реконструируются в рефлексии атрибутов человеческого существа, чувства и разума. Поскольку социальное поведение детерминировано бессознательным, проявления деструктивности ир-

рациональны, представляют собой эмоциональные реакции на поведение среды: происхождение человеческой агрессии также понимается как природное. Разум, напротив, составляет начало, которое способно контролировать деструктивные эмоции, противопоставляя им осознанные мотивы деятельности, ценности.

Проведенный анализ демонстрирует неожиданный результат: концепция человека, высказанная в публицистике В. Астафьева 1960-х – начала 1980-х гг., основывается на совершенно тривиальных, по сравнению с известным нам художественным выражением, идеях. Объяснимо это, с одной стороны, своеобразием мышления писателя, с другой стороны, риторическими особенностями его публицистики. На данном этапе В. Астафьев выступает в первую очередь как художник, а не как мыслитель, его концепция мира и человека выстраивается не рационально-логически, а интуитивно, воплощаясь в художественном образе [14]. Публицистика при этом служит другим задачам и представляет собой, по существу, периферийный материал, вторичный для понимания мировоззрения и художественной системы писателя.

Значительно позже, в конце 1990-х гг., В. Астафьев высказывает скептическое отношение к своей ранней публицистике: «В молодости я горазд был потолковать, погорячиться, иногда и побушевать в прессе, особенно насчет природы, литературы и морали. Поскольку природе мои буйные словеса не помогли, мораль, сами видите, где и как существует, а литература, такое серьезное дело, понял я после сорока лет работы в ней, что никакой трепотней, даже очень ловкой и красивой, ей не поможешь...» [15. С. 604].

Такое отношение объясняется не только безрезультатностью публицистического слова, но и собственной молодостью – наивностью, незрелостью. Поэтому из ранней публицистики, определяемой не иначе как «словеса» и «трепотня», т.е. бессодержательное говорение, пустая болтовня и вранье, писатель отбирает в двенадцатый том собрания сочинений лишь несколько, «для образца».

Кроме того, необходимо учитывать и предназначение каждой из работ, в которых ставится проблема человека. Так, письма «Строителям БАМа» и «Ответ в “Пионерскую правду”» имеют своей целью нравоучительное обращение к молодежи. Эстетико-философские статьи «Нет, алмазы на дороге не валяются», «О любимом жанре», «Наши большие заботы», «Сюжеты и судьбы» обращены к вдумчивому читателю, ориентируют его в эстетических процессах современной литературы и пишутся в пику официозной критике, обслуживающей «секретарскую» литературу. Наконец, это рецензии на творчество других писателей, как правило, «периферийных» – живущих и работающих в провинции и незаслуженно обойденных вниманием широкой публики (К. Воробьева, О. Фокиной, Б. Никонова, Р. Солнцева, Е. Носова, А. Якубовского и др.). «Признаться, я не то что горжусь этими материалами, – отмечает писатель в 1998 г., – но радуюсь и доволен тем, что знал в литературе многих людей, дружил с ними и смог в меру сил моих помочь им, душевно откликнулся на их сердечный порыв ко мне, а то и просто помог книжку напечатать, литератором себя почувствовать, приучал к работе тяжелой, всепоглощающей, да не к прогулкам по цветками поросшему литературному лужку» [15. С. 605].

Социальные задачи, которые ставит перед собой писатель в публицистике, а также подчеркнутая дидактическая установка заставляют его говорить на языке, понятном предполагаемому адресату, до времени намеренно взвешивая и упрощая свои мысли¹.

Одновременно с риторическими рассуждениями о генезисе человеческого характера, соотношении в человеке личного и социального, индивидуального и типического в публицистике выражены и тонкие, проникновенные размышления о чувствах, неожиданные для эпохи 1960-х с их гражданским пафосом и культом дерзкого разума, и актуализирующие национальную традицию миропонимания, традицию чувствующей культуры. В дальнейшем, к концу 1970-х гг. («Под тихую струну»), именно апология чувств формирует в публицистике В. Астафьева эссеистический план, существующий помимо риторического. Обращение к себе-как-другому в акте интуитивной рефлексии открывает глубину и реальную противоречивость человеческого существования. Рациональное осмысление этих противоречий становится внутренней потребностью писателя и составляет основной мотив его публицистических работ конца 1980-х–1990-х гг.²

Литература

1. Астафьев В. Ответ в «Пионерскую правду» // Астафьев В.П. Всему свой час. М., 1985. С. 132–137.
2. Астафьев В. О любимом жанре // Астафьев В.П. Всему свой час. М., 1985. С. 19–28.
3. Астафьев В. Наши большие заботы // Астафьев В.П. Всему свой час. М., 1985. С. 29–34.
4. Астафьев В. Самородок // Астафьев В.П. Всему свой час. М., 1985. С. 223–225.
5. Астафьев В. Чувство звука и слова // Астафьев В.П. Всему свой час. М., 1985. С. 182–185.
6. Астафьев В. Нет, алмазы на дороге не валяются // Астафьев В.П. Всему свой час. М., 1985. С. 34–49.
7. Астафьев В. Как тот заречный огонек // Астафьев В.П. Всему свой час. М., 1985. С. 146–154.
8. Астафьев В. Боль: О повести Василя Быкова «Пойти и не вернуться» // Собр. соч.: в 15 т. Т. 12: Публицистика. Красноярск, 1998. С. 485–488.
9. Астафьев В. Вглядываясь вглубь // Астафьев В.П. Всему свой час. М., 1985. С. 180–182.
10. Астафьев В. Жизнь – великое движение вперед // Астафьев В.П. Всему свой час. М., 1985. С. 10–19.
11. Астафьев В. Под тихую струну. Из незаконченной статьи о творчестве Ю. Нагибина // Собр. соч.: в 15 т. Т. 12: Публицистика. Красноярск, 1998. С. 467–472.
12. Астафьев В. Строителям БАМа // Астафьев В.П. Всему свой час. М., 1985. С. 129–132.
13. Астафьев В. Доброе слово // Астафьев В.П. Всему свой час. М., 1985. С. 228–231.

¹ Эти мотивы дают основание предполагать даже определенную степень «конъюнктурности» публицистики В. Астафьева, когда за внешне банальными мыслями старательно сокрыто нечто более глубокое. Так, вспоминая в 1997 г. свое предисловие, написанное к публикации повести В. Распутина «Живи и помни» в «Роман-газете» в 1978 г. («Вглядываясь вглубь»), В. Астафьев говорит, что «...из всех сил старался подстроиться к хору критиков, не повредить повести и автору, городил что-то насчет верности Родине и долгу, осуждал отступничество, отдавал должное страданию и величию русской женщины. И в повести все это было и есть...». Подлинная оценка повести уходит в подтекст и адресуется напрямую герою рецензии: «...но мне-то хотелось заглянуть и за борт ее, подумать и потолковать о том, о чем и сам автор, быть может, не подозревает, что почувствовал, нащупал интуитивно» [16. С. 83].

² «С карабином против прогресса», «Хомо технократус» (1988), «Вечно живи, речка Виви» (1989), «Лес не шумит, лес стонет» (1992) и т.д.

14. Каминский П.П. Природа в публицистических очерках Виктора Астафьева // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2014. № 1 (27). С. 150–158.
15. Астафьев В. Комментарии // Собр. соч.: в 15 т. Т. 12: Публицистика. Красноярск, 1998. С. 602–605.
16. Астафьев В. [Валентину Распутину – 60 лет!] // День и ночь. Красноярск. 1997. Апр. – май. С. 82–84.

Tomsk State University Journal of Philology, 2014, 6 (32), pp. 173-182. DOI 10.17223/19986645/32/13
 Kaminskiy Pyotr P., Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: kelagast@yandex.ru

"HIS CHARACTER, HIS DEEDS AND PASSIONS, HIS SEARCH FOR THE MEANING OF LIFE": UNDERSTANDING OF MAN IN THE ESSAYS OF VIKTOR ASTAFIEV IN 1960 – EARLY 1980S.

Keywords: Victor Astafiev, essays, outlook, issue of man.

The paper presents an analysis of the views of Victor Astafiev on man, their nature and being in the world expressed in the essays of 1960 – early 1980s. The analysis shows an unexpected result – the triviality of the author's conception of man in comparison with the artistic expression known to us. This paradox is explained, first, by the originality of the thought of the writer who acts at this stage primarily as an artist; second – by the didactic purpose of his essays. The increasing complexity of the concept of man by the 1980s is associated with increased essayism when works gradually become a full-fledged form of ideological reflection.

Understanding of man in Astafiev's essays is based on the idea of the uniqueness of each person. Simultaneously, the writer realized people's general similarity. On the one hand, each person has character, feelings and thoughts, makes acts, and is conceptualized as a unique entity that cannot be reduced to universal schemes and laws. On the other hand, when understanding the phenomenon of individuality in the aspects of the structure of its attributes and genesis factors, Astafiev is forced to address the issue of human nature. In the phenomenally unique, the general and the typical features common to all people are traced.

The main basis of man's nature is feelings. This is the primary – unconscious, natural – form of man's attitude to the world which determines all the other, directs the thoughts and actions of a person. Obviously, Astafiev idealizes human feelings and does not consider negative emotional conditions. At the same time, in the reflections of the early 1960s, he sets the opposition of feelings and reason, emotions and consciousness, notes the dramatic non-integrity of a person which hinders their harmonious existence in the world. Man's thinking is directed at overcoming the contradictions of human existence.

References

1. Astafiev V. *Vsemu svoy chas* [There is a time for everything]. Moscow: Molodaya gvardiya Publ., 1985, pp. 132-137.
2. Astafiev V. *Vsemu svoy chas* [There is a time for everything]. Moscow: Molodaya gvardiya Publ., 1985, pp. 19-28.
3. Astafiev V. *Vsemu svoy chas* [There is a time for everything]. Moscow: Molodaya gvardiya Publ., 1985, pp. 29-34.
4. Astafiev V. *Vsemu svoy chas* [There is a time for everything]. Moscow: Molodaya gvardiya Publ., 1985, pp. 223-225.
5. Astafiev V. *Vsemu svoy chas* [There is a time for everything]. Moscow: Molodaya gvardiya Publ., 1985, pp. 182-185.
6. Astafiev V. *Vsemu svoy chas* [There is a time for everything]. Moscow: Molodaya gvardiya Publ., 1985, pp. 34-49.
7. Astafiev V. *Vsemu svoy chas* [There is a time for everything]. Moscow: Molodaya gvardiya Publ., 1985, pp. 146-154.
8. Astafiev V.P. *Sobranie sochineniy: V 15 tomakh* [Collected Works. In 15 vols.]. Krasnoyarsk, 1998. Vol. 12, pp. 485-488.
9. Astafiev V. *Vsemu svoy chas* [There is a time for everything]. Moscow: Molodaya gvardiya Publ., 1985, pp. 180-182.

10. Astafiev V. *Vsemu svoj chas* [There is a time for everything]. Moscow: Molodaya gvardiya Publ., 1985, pp. 10-19.
11. Astafiev V.P. *Sobranie sochineniy: V 15 tomakh* [Collected Works. In 15 vols.]. Krasnoyarsk, 1998. Vol. 12, pp. 467-472.
12. Astafiev V. *Vsemu svoj chas* [There is a time for everything]. Moscow: Molodaya gvardiya Publ., 1985, pp. 129-132.
13. Astafiev V. *Vsemu svoj chas* [There is a time for everything]. Moscow: Molodaya gvardiya Publ., 1985, pp. 228-231.
14. Kaminskiy P.P. Nature in the publicistic essays of Victor Astafiev of 1960s – 1990s. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*, 2014, no. 1 (27), pp. 150-158. (In Russian).
15. Astafiev V.P. *Sobranie sochineniy: V 15 tomakh* [Collected Works. In 15 vols.]. Krasnoyarsk, 1998. Vol. 12, pp. 602-605.
16. Astafiev V. [Valentinu Rasputinu – 60 let!] [Valentin Rasputin is 60!]. *Den' i noch'*, 1997, April – May, pp. 82-84.

РЕЦЕНЗИИ, КРИТИКА, БИБЛИОГРАФИЯ

УДК 882 Жуковский
DOI 10.17223/19986645/32/14

А.С. Янушкевич

«ПРИ СВЕТЕ ЖУКОВСКОГО»: ОБЗОР ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 2009–2013 гг. К 230-летию со дня рождения В.А. Жуковского

Переписка В.А. Жуковского и А.П. Елагиной: 1813–1852 / сост., подгот. текста, ст. и коммент. Э.М. Жияяковой. М.: Знак, 2009. 728 с.

Джулиани Рита. Рим в жизни и творчестве Гоголя, или Потерянный рай: Материалы и исследования. М.: Новое лит. обозрение, 2009. 288 с., ил.

Священник Дмитрий Долгушин. В.А. Жуковский и П.В. Киреевский: Из истории религиозных исканий русского романтизма. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2009. 352 с.

Schlegel Diethard. Der Dichter Vasilij Andrejevich Shukovskij: Seine Familie et die Grabstätte in Baden-Baden. Baden-Baden, 2009. 160 S., ил.

Павлова Ж.К. Флориан Жиль и Императорский Эрмитаж: Жизнь и судьба. СПб.: Нестор-История, 2010. 312 с., ил.

В.А. Жуковский и его современники: альбом / авт. текста Р.В. Пезуитова; сост. Е.В. Пролет. СПб., 2010. 135 с.

Мисайлиди Людмила. Неаполитанские впечатления В.А. Жуковского (итальянское путешествие 1833 г.) // “Беспокойные музы”: К истории русско-итальянских отношений XVIII–XX вв. / сост. Антонелла д’Амелия. (14/1). Салерно, 2011. “Le muse inquietanti”: Per una storia dei rapporti russo-italiani nei secoli XVIII-XX / a cura di Antonella d’Amelia. Salerno, 2011. С. 85–114, ил.

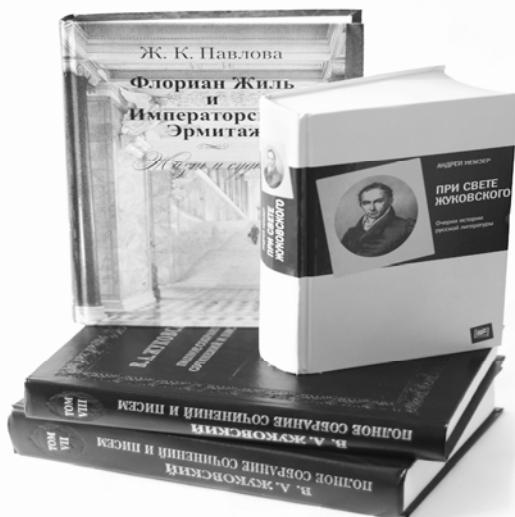
Джулиани Рита. “Девушка из Альбано”: Виттория Кальдони-Лапченко в русском искусстве, эстетике и литературе. Рим: Gangemi Editore, 2012. 189 с., ил.

Никонова Н.Е. В.А. Жуковский и его немецкие друзья: новые факты из истории российско-германского межкультурного взаимодействия первой половины XIX в. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2012. 336 с.

Der Briefwechsel zwischen Aleksandr I. Tugenev und Vasilij A. Žukovskij 1802–1829. Herausgegeben, kommentiert und eingeleitet von Holger Siegel. Böhlau Verlag Köln Weimar Wien, 2012. 712 S.

Мишенское / сост. О.М. Михайлова. М., 2013. 40 с., ил.

Немзер Андрей. При свете Жуковского: Очерки истории русской литературы. М., 2013. 893 с.



Предлагаемая статья – обзор исследований, посвященных наследию великого русского поэта В.А. Жуковского и появившихся в последнее пятилетие. Рассмотрение работ отечественных и зарубежных авторов позволяет увидеть новые тенденции в прочтении жизни и творчества поэта. В контексте рождения Полного собрания сочинений и писем Жуковского обострился интерес к тем сторонам его творческой индивидуальности, которые были недооценены, не прочитаны, не выявлены в силу различных обстоятельств цензурной, идеологической, общественно-политической атмосферы дореволюционной и послереволюционной российской действительности. Эпистолярный поэт, его поиски в области изобразительного искусства, религиозные поиски первого русского романтика – в центре современных поисков.

Ключевые слова: жуковсковедение, эпистолярный, Жуковский и его окружение, изобразительное искусство, религиозные искания.

30 лет, отделяющие два юбилея Жуковского (1983 и 2013), внесли существенные коррективы в изучение его творческого наследия. Прежде всего, значительно увеличилось само число публикаций о нем, его поэзии, и не только в России, но и во всей европейской и американской славистике. Активизировалась издательская деятельность, связанная прежде всего с появлением первого подлинно Полного собрания сочинений и писем поэта. Можно без преувеличения сказать, что *жуковсковедение* стало особой отраслью историко-литературной науки со всеми вытекающими последствиями: рождением специальных изданий, типа «Жуковский: Материалы и исследования», фронтальным описанием и исследованием его рукописного наследия как в отечественных, так и в зарубежных архивах, защитой многочисленных диссертаций, посвященных его творчеству, формированием научных центров по изучению его наследия, осмыслением его места и значения в русской и мировой словесной культуре и общественной мысли. Одним словом, не только сбылись пророческие слова Пушкина: «Его стихов пленительная сладость // Пройдет веков завистливую даль...», но и сам Жуковский, его мысли, его поэзия стали объектом филологической рефлексии и общественного интереса.

В истории изучения творчества Жуковского были различные периоды: то интерес к поэзии «первого русского романтика» и «гения перевода», споры о нем оказывались в центре литературной жизни, определяли развитие эстетической мысли, то внимание к его творчеству ослабевало, а критика забывала о нем.

Менялась оценка его поэзии, историко-литературного значения его деятельности. Но сам факт почти 200-летней истории осмысления его личности и творчества, возрастающего в последнее время интереса к нему – свидетельство жизненности его поэзии и плодотворности ее исследования.

В предлагаемой статье речь пойдет не столько о специальных работах, посвященных изучению биографии и творческого наследия поэта: создание полной библиографии и осмысление общей картины жуковсковедения – дело будущего и предмет специального серьезного разговора. В центре данного обзора – статьи и книги, появившиеся в последние пять лет и ставшие репрезентантом новых исследовательских стратегий в выявлении масштаба творческой деятельности первого русского романтика.

Издание Полного собрания сочинений и писем Жуковского в 20 томах, работу над которым продолжают филологи Томского университета, позволило не только расширить представление об эпистолярном наследии первого

русского романтика (на сегодняшний день выявлено более 2000 писем, в том числе более 200 неопубликованных), но и увидеть в них, создававшихся на протяжении почти 60 лет (первые датированы еще 1795 г.; последние относятся к 1852-му, году смерти поэта), характерные черты литературного быта той эпохи, которая связана с рубежом веков и сентиментальной культурой, с деятельностью Карамзина, с судьбой русского романтизма, с «золотым веком» русской поэзии и гением Пушкина, с творчеством Лермонтова и Тютчева, с эпохой «гражданской экзальтации» и николаевского царствования [1. С. 106–119].

Тем очевиднее обнаружилась потребность в систематизации материалов этого уникального памятника русской словесной культуры, научного издания его отдельных блоков. В этом отношении появление в течение пяти лет двух фундаментальных изданий переписки Жуковского с его многолетними и душевными адресатами – А.П. Елагиной и А.И. Тургеневым – заслуживает особого разговора. В течение почти 40 лет: с 1802 по 1845 г. он ведет полный драматизма и редкого взаимопонимания, насыщенный эстетической, историко-философской, общественно-политической проблематикой диалог с Александром Тургеневым, своим «духовным братом». С 1813 по 1852 г. не затухает переписка с Авдотьей Киреевской-Елагиной, его племянницей и «духовной сестрой», и этот диалог «обнаруживает их глубочайшую духовную привязанность, близость нравственно-философских и эстетических взглядов» [2. С. 633].

Переписка Жуковского и Елагиной, подготовленная членом редколлегии Полного собрания сочинений и писем В.А. Жуковского, профессором Томского государственного университета Э.М. Жилковой, – первый опыт систематизации тех материалов, которые были рассыпаны на страницах в основном дореволюционных периодических изданий (журналы «Русский архив», «Русская старина»), опубликованы в малодоступных сборниках, осели в архивах. Более 400 писем, дополненных впервые опубликованным «Дневником семейства Протасовых и А.П. Киреевской 1812 года в Орле», воссоздают летопись основных этапов биографии поэта, в том числе историю его драматической любви к Маше Протасовой, семейной жизни 1840-х гг. Но не менее важно, что хранительница семейного очага, мать братьев Киреевских, оставивших заметный след в истории русской общественной мысли, хозяйка знаменитого московского салона, женщина, отмеченная талантом писательницы и переводчицы, А.П. Елагина в своих письмах запечатлела нравственный облик поэта, его человеческий масштаб, воссоздала неизвестные страницы его творческой Одиссеи и педагогической деятельности, особенности его общественной позиции. Она действительно «сохранила во всем обаянии непосредственного общения образцы высокого духа и человеческого такта, составляющих бесценную основу русской национальной жизни, искусства и науки» [2. С. 662]. Автор издания, проделавший большую работу по поиску автографов и их расшифровке, датировке писем и их комментированию, поистине сумел сделать переписку Елагиной и Жуковского памятником русской культуры.

Не менее значимо для русской культуры и другое издание, предпринятое немецким славистом Хольгером Зигелем. Переписка Жуковского и Алексан-

дра Тургенева, первый том которой, включающий письма 1802–1829 гг., появился в известном издательстве «Böhlau», уже давно привлекала внимание исследователей, да и просто знатоков русской культуры. Еще в 1895 г. редакция «Русского архива» при активном участии заведующего отделом рукописей Императорской Публичной библиотеки И.А. Бычкова подготовила «Письма В.А. Жуковского к Александру Ивановичу Тургеневу». В предисловии к тому издатель, говоря об истории предпринятого труда, констатировал: «Письма эти, обнимающие сорокалетний период времени (1805–1844), имеют несомненное историко-литературное значение и особенно важны для биографии Жуковского» [3. С. 1]. О популярности этой и других публикаций И. Бычкова, связанных с Жуковским, говорит тот факт, что Александр Блок в рецензии на книгу А.Н. Веселовского «В.А. Жуковский: Поэзия чувства и “сердечного воображения”» особенно отметил «исследования И.А. Бычкова – бумаг, писем и дневников Жуковского» [4. С. 224]. В последующие годы, несмотря на некоторые существенные добавления (см., например: [5. С. 153–163]), переписка Жуковского и Тургенева так и не была издана. Огромный массив писем, хранящийся в рукописных собраниях ПД и РНБ, ждал своего часа.

И этот час пришел: Хольгер Зигель уже давно известен как авторитетный исследователь творческого наследия Александра Тургенева. Еще в 2001 г. появилась на немецком языке его монография «Александр Иванович Тургенев. Русский просветитель», в которой автор обращал особое внимание на то, что ответные письма Тургенева «до сих пор остаются не опубликованы» [6. С. 2]. Нет необходимости говорить, о том, какая работа была проделана Х. Зигелем по подготовке текстов самих писем: это, наверное, в полной мере может оценить только тот, кто обращался к рукописям Жуковского и Тургенева. Особую ценность представляет приложение к изданию «Письма А.И. Тургенева к Н.М. Карамзину и К.Я. Булгакову 1825–1826 гг.», позволяющее острее почувствовать атмосферу преддекабристских событий и душевное состояние автора писем.

Примечания к письмам, особенно к письмам Тургенева, насыщены не просто необходимой информацией, но и отличаются особой тщательностью при комментировании реалий европейского мира: изданий, цитат из произведений немецких, французских, английских писателей, атрибуции имен.

Безусловно, второй том переписки, который должен появиться в ближайшее время, позволит зримо увидеть масштаб проделанной автором работы и адекватно оценить ее значение как для изучения творчества и жизни Жуковского, так и для понимания узловых моментов историко-литературного процесса 1800–1840-х гг. Образ русского европейца, процесс становления историзма, судьба декабризма и русской интеллигенции, история революционных событий в Европе, становление немецкой философии, восприятие творчества Шиллера и Гете, Байрона и Вальтера Скотта, проблемы власти и цензуры – весь этот комплекс вопросов получит если не решение, то конкретизацию. Без переписки Жуковского и Тургенева наше представление о биографии поэта, его нравственном облике, творческих исканиях и общественной деятельности было бы значительно обеднено. В этом отношении многолетний подвижнический труд немецкого слависта можно по праву назвать «подвигом честного человека».

Большой пласт новых эпистолярных материалов содержит монография молодого томского ученого Н.Е. Никоновой. Обратившись к проблеме «Жуковский и немецкий мир», исследователь на основе целенаправленных разысканий в архивных собраниях России и Германии сумела ввести в научный оборот более 50 писем русского поэта к его немецким друзьям и коллегам, а также их ответные послания. Среди них дерптские друзья К. фон Зейдлиц и М. Асмус, веймарские гетеанцы: дипломаты и писатели, братья фон Мальтицы, канцлер Ф. фон Мюллер, великая герцогиня Мария Павловна, немецкоязычные, литераторы К. Зедергольм, А. Дитрих, Ю. Кернер, барон К.Г. фон Кнорринг, Х.А. Тидге, К.А. Фарнгаген фон Энзе, В. фон Шези, художники-назарейцы Ф. Овербек, Э. Штейнле, К.А. Кестнер, ученый и дипломат К. Бунзен, политический деятель Й.М. Радовиц, профессор-классик К. Гросгоф, гувернантка императрицы Александры Федоровны швейцарка М. Вильдермет. Опираясь на эти эпистолярные источники, активно используя неизвестные ранее материалы библиотеки поэта, его творческой лаборатории, цель своего исследования автор видит «в научном определении восприятия В.А. Жуковским немецкого мира в лицах, установлении характера взаимных контактов с немецкими друзьями и влияния, которое оказали германские связи на творчество романтика...» [7. С. 17].

Жуковский и его окружение – благодатная тема для подготовки будущей «Жуковской энциклопедии». «Окружение Пушкина органически входит в его биографию и творчество, и наше понимание его наследия во многом зависит от того, насколько мы знаем среду, в которой он жил и работал» – это методологически важное положение автора книги «Пушкин и его окружение» [8. С. 3] не в меньшей степени относится к изучению круга друзей, родных и знакомых, деятелей русской и европейской культуры, представителей общественной мысли и политической элиты, имеющих непосредственное отношение к жизни и судьбе первого русского романтика. Только в именном указателе к дневнику поэта их число достигает почти 500 [9. С. 559–763]. Биография каждого из них таит множество загадок и вносит дополнительные штрихи в портрет Жуковского. Книга о воспитаннике Жуковского, соученике великого князя Иосифе Виельгорском, «бедном Жозефе» [10], монография о Карле Зейдлице, многолетнем друге поэта и его биографе [11], разыскания об обитателях дворянской усадьбы Буниных [12], исследование о взаимоотношениях Жуковского и его «духовного сына» Ивана Киреевского [13] – все это фундамент для будущего здания «Жуковской энциклопедии».

В этом отношении книга Ж.К. Павловой «Флориан Жиль и Императорский Эрмитаж: Жизнь и судьба» заслуживает особого внимания. Имя швейцарца по происхождению, преподавателя великого князя Александра Николаевича Флориана Жилия до выхода книги Ж.К. Павловой практически не было известно не только массовому читателю, но даже и исследователям творчества Жуковского. Тем более *terra incognita* была его биография, а жизнь и судьба Жилия оставались мифом и обросли легендарными сведениями и штампами. А ведь именно ему было адресовано одно из первых писем Жуковского, содержащее подробный план обучения цесаревича [14. С. 3–11], к нему обращался поэт за помощью в формировании учебной библиотеки великого князя, ему император Николай I поручил создание Эрмитажного книжного собрания. Среди наставников великого князя Александра Николаевича, будущего царя-освободителя Александра II,

Жиль стоит в одном ряду с подвижниками «политической педагогики» – В.А. Жуковским и К.К. Мердером. После прочтения книги Ж.К. Павловой в сознании возникает образ трех богатырей, словно списанных с известной картины В.М. Васнецова. И если облик генерала Мердера был запечатлен в очерке-некрологе самого Жуковского [14. С. 27–28], то объемный портрет Флориана Жилия принадлежит автору книги «Флориан Жиль и Императорский Эрмитаж».

Концепция исследования Ж.К. Павловой четко и афористически сформулирована уже в эпиграфе к книге. Слова самого Жилия, взятые из его «Исповеди»: «Эрмитаж – единственный смысл моего существования» – ключ к пониманию жизни и судьбы героя. «Музейная сага о добре и зле. Результат долгих лет поисков, раздумий и чувств» – так автор книги определил жанр своего произведения, где исследование соседствует с расследованием, объективное повествование, основанное на архивных материалах Санкт-Петербурга, Москвы, Цюриха, Любека и Женевы, постоянно переходит в страстный рассказ о трагической судьбе «невольника чести» [15].

Воссоздавая летопись служебной деятельности Жилия от преподавателя французского языка в петербургском пансионе пастора Иоганна Мюральта, а затем в Зимнем дворце, библиотекаря Эрмитажной библиотеки и хранителя коллекции Императорского Эрмитажа до фактически первого директора императорского музея, автор убедительно, с опорой на большой пласт документальных источников раскрывает место и значение подвижничества Флориана Жилия в становлении отечественного архивоведения и искусствознания.

Но, пожалуй, особое впечатление на читателя производит судьба этого рыцаря педагогики, науки и культуры. История с нумизматической коллекцией Эрмитажа, клевета и гонения на Жилия после смерти Николая I, приведшие к отставке и последовавшему самоубийству в гостиничном номере Любека – все это прочитывается как драматический «поведенческий текст». «Невольник чести», «пал, оклеветанный молвой» – эти лермонтовские слова ощутимо звучат в подтексте жизни и судьбы Флориана Жилия. Как жаль, что в этой трагической ситуации рядом с ним не было Жуковского! И как становится понятно, что они были достойны друг друга!

Книга Ж.К. Павловой с полным правом может занять свое место в серии «Жизнь замечательных людей», а ее герой – в галерее русских подвижников. Швейцарец по происхождению, Флориан Жиль, как и Жуковский, принадлежит к благородному сословию русской интеллигенции.

Книга о Флориане Жиле бросает свет и на особую сферу творческой деятельности первого русского романтика, культуристега николаевского царствования – его художественную деятельность.

Обращение в последнее время исследователей к рисункам Жуковского, к его деятельности по собиранию Эрмитажной коллекции, его суждениям о живописи, контактам с русскими и европейскими художниками далеко не случайно. Говоря о художественном наследии Жуковского, Р.В. Иезуитова, один из авторитетнейших исследователей поэта, справедливо замечает: «По уровню мастерства работы эти выходят далеко за рамки обычного для того времени любительства и позволяют говорить о самостоятельном вкладе в развитие отечественного изобразительного искусства его времени» [16. С. 137]. В статьях Н. Самовер, Л. Вуич, Л. Мисайлиди, появившихся в по-

следнее время, выявлены различные аспекты этого вклада. В последней по времени статье Людмилы Мисайлиди «Неаполитанские впечатления В.А. Жуковского (Итальянское путешествие 1833 г.)» [17] с максимальной полнотой раскрыта история рождения неаполитанского альбома поэта и живописного контекста, связанного с именем друга, родственника Жуковского, немецкого художника Герхарда Рейтерна. Статья сопровождается большой подборкой их рисунков и дает наглядное представление о живописной манере Жуковского, его вкусах.

Кроме того, эта статья – важный вклад в изучение темы «Жуковский и Италия», получившей в последнее время свое развитие. Три выпуска коллективной монографии под общим заглавием «Образы Италии в русской словесности», появившиеся по итогам научных конференций Международного научно-исследовательского центра “Russia – Italia” – «Россия – Италия» [18], проходивших в Томске и Новосибирске, обозначили актуальность такой постановки проблемы. «Всемирная отзывчивость» Жуковского, о которой уже немало говорилось в связи с изучением русско-немецких, русско-английских, русско-французских, русско-швейцарских литературных и культурных отношений, обрела новую прописку через итальянский травелог «гения перевода». Жуковский почти не переводил с итальянского. Но он постигал образ Италии через обращение к ее искусству, ее мирообразу, общение с ее виднейшими деятелями (Сильвио Пеллико, Алессандро Мандзони, художниками-назарейцами).

Книга известного итальянского слависта Риты Джулиани «Рим в творчестве Гоголя, или Потерянный рай», вышедшая в русском переводе [19], казалось бы, как видно уже из ее заглавия, обращена к итальянским страницам биографии и творчества Н.В. Гоголя. И один из авторитетнейших зарубежных исследователей наследия Гоголя, Рита Джулиани воссоздает летопись римской Одиссеи Гоголя. Вторая редакция «Портрета» и повесть «Рим», круг римского общения, хронология жизни и римские адреса писателя – всё это впервые получает системное и концептуальное осмысление. И в общем контексте юбилейной литературы, посвященной 200-летию со дня рождения Гоголя, эта монография стала заметным и значимым явлением современного гоголеведения. Но не в меньшей степени она представляет интерес для изучения русско-итальянских связей. В именном указателе по количеству упоминаний едва ли не первое место занимает Жуковский. Более 70 упоминаний его имени, специальная глава «”Прогулки по Риму” Гоголя и Жуковского» фиксируют роль Колумба русского романтизма в гоголевском открытии и прочтении Рима. Разыскания Риты Джулиани позволили внести существенные уточнения в дневниковые записи Жуковского, связанные с его римскими впечатлениями, но главное, они вносят новые штрихи в историю личных и творческих взаимоотношений двух великих русских писателей, в их «чтение Рима».

Обострившийся интерес современного литературоведения к проблеме религиозных исканий русской словесной культуры не мог не затронуть и исследователей творчества Жуковского. Хотя уже в дореволюционных работах нередко говорилось о религиозности поэта, его «религиозных чувствах», но биографы и исследователи не придавали этому факту определяющего значения. После революции сколько-нибудь серьезная разработка этой темы сде-

лалась невозможной. А между тем и круг чтения Жуковского, его специальные статьи и наброски, дневниковая и эпистолярная рефлексия и, конечно же, его поэзия свидетельствуют о том, что проблема религиозности Жуковского нуждается в специальном изучении и должна рассматриваться не просто как некая данность, а как динамическая житнетворческая система.

В 2008 г. авторский коллектив в составе Ф.З. Кануновой, И.А. Айзиковой и свящ. Д. Долгушина предпринял первый опыт научной публикации Нового Завета в переводе Жуковского. Как известно, этот перевод, сделанный поэтом в 1844–1845 гг., был впервые опубликован лишь спустя 50 лет после создания – в 1895 г. [20]. И вот через 113 лет после первой публикации текст перевода стал объектом исследовательской рефлексии [21]. Статьи Ф.З. Кануновой «Нравственно-философское и эстетическое значение перевода В.А. Жуковским Нового Завета», И.А. Айзиковой «Ветхий Завет и некоторые проблемы творчества В.А. Жуковского, священника Димитрия Долгушина «Новый Завет в переводе В.А. Жуковского: история создания и публикации», И.В. Рейфман «Автограф Нового Завета в русском переводе Жуковского в Публичной библиотеке г. Нью-Йорка», а также обширные комментарии свящ. Д. Долгушина превратили это творение русского поэта поистине в литературный памятник [22].

Как справедливо замечает автор комментариев, «историю создания В.А. Жуковским перевода Нового Завета нельзя изъять из контекста другого, более широкого вопроса – вопроса о религиозных взглядах поэта» [21. С. 408]. Появившаяся в 2009 г. книга священника Димитрия Долгушина «В.А. Жуковский и И.В. Киреевский. Из истории религиозных исканий русского романтизма» стала воплощением этой идеи. Впервые в истории жуковсковедения через историю отношений Жуковского и Киреевского были четко обозначены этапы и проблемы религиозных исканий поэта. Выделение таких художественно-семантических концептов, как «милое вместе», «деятельность», «мечта», и их осмысление в аспекте религиозно-этических и религиозно-эстетических идеалов сентиментализма и романтизма позволило автору избежать столь частых преувеличений догматики и неизменности религиозных взглядов Жуковского. Православие первого русского романтика рассмотрено как органическая часть мировоззренческой и творческой системы поэта.

Вышедшая недавно книга известного критика Андрея Немзера, содержащая более 60 статей о русской литературе от Державина до Александра Солженицына и Давида Самойлова, называется «При свете Жуковского». Это пронзительно-точное определение значения первого русского романтика в истории русской культуры. Оно не просто корреспондирует с известным выражением «при свете совести». В нем сконцентрирован масштаб поэтической и человеческой традиции Жуковского. «...Решение главной задачи эпохи – утверждения самодостаточности национальной поэзии, – пишет автор, – было совершено именно Жуковским и ... период истории литературы, которому и посвящен этот этюд, должен рассматриваться в первую очередь как “эпоха Жуковского”» [С. 79]. И без острого ощущения этой эпохи, без духовного наставничества Жуковского, без света Светланы (арзамасское прозвище поэта, восходящее к его известной балладе), без его роли не только в литературе, но и в русском общественном сознании мы рискуем многое упустить в национальной словесной культуре.

Литература

1. Янушкевич А.С. Эпистолярный В.А. Жуковского как отражение и выражение литературного быта его времени // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2012. № 2 (18).
2. Желякова Э.М. Переписка А.П. Елагиной и В.А. Жуковского как памятник русской культуры первой половины XIX века // Переписка В.А. Жуковского и А.П. Елагиной. 1813–1852. М., 2009.
3. Письма В.А. Жуковского к Александру Ивановичу Тургеневу: Издание «Русского архива» по подлинникам, хранящимся в Императорской Публичной библиотеке. М., 1895.
4. Вопросы жизни. 1905. Апрель – май.
5. Гофман М.Л. Пушкинский музей А.Ф. Онегина в Париже: Общий обзор, описание и извлечение из рукописного собрания. Париж, 1926 (*Hoffmann Modeste. Le Musée Pouchkine d'Alexandre Onéguine à Paris: Notice, catalogue, extraits de quelques manuscrits.* Paris, 1926).
6. Siegel Holger. Aleksander Ivanovič Turgenev. Ein russischer Aufklärer. Böulau Verlag Köln Weimar Wien, 2001.
7. Никонова Н.Е. В.А. Жуковский и его немецкие друзья... Томск: Изд-во Том. ун-та, 2012.
8. Черейский Л.А. Пушкин и его окружение. 2-е изд., доп. и перераб. Л., 1988.
9. Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. Т. 14 / сост. А.С. Янушкевич. М., 2004.
10. Лямина Е.Э., Самовер Н.В. «Бедный Жозеф»: Жизнь и смерть Иосифа Вьельгорского. М., 1999.
11. Пупкевич-Диамант Я.С., Кузнецов И.А. Карл Карлович Зейдлиц и его время. СПб., 2003.
12. Власов Владимир. Дворянская усадьба Бунино. Орел, 2006.
13. Священник Димитрий Долгушин. В.А. Жуковский и И.В. Киреевский: Из истории религиозных исканий русского романтизма. М., 2009.
14. Жуковский В.А. Полное собрание сочинений: в 12 т. СПб., 1902. Т. 10.
15. Дарственная надпись на экземпляре книги «Флориан Жиль и Императорский Эрмитаж: Жизнь и судьба» из библиотеки автора статьи.
16. Иезуитова Раиса. В.А. Жуковский – поэт и художник: Штрихи к портрету // Рисунки писателей: сб. науч. ст. СПб., 2000. С. 137–159.
17. «Беспокойные музы»: К истории русско-итальянских отношений XVIII–XX вв. / сост. Антонелла д'Амелия. Салерно, 2011 (*Europa Orientalis. Salerno, 2011. № 14/1*). С. 85–114.
18. Образы Италии в русской словесности XVIII–XX вв. / под ред. О.Б. Лебедевой и Н.Е. Меднис. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2009. 560 с.; Образы Италии в русской словесности: По итогам 2-й междунар. конф., Томск – Новосибирск, 1–7 июня 2009 г. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2011. 664 с.
19. Джулиани Рита. Рим в жизни и творчестве Гоголя, или Потерянный рай: Материалы и исследования. М.: Новое лит. обозрение, 2009. 284 с.
20. Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа / пер. В.А. Жуковского. Берлин, 1895.
21. Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа / пер. В.А. Жуковского; под ред. Ф.З. Кануновой (гл. редактор), И.А. Айзиковой и свящ. Д. Долгушина. СПб.: «Дмитрий Буланин», 2008. 565 с.

"IN THE LIGHT OF ZHUKOVSKY": A REVIEW OF RUSSIAN AND FOREIGN RESEARCHES OF 2009-2013.

Tomsk State University Journal of Philology, 2014, 6 (32), pp. 183-192. DOI 10.17223/19986645/32/14
 Yanushkevich Alexander S., Tomsk State University University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: asyanush50@yandex.ru

Keywords: Zhukovsky studies, epistolary, Zhukovsky and his circle, fine art, religious quest.

This paper is a review of studies on the heritage of the great Russian poet V.A. Zhukovsky that appeared in the last five years. Consideration of the works of domestic and foreign authors allows seeing new trends in the interpretation of the life and work of the poet. In the context of the publishing of Zhukovsky's Complete Works and Letters there has been a keen interest in the sides of his artistic personality which were underestimated, unread, unidentified for various reasons of the censorship, ideological, social and political atmosphere of the pre-revolutionary and post-revolutionary Russian reality. The epistolary of the poet, his search in the field of fine art, the religious quest of the first Russian romanticist are of interest for modern research.

References

1. Yanushkevich A.S. V.A. Zhukovsky's epistolary as reflection and expression of

contemporary literary life. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*, 2012, no. 2 (18), pp. 106-119. (In Russian).

2. Zhilyakova E.M. *Perepiska A.P. Elaginoy i V.A. Zhukovskogo kak pamyatnik russkoy kul'tury pervoy poloviny XIX veka* [Correspondence of V.A. Zhukovsky and A.P. Elagina as a monument of Russian culture of the first half of the 19th century]. In: Zhilyakova E.M. (ed.) *Perepiska V.A. Zhukovskogo i A.P. Elaginoy. 1813-1852* [Correspondence of V.A. Zhukovsky and A.P. Elagina. 1813-1852]. Moscow: Znack Publ., 2009.

3. *Pis'ma V.A. Zhukovskogo k Aleksandru Ivanovichu Turgenevu* [Letters of V.A. Zhukovsky to Alexander Ivanovich Turgenev]. Moscow, 1895. 322 p.

4. *Voprosy zhizni*, 1905, April – May.

5. Hoffmann Modeste. *Le Musée Pouchkine d'Alexandre Onéguine à Paris: Notice, catalogue, extraits de quelques manuscrits*. Paris, 1926.

6. Siegel Holger. *Aleksander Ivanovič Turgenev. Ein russischer Aufklärer*. Köln Weimar Wien: Böhlau Verlag, 2001.

7. Nikonova N.E. *V.A. Zhukovskiy i ego nemetskie druž'ya: novye fakty iz istorii rossiysko-germanskogo mezhkul'turnogo vzaimodeystviya pervoy poloviny XIX v.* [V.A. Zhukovsky and his German friends: new facts in the history of Russian-German cross-cultural contacts of the first half of the 19th century]. Tomsk: Tomsk State University Publ., 2012. 336 p.

8. Chereyskiy L.A. *Pushkin i ego okruzhenie* [Pushkin and his circle]. Leningrad: Nauka Publ., 1988. 544 p.

9. Zhukovsky V.A. *Polnoye sobraniye sochineniy: V 20 t.* [Complete Works: in 20 vols.]. Compiled by A.S. Yanushkevich. Moscow: Khudozhestvennaya literatura Publ., 2004. Vol. 14.

10. Lyamina E.E., Samover N.V. *"Bednyy Zhozef": Zhizn' i smert' Iosifa Viel'gorskogo* ["Poor Joseph": The Life and Death of Joseph Vielgorsky]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury Publ., 1999. 560 p.

11. Pupkevich-Diamant Ya.S., Kuznetsov I.A. *Karl Karlovich Zeydlits i ego vremya* [Carl Seidlitz and his time]. St. Petersburg: ELBI-SPb Publ., 2003. 220 p.

12. Vlasov V.A. *Dvoryanskaya usad'ba Bunino* [The noble estate Bunino]. Orel: Orlik Publ., 2006. 185 p.

13. Rev. Dolgushin D.V. *V.A. Zhukovskiy i I.V. Kireevskiy. Iz istorii religioznykh iskanii russkogo romantizma* [V.A. Zhukovsky and I.V. Kireyevsky. From the history of the religious quest of Russian Romanticism]. Moscow: Rukopisnye pamyatniki Drevney Rusi Publ., 2009. 350 p.

14. Zhukovsky V.A. *Polnoye sobraniye sochineniy: V 12 t.* [Complete Works: in 12 vols.]. St. Petersburg, 1902. Vol. 10.

15. *Darstvennaya nadpis' na ekzemplyare knigi "Florian Zhil' i Imperatorskiy Ermitazh: Zhizn' i sud'ba" iz biblioteki avtora stat'i* [The dedication on a copy of the book "Florian Gilles and Imperial Hermitage: Life and Fate" from the library of the author of the paper].

16. Iezuitova R. [V.A. Zhukovsky as a poet and artist. Touches to the portrait]. *Risunki pisateley: Sbornik nauchnykh statey* [Drawings of writers: Collected articles]. St. Petersburg, 2000, pp. 137-159. (In Russian).

17. D'Amelia A. "Bespokoynnye muzy": K istorii rusko-ital'yanskikh otnosheniy XVIII-XX vv. ["Restless muses": On the history of Russian-Italian relations in the 18th – 19th centuries]. *Europa Orientalis*, 2011, no. 14/1, pp. 85-114.

18. Lebedeva O.B., Mednis N.E. (eds.) *Obrazy Italii v russkoy slovesnosti XVIII-XX vv.* [Images of Italy in the Russian literature of the 18th – 19th centuries]. Tomsk: Tomsk State University Publ., 2009. 560 p.; *Obrazy Italii v russkoy slovesnosti: Po itogam Vtoroy mezhduнародnoy konferentsii... Tomsk-Novosibirsk, 1-7 iyunya 2009 g.* [Images of Italy in the Russian literature of the 18th – 19th centuries: results of the Second International Conference. Tomsk, Novosibirsk, 1 – 7 June 2009]. Tomsk: Tomsk State University Publ., 2011. 664 p.

19. Giuliani R. *Rim v zhizni i tvorchestve Gogolya, ili Poteryanny ray: Materialy i issledovaniya* [Rome in the life and work of Gogol, or Paradise Lost: materials and research]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2009. 284 p.

20. *Novyy Zavet Gospoda nashego Iisusa Khrista* [The New Testament of our Lord Jesus Christ]. Translated by V.A. Zhukovsky. Berlin, 1895.

21. Kanunova F.Z., Ayzikova I.A., Dolgushin D.A. (eds.) *Novyy Zavet Gospoda nashego Iisusa Khrista* [The New Testament of our Lord Jesus Christ]. Translated by V.A. Zhukovsky. St. Petersburg: Dmitriy Bulanin Publ., 2008. 565 p.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

АЙЗИКОВА Ирина Александровна – д-р филол. наук, профессор, зав. кафедрой общего литературоведения, издательского дела и редактирования Томского государственного университета.

E-mail: wand2004@list.ru

АХМЕТОВА Гузель Азатовна – канд. филол. наук, доцент кафедры русской литературы и издательского дела Башкирского государственного университета (г. Уфа).

E-mail: toha230@rambler.ru

БУЛЫГИНА Елена Юрьевна – канд. филол. наук, профессор кафедры современного русского языка Новосибирского государственного педагогического университета.

E-mail: bulyginalena2010@mail.ru

ГРИЧИН Сергей Владимирович – канд. филол. наук, доцент, зав. кафедрой гуманитарного образования и иностранных языков Юргинского технологического института Томского политехнического университета.

E-mail: grichinsergei@mail.ru

ДЕМЕШКИНА Татьяна Алексеевна – д-р филол. наук, профессор, зав. кафедрой русского языка Томского государственного университета.

E-mail: demeta@rambler.ru

ЖИЛЯКОВА Эмма Михайловна – д-р филол. наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Томского государственного университета.

E-mail: emmaluk@yandex.ru

ЗЫКУН Наталия Ивановна – канд. филол. наук, профессор кафедры теории и истории журналистики Киевского международного университета (Украина).

E-mail: nzykun@ukr.net

КАЛИТКИНА Галина Васильевна – д-р филол. наук, профессор кафедры русского языка Томского государственного университета.

E-mail: dasty2@yandex.ru

КАМИНСКИЙ Петр Петрович – канд. филол. наук, доцент кафедры теории и практики журналистики Томского государственного университета.

E-mail: kelagast@yandex.ru

КИСЕЛЕВ Виталий Сергеевич – д-р филол. наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Томского государственного университета.

E-mail: kv-uliss@mail.ru

КУРАШКИНА Наталия Александровна – канд. филол. наук, доцент кафедры английского языка Башкирского государственного университета (г. Уфа).

E-mail: kurashkina76@mail.ru

ПРОХОРОВА Татьяна Геннадьевна – д-р филол. наук, профессор кафедры русской литературы и методики преподавания Казанского (Приволжского) федерального университета.
E-mail: tatprohorova@yandex.ru

ТРИПОЛЬСКАЯ Татьяна Александровна – д-р филол. наук, профессор кафедры современного русского языка Новосибирского государственного педагогического университета.
E-mail: tr_tatiana@mail.ru

ФАРИТОВ Вячеслав Тависович – канд. филос. наук, доцент кафедры философии Ульяновского государственного технического университета.
E-mail: vfar@mail.ru

ШИШИГИН Кирилл Александрович – канд. филол. наук, доцент, зав. кафедрой немецкой филологии Кемеровского государственного университета.
E-mail: schischigin-ka@rambler.ru

ЭМЕР Юлия Антоновна – д-р филол. наук, профессор кафедры общего, славяно-русского языкознания и классической филологии Томского государственного университета.
E-mail: Julika71@mail.ru

ЯНУШКЕВИЧ Александр Сергеевич – д-р филол. наук, профессор, зав. кафедрой русской и зарубежной литературы Томского государственного университета.
E-mail: asyanush50@yandex.ru

ОТ РЕДАКЦИИ

Научный журнал «Вестник Томского государственного университета. Филология» был выделен в самостоятельное периодическое издание из общенаучного журнала «Вестник Томского государственного университета» в 2007 г.

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия (свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-29496 от 27 сентября 2007 г.), ему присвоен международный стандартный номер сериального издания (ISSN 1998-6645).

«Вестник ТГУ. Филология» выходит 6 раз в год и распространяется по подписке, его подписной индекс – 44041 в объединённом каталоге «Пресса России». Полнотекстовые версии вышедших номеров выкладываются на сайте журнала: <http://journals.tsu.ru/philology>

Все статьи, поступающие в редакцию журнала, подлежат обязательному рецензированию; рукописи не возвращаются. Публикации в журнале осуществляются на некоммерческой основе. Ознакомиться с требованиями к оформлению материалов можно на сайте журнала: <http://journals.tsu.ru/philology>

Адрес редакции: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, Томский государственный университет, филологический факультет.

Телефон 8(382-2)52-96-67

Ответственный секретарь редакции журнала – Д.А. Катунин.

E-mail: katunin@mail.tsu.ru

Научный журнал

**ВЕСТНИК ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ФИЛОЛОГИЯ**

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOLOGY

2014. № 6(32)

Редактор *Т.В. Зелева*
Редактор-переводчик *В.В. Капустур*
Оригинал-макет *Г.П. Орловой*
Дизайн обложки *Яна Якобсона* (проект «Пресс-интеграл»,
факультет журналистики ТГУ)

Подписано в печать 09.12. 2014 г. Формат 70х100 ¹/₁₆.

Печ. л. 12,25; усл. печ. л. 17,15; уч.-изд. л. 17,00.

Тираж 500 экз. Заказ 702.

ООО «Издательство ТГУ», 634029, г. Томск, ул. Никитина, 4
Журнал отпечатан на оборудовании Издательского Дома
Томского государственного университета,
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, тел. 8(382-2) 53-15-28; 52-98-49
<http://publish.tsu.ru>; e-mail; rio.tsu@mail.ru